Зигмунд Фрейд Жан Делюмо Джеймс Джордж Фрейзер
Я ничего не боюсь. Идентификация ужаса



http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=43455019
«Я ничего не боюсь. Идентификация ужаса / Сборник: З. Фрейд, Ж. Делюмо, Дж. Дж. Фрезер»: Родина; Москва; 2019
ISBN 978-5-907211-03-2

Аннотация

Большинство людей на вопрос о том, чего они больше всего боятся, отвечают: «Я ничего не боюсь». Такой ответ не соответствует действительности, поскольку каждый из людей в то или иное время испытывает какой-нибудь страх. Одни из самых навязчивых страхов – страхи перед иррациональными и потусторонними силами. Жан Делюмо и Джеймс Фрезер в своих работах анализируют именно такие страхи, характерные для всей истории человечества.

Ужас перед призраками, живыми мертвецами, ведьмами и колдунами, дьяволом и демонами долгое время господствовал в обществе, продолжает он жить и сейчас. Жан Делюмо и Джеймс Фрезер с разных точек зрения показывают эволюцию этого ужаса, делают попытку идентифицировать его, а также выяснить причины его необыкновенной устойчивости.

Зигмунд Фрейд, Жан Делюмо, Джеймс Фрезер
Я ничего не боюсь. Идентификация ужаса

Введение

Большинство людей на вопрос о том, чего они больше всего боятся, отвечают: «Я ничего не боюсь». Такой ответ не соответствует действительности, поскольку каждый из людей в то или иное время испытывает какой-нибудь страх. Миллионы людей в течение всей своей жизни подвержены страхам. Они живут в постоянном нервном напряжении. Их нервная сила истощена. И в какой-то момент наступает нервный срыв.

Страхи воздействуют и на материальную, и на духовную стороны жизни. Страх мешает человеку удовлетворять свои основные жизненные потребности – обеспечивать себя пищей, кровом, одеждой. Страх разрушает в человеке такие качества, как инициатива, энтузиазм, честолюбие. Он подрывает уверенность в себе и душит воображение. Страх делает человека жадным, беспечным, брюзгливым, подлым, жестоким и раздражительным в отношениях с другими людьми.

Страх опасен тем, что он живет в подсознании человека, где его нелегко обнаружить. Если страх проявляет себя острой головной болью, то он более подавлен, потому что в таких случаях от него можно как-то избавиться. Но чаще всего он подкрадывается к человеку, как вор в ночи, проникая в мозг и мешая ему нормально функционировать.

Страх заключается в чувстве внутренней напряженности, непосредственной опасности для жизни в ожидании угрожающих событий, действий. Все, что нас окружает и что окружаемо нами, – страхогенично. Он расширяет зрачки («у страха глаза велики»), не знает прищура, входя или исходя через нас, оставляет следы-запятые, вплоть до дрожания рук, коленок и заикания. И даже афазии, эпилептической контрактуры. Но где он сам?

Страх – стремнина аффекта, стеснение дыхания. Фрейд исходит из этимологии: angst – angustiae – «теснота», «теснина». Стесняющие обстоятельства, родовая травма, страх не родиться, не прорваться на свет из стесняющей материнской утробы (слышится – гроба). Этот ужас нерождения или смерти до жизни учреждает нашу психику и в страхе возобновляем.

Но страх может быть и заказан. Операторы страха надежны. В структуре страха нет места сбоям. К числу патологических страхов относятся такие, которые характеризуются отсутствием психологической обоснованности или чрезмерной интенсивностью, длительностью, не соответствующих силе вызвавшей их причины…

Страх охраняет прерывность, но, гранича с бесстрашием непрерывности, хочет себя прервать в пользу сверхчеловеческого. Страх – «скованная свобода», отсроченная. Любим поэтому и лелеем свой страх в мечтательном мареве собственных дней. Рождены в страхе и страх порождаем. Не отнять у ребенка жадного вхождения в страх, в приключения ужасные и загадочные, сладостное превозможение, утреннее пробуждение после жуткого сна. Страх разрешает попробовать еще раз. Страх ведет к повторению, повторению удовольствия. Самое что ни на есть жизненное. Но и чреват различием, изменением до неузнаваемости. В мутной глубине страха – смерть, ничто.

В глубине нашего страха – страх фундаментальный, ужас по Хайдеггеру. Нечто родовое. Общечеловеческая родина и рана. Ничто. В ностальгически страшном зове пребывает наша сущность, отпущенная родиной в «чистое присутствие» с целью себя явить. Отпущенная с одной (не своей) целью, сущность человеческая блуждает в поиске собственного утверждения и смысла, но пустота вокруг. Оставленная нами фактом рождения не оставляет нас. Брошенная позади уже обернулась и грозит из будущего с первых же пульсаций самосознания, фигур мышления, а главное, с первых столкновений со смертью.

«Человеческий ум не только вечная кузница идолов, но и вечная кузница страхов» (Кальвин). Каждый – кузнец своих страхов своей пустоты. Нужен аффект, катастрофа, чтобы

вызволить из пустоты контур видения. Чем сильнее страх, тем круче, чем безысходней пустота, тем ярче вспышка фантома. Дозы страха и пустоты растут, достигая опасной зоны регрессии, в которой приоткрывается пустота страха в своей депрессивной бесчеловечности.

А. Демичев

Живые мертвецы и привидения (Из книги Ж. Делюмо «Ужасы на Западе»1)

…Раньше полагали, что прошлое не исчезает по-настоящему, оно в любой момент может вернуться и угрожать жизни. В общественном сознании не было четкого разделения между жизнью и смертью. Еще в XVII веке юристы рассуждали о том, может ли на трупе выступать кровь в присутствии убийцы, выдав его таким образом правосудию. Так, в своем «Трактате о появлении духов», изданном в 1600 году, теолог монах Ноэль Тайельс категорично заявляет: «Если разбойник приблизится к телу человека, которого он порешил, мертвец покрывается пеной, потом и проявляет некоторые другие признаки».

В манускрипте XV века рассказывается, что некий человек имел привычку, проходя мимо кладбища, читать молитву за упокой усопших. Однажды на него напали его самые лютые враги. Он бросился бежать к кладбищу, и мертвецы поднялись из могил на его защиту, каждый был вооружен тем орудием труда, которым он пользовался при жизни. Увидев все это, нападавшие убежали в ужасе и изумлении. Вскоре в одной из хроник появляется подобная история: некий священник ежедневно читал псалом «Из бездны взываю к тебе, Господи». Завистники, считая это дело слишком прибыльным, донесли на него епископу. Тот повелел запретить эту службу. Но однажды, когда он был на кладбище, на него набросились мертвецы. Для своего спасения епископ обещал им разрешить мессу по умершим.

Конечно, это не что иное, как свидетельство веры в загробную жизнь. В связи с этим можно задаться вопросом по поводу тени отца Гамлета у Шекспира и ожившей статуи Командора у де Молина: как воспринимали зрители того времени этих персонажей – как фантазию авторов или же как существующую реальность? И уж совсем категоричен по поводу загробной жизни теолог Ноэль Тайепье:

«Когда дух умершего появится в доме, собаки жмутся к ногам хозяина, потому что они сильно боятся духов. Случается, что с постели сдернуто одеяло и все перевернуто вверх дном или кто-то ходит по дому. Видели также огненных людей, пеших и на коне, которых уже похоронили. Иногда погибшие в битве, равно как и мирно почившие у себя в доме, звали своих слуг, и те узнавали их по голосу. Часто ночью духи ходят по дому, вздыхают и покашливают, а если их спросить, кто они, то называют свое имя».

Возможность появления привидений интерпретировалась двояко. «Толкование привидений «по горизонтали» (согласно Е. Ле Руа-Ладюри, известному в свое время естествоиспытателю), в сущности, базировалось на вере в загробную жизнь двойника» (по выражению Е. Морена): усопший – телом и душой – продолжает некоторое время жить и может возвращаться на место своего земного обитания. Другая концепция, трансцендентная, «по вертикали» разрабатывалась официально теологами того времени и пыталась объяснить привидения (это слово, кстати, не употреблялось в то время) игрой воображения и спиритических сил. Аргументацию этого феномена, представленную в обширных трудах Пьера Ле Луайе, можно найти у всех демонологов того времени. Сначала проводится грань между фантомом и призраком. Первый – это плод больного и меланхолического воображения, возникающий вследствие самовнушения и не отражающий действительность. Второй – наоборот – плод здорового воображения в виде бестелесной субстанции, которая предстает перед перепуганными людьми наперекор всем законам природы.

* * *

Но у церкви появляется новый противник в этом вопросе, которого следует уничтожить, – это протестантство. Цюрихский пастор Лоис Лаватер в своем сочинении, изданном в 1571 году, вообще отрицает возможность появления на Земле душ умерших. Это отрицание является следствием отрицания реформаторской церковью чистилища. Лаватер рассуждает так: есть только два места – рай и ад, куда попадают души умерших. Попавшие в рай не испытывают надобности в помощи живых, а те, кто попал в ад, никогда оттуда не выйдут, и им уже ничем нельзя помочь. Отчего же душам умерших противиться своей участи: одним – покоя, другим – мучений?

Католикам оставалось лишь саркастически не признавать подобные рассуждения. В свою очередь, они пытаются логически обосновать верование древних в присутствие усопших среди живых и ищут подтверждение этому в Священном Писании и свидетельствах св. Августина и св. Амбруаза. Господь может разрешить умершим появиться в своем прежнем облике среди живых. Он может также позволить ангелам, летающим между небом и землей, принять людской облик. В этом случае их тела не что иное, как сгущенный воздух. Что касается демонов, то и они могут появляться среди людей, создавая себе тело из воздуха, подобно ангелам, или же вселяясь в тела умерших и во всякую падаль. Это поверье объясняет стихи Ронсара и Дю Белле, где говорится о колдунье на кладбище, а также стихи Агриппы д’Обинье, посвященные некой Эрини. Этот персонаж олицетворяет ведьм вообще и самую одиозную из них – Екатерину Медичи.

«Ночью она по жутким кладбищам блуждает. Могилы истлевших мертвецов без страха отверзает. Затем, вдохнув в останки силу дьявола, ужасным призракам ходить повелевает».

Все эти появления духов происходят по воле Божьей и во благо живых. Если в теоретическом плане возможность жизни после смерти была отброшена как ошибочная, то в богословии она вновь заняла свое место. Души усопших могут появляться среди живых, чтобы донести до них спасительную весть. Призраки приходят просить у Церкви милости молиться за них и вызволить их из геенны или же ходатайствовать о лучшей жизни для живых.

Показательна в этом плане Книга заклинаний середины XV века (около 1450 года) настоятеля из Турнэ. В ней содержится, кроме прочего, два опросника, предназначенных для окаянных душ и душ из преисподней.

«Душе из чистилища:

1. Чей ты есть (или был) дух?
2. Долго ли ты находишься в преисподней?..
3. Что было бы тебе на пользу?
4. Почему ты появился здесь и почему ты появляешься здесь чаще, чем в других местах?
5. Если ты добрый дух, страждущий Божьей милости, почему ты принимаешь, как свидетельствуют, обличье разных зверей и животных?
6. Почему ты появляешься в определенные дни?

Окаянной душе:

1. Чей ты есть (или был) дух?
2. Почему ты осужден на вечные муки?
3. Почему ты приходишь, как свидетельствуют, чаще всего на это место?
4. Будешь ли ты запугивать живых?
5. Желаешь ли ты проклятия странникам? (Все мы на этом свете странники.)
6. Что ты выбираешь: небытие или муки в геенне?
7. Какие адские муки самые страшные?
8. Является ли проклятие, то есть лишение зреть Господа Бога, более мучительным, чем чувственные страдания?»

* * *

Богословский спор о привидениях проливает свет на этнографию другого поверья, распространенного в классической Европе. Это поверье сводится к следующему: после кончины умершие в течение какого-то времени продолжают жить примерно так же, как и до смерти. Они возвращаются в свой дом, иногда чтобы навредить. В Моравии считается вполне обычным видеть душу умершего за столом в компании своих знакомых. Не произнося ни слова, он кивком головы указывает на того, кто непременно должен умереть следующим. Умершего следует откопать и сжечь, чтобы избавиться от его привидения. В некоторых районах Богемии от привидений, пугающих деревенских жителей, избавлялись так умерших, на которых пало подозрение, откапывали и пригвождали колом к земле. В Силезии полагали, что призраки бывают ночные и дневные. Вещи, которые им принадлежали, начинают перемещаться сами по себе. Единственный способ избавиться от этих привидений – это обезглавить и сжечь умершего, чьим призраком они являются.

В Сербии привидения бывают вампирами, пьющими кровь из шеи своей жертвы, которая умирает от изнеможения. Когда откапывают могилу умершего, которого подозревают в загробных злодеяниях, то находят их как живыми, с «алой» кровью. Им отрубают голову, обе части тела вновь кладут в могилу и заливают ее гашеной известью.

В конце 1700 года жителей Микен охватила паника. Некий крестьянин, известный своим злобным и вздорным норовом, был таинственным образом убит. Покинув могилу, он стал возмущать спокойствие острова. Десять дней спустя после похорон при всем народе его откопали, мясник не без труда вырвал ему сердце, и оно было сожжено на площади. Но привидение продолжало наводить ужас на жителей острова. Священники говели, провели крестный ход. Тело умершего снова откопали, положили на повозки, и оно стало биться и вопить. Наконец его сожгли, и тогда прекратились «злодеяния привидения».

Страх вампиров был распространен в Румынии, стране Дракулы. Английский путешественник отмечает в 1828 году: «Если человек умирает насильственною смертью, на месте его гибели воздвигают крест, чтобы погибший не превратился в вампира».

В начале XVIII века некий монах при посещении небольшой епархии Сенез с тревогой заметил, что в горах практикуется ставить на могилу умершего облатки и молоко в течение года после смерти.

Приехав в 1794 году в Финистер, Камбри отмечает: «Как здесь полагают, в полночь мертвецы поднимают веки. Никто не осмелится в округе мести пол ночью. Считается, что этим выметают из дома счастье, что ночью усопшие ходят по дому и Что метлой их можно задеть и прогнать». Бретань, с точки зрения изучения места привидений в прошлой цивилизации, представляет большой интерес. «Не успели вбить последний гвоздь в крышку гроба умершего, как его уже видели стоящим около изгороди своего дома», – пишет Браз в «Легенде о смерти» и далее уточняет: «Усопший сохраняет свою материальную форму, внешность, характер, а также повседневную одежду. Раньше в этой провинции считалось, что днем земля принадлежит живым, а ночью мертвым. Кроме того, в Бретани верили, что усопшие составляют особое сообщество, носившее имя «Анаон», где множественность означает коллективное единство. Его члены пребывают на кладбище, но под покровом ночи они возвращаются на место своего земного обитания. Именно поэтому нельзя подметать пол ночью. Души умерших собираются три раза в год: под Новый год, вечером на Святого Иоанна и вечером праздника всех Святых – в эти дни можно видеть, как процессии привидений направляются к месту сбора. Особая роль отводилась «Анку» – последнему умершему в этом году человеку, который весь следующий год был «жнецом» и с косой смерти за плечами собирал свой жуткий урожай, увозя его на скрипящей повозке.

* * *

Среди сложных, вернее, противоречивых ритуалов поведения по отношению к умирающему и умершему многие безусловно продиктованы сверхъестественным страхом. К примеру, во многих местах был распространен обычай выливать воду из сосудов в доме или

хотя бы в комнате покойника. Это действо рассматривалось церковниками как нехристианское; так, в Бразилии инквизиция находила в этом обычае доказательство неверности адептов христианству и возврат к иудаизму. Что же означал этот обычай? Возможно, то, что душа, омыв себя водой, перед тем как отлететь на небо, загрязнит грехами воду, находящуюся в доме. Или же этим действом хотели не дать душе утонуть, если ей вздумается попить или посмотреться в воду. Не по этой ли причине закрывают зеркала в доме покойника?

Оба объяснения приемлемы. Во всяком случае, считалось, что необходимо облегчить кончину, чтобы душа усопшего не задерживалась в нем. В Перше во времена священника Ж.-Б. Тьера кровать умирающего ставили вдоль потолочных балок, чтобы они не мешали уходу из жизни. В Берри у кровати умирающего раскрывали полог. В Лангедоке в крыше дома вынимали черепицу, чтобы не мешать полету души, или с той же целью на лицо умершего капали воск и масло.

В обычаях, связанных с привидениями, много противоречий: одни из них служат для того, чтобы облегчить привидению поиски дороги домой; другие же, наоборот, направлены на то, чтобы помешать привидению найти дорогу домой или на свое поле. Но и те и другие предполагают загробную жизнь. В Перше во время похоронной процессии на перекрестках ставили кресты, чтобы покойник не заблудился по дороге домой. В вандейском местечке Бокаж – камень, и на этот раз тоже для того, чтобы усопший быстрее нашел дорогу к себе домой.

А вот другой, довольно распространенный во Франции обычай – класть монету в гроб или прямо за щеку покойника – имеет обратное значение. Здесь речь не идет о плате Харону, это означает скорее плату за имущество умершего: имущество приобретается добрым и должным образом, и у покойника нет причин возвращаться к себе и оспаривать свое состояние. В Бретани, едва гроб устанавливается на «камне мертвых», катафалк разворачивают и гонят коней прочь от этого места, чтобы усопший не успел вскочить на повозку и вернуться домой.

А обычай устанавливать на могилах и усыпальницах тяжелые надгробия – может статься, это тоже способ, часто бесполезный, помешать мертвым вторгаться в мир живых? А траурное одеяние, не ставит ли оно целью убедить усопших в том, что о них помнят? И поскольку это демонстрируется так очевидно, то у них нет причин ревновать ближних и досаждать им в этом мире…

Обычаи, продиктованные страхом перед мертвыми, могут быть сопоставлены с обычаями того же значения у других цивилизаций, отдаленных от нашей во времени и в пространстве. По этому поводу Л.-В. Тома пишет:

«В Древней Греции фантомы имели право на трехдневное пребывание в городе. На третий день всех духов приглашали войти в дом. Им подавали специально приготовленную похлебку. Затем, когда считалось, что они утолили голод, им строго говорили: «Дорогие духи! Вы наелись и напились, а теперь выходите в дверь».

«В Африке, чтобы помешать возвращению некоторых покойников, труп увечили: ломали ноги, вырывали ухо или отрубали руку, потому что считалось, что физическое увечье не позволит умершему выйти из могилы. Что же до порядочных людей, то тут нужно действовать иначе – нужно похоронить их так, как они этого заслужили».

«В Кинсленде перед погребением покойнику ломали дубиной кости, ноги подгибали к подбородку, а живот набивали камнями. Все тот же страх перед мертвыми заставлял некоторые народности замуровывать склепы наглухо, заколачивать гробы, класть на грудь покойника тяжелые каменные плиты».

*** * ***

На Западе, начиная по крайней мере с XVI века, возрастает страх быть погребенным заживо, то есть стать жертвой летаргического сна. Этот страх был распространен в Анжу в

XVII веке и во всей Европе в XVIII веке. Этот страх оказался живучим, и живые боялись не только быть заживо похороненными, но и тех, кого похоронили раньше, чем они умерли. Мне рассказывали, как в Сицилии лет двадцать назад в одной семье по вечерам все собирались вместе и молились, перебирая четки, за упокой души одного родственника, который, вероятно, был погребен будучи в летаргическом сне.

Еще большие меры предосторожности полагались в отношении самоубийц. В Древней Греции им отрубали правую руку. Их уход из этого мира рассматривался как ненависть к жизни и к живым.

Уже в нашу эру на Западе тело самоубийцы не выносили из дома – его выбрасывали через окно или, как это делалось в Лилле в XVII веке, «под дверью рыли проход и через него проталкивали тело, лицом к земле, словно падаль». Этот акт проклятия напоминает таким образом, что смерть пагубна. Кюре Тьер пишет, что в Перше обязательно отбеливали белье, которым пользовался перед смертью покойник. Делалось это для того, чтобы он не позвал за собой тех, кто будет пользоваться этим бельем после него. По этой же причине гроб с телом покойника не ставили на стол, а на скамью или пол, «иначе в доме кто-нибудь умрет в том же году».

Приведенный выше ритуал по отношению к самоубийцам имеет двойной смысл. Что касается географии происшествия, то этот ритуал направлен на то, чтобы воспрепятствовать виновнику этого происшествия вернуться в дом, именно поэтому тело выбрасывается в окно или протаскивается под дверью лицом вниз. Церковь, в свою очередь, рассматривает человека, добровольно ушедшего из жизни, как грешника, не заслуживающего отпущения грехов. Он изгоняется из христианского братства, и делается это демонстративно. В сущности, перед нами снова один из многочисленных случаев христианизации дохристианских или нехристианских обычаев.

Точно так же в прибрежных районах издавна бытует поверье, что погибшие в море, не найдя последнего пристанища на земле, продолжают бороздить воды недалеко от рифов, погубивших их. В Бретани это поверье, зафиксированное еще в IV веке нашей эры, продолжало жить и в середине XX века в районе мыса Бурь и залива Мертвых. По общепринятому мнению, погибшие в море обречены на вечное скитание, поскольку Церковь не молится за них.

Еще в 1958 году в Уессане был зафиксирован такой случай. Молодой священник, пытаясь спасти тонущего ребенка, погиб, и тело его так и не нашли. В «Телеграмме Бреста» была описана инсценированная церемония его «погребения». «В доме погибшего на столе был помещен белый восковой крест – знак христианства, который символизировал утопленника. На головном уборе был положен небольшой крестик в обрамлении зажженных свечей. Перед ним в сосуде со святой водой стояла самшитовая ветвь. С вечера началось ночное бдение». «На следующее утро за телом пришел священник, несший крест. Поручитель почтительно вынес головной убор с крестиком, который символизировал саван. Следом шли родные и близкие погибшего».

«Похоронная процессия медленно двинулась к церкви. Маленький крестик переложили на катафалк, и началось отпевание. В конце службы священник поместил восковой крест в ларец, расположенный на алтаре усопших в поперечном нефе. Церемония закончилась».

В былые времена, если в море встречался корабль с мертвым экипажем, то следовало прочитать молитву «Почийте в мире» или же отслужить по ним службу. Очевидно, что в этом случае мы имеем дело с христианизацией древнего поверья о призрачных кораблях и ночных лодках «с мертвыми гребцами». Голландцы, например, верили, что во время штормов можно увидеть проклятый Богом корабль, капитан которого за грехи наказан тем, что обречен на вечное скитание по северным морям.

Во Фландрии XV века под видом веры в переселение душ бытовало поверье, что чайки – это души умерших злодеев, обреченных на вечное движение, холод и голод. Мицкевич, устами одного из своих персонажей, говорит о муках окаянной души, обреченной на вечное скитание с нечистыми духами…

Во Франции было распространено поверье в «ночных прачек», которые до скончания века должны по ночам стирать белье. Это наказание они получили за детоубийство или за то, что недостойно похоронили своих родителей и работали по воскресеньям.

* * *

Обобщая, можно сказать, что особым призванием к скитаниям «после смерти» обладали те, кто не снискал благодать смерти и, следовательно, совершил переход от жизни к смерти неестественным путем. Такие покойники плохо интегрированы в новый мир, находятся, так сказать, не в своей тарелке. Сюда же следует отнести еще одну категорию кандидатов в привидения. Тех, кто умер в момент «переходного ритуала» из одного состояния в другое, – это умершие в утробе дети, необвенчанные жених и невеста и т. п.

Польский этнолог Л. Стомма, работавший над историческими документами своей страны XIX века, изучил случаи, когда покойники, по убеждению их близких, стали демонами, то есть привидениями.

Категория покойников, ставших демонами	Число случаев	% случаев
Умершие в утробе матери	38	7,6
Мертворожденные	55	11
Некрещеные дети	90	18
Роженицы	10	2
Жених и невеста, умершие до свадьбы	14	2,8
Молодожены, умершие в день свадьбы	40	8
Самоубийцы	43	8,6
Повешенные	38	7,6
Утопленники	220	20,2
Убитые или умершие неестественной смертью	15	3
Другие	29	11,4

В этой весьма интересной статистике выделяется категория мертвых младенцев, умерших до крещения. В общем, они составляют 38,6 процента и утопленники – 20,2 процента. Следовательно, существовала связь между верой в привидения и трагическим обрывом переходного ритуала. В более общем смысле эту связь можно отнести к точке в пространстве или во времени, служащей границей перехода из одного состояния в другое. Так, по статистике Стомма, в более 95 процентах случаев превращения покойников в демонов они были похоронены на обочине дороги, пустыря или поля или на берегу озера. В 90 % случаев их призраки появляются в полдень, полночь, на восходе и закате солнца.

Потусторонний мир
Из книг Э. Дюрвилля «Призрак живых» и Ш. Ланселена «Выделение человеком астрального призрака по собственной воле»2

Случаи «раздвоения» человека чрезвычайно многочисленны для всех времен и у всех народов, и рассказы о них переплетаются с историями о привидениях, призраках и мертвецах. Старинное шотландское предание гласит, что каждый человек имеет своего двойника на земле, который может являться к нему в знаменательные случаи жизни и в особенности в час смерти.

Просматривая «Жития святых», а также процессы колдунов конца Средних веков, читатель с удивлением находит значительное число вполне удостоверенных случаев раздвоения, как у религиозных мистиков, так и у колдунов. Сточки зрения самого явления эти случаи тождественны: те и другие вызваны были одним и тем же – страстным желанием, но побудительная причина этого желания у мистика-созерцателя совсем другая, чем у колдуна, который переполнен ненавистью и жаждой мести.

В современном обществе, где колдун исчез, а религиозный человек не имеет уже той веры, которая помогала его предшественникам совершать чудеса, случаи раздвоения еще более многочисленны, чем в прошлые века. Объясняется это, конечно, тем, что теперь их лучше наблюдают, и в особенности обилием спиритических и оккультных журналов, которые собирают и изучают эти случаи, так как находят в них подтверждение своим теориям или по меньшей мере серьезные аргументы в доказательство последних.

Если раздвоение живого человеческого организма возможно, хотя бы в мало известных условиях и только у редких людей, нельзя ли исследовать его опытным путем в различных видах? Исследование это, конечно, возможно. Известно, что вообще раздвоение совершалось у мистиков, когда они, погруженные в глубокое размышление, впадали в нечувствительность к возбуждениям внешнего мира; с другой же стороны, во время магнетического сна и в некоторых аналогичных состояниях наблюдаются у людей иногда странные явления, в особенности узнавание фактов, совершившихся на далеком расстоянии, – необъяснимое явление, если не предположить передачи чего-то от спящего субъекта в место и в час совершения явления.

Раздвоенной части человеческого тела давали различные наименования. Наиболее известные: двойник, астральное тело, призрак, флюидическое тело, тень и пр. Из различных этих наименований три первых вполне соответствуют идее раздвоения. Первое было бы наилучшим, если бы не давало повода к смешению, так как его можно смешать с эфирным двойником, который имеет лишь относительное значение в явлении раздвоения. Выражение «астральное тело» равным образом подходяще, но экстериоризованное астральное тело почти всегда заключает в себе и эфирный двойник, который служит ему орудием, и мысленное (ментальное) тело, которое есть душа его. Из остальных названий наиболее отвечающим цели следует признать слово «призрак».

* * *

Везде дух соединен с материей. Это соединение существует на каждом плане (сфере), где малейшая частица имеет материю для тела и дух для жизни. Мысль есть субстанция, а тело ее состоит из астральной материи.

Чаттерджи3 ясно говорит об этом:

«Но то, что с одной точки зрения есть жизнь, может быть формой с другой. Всякая вещь, поскольку она форма, – уничтожается; поскольку же она сила или жизнь, она будет продолжать свое существование. Возьмем для примера человеческое тело; здесь наиболее грубая форма, это – та материя, твердая, жидкая и газообразная, которую вы видите перед собой. Эта форма оживотворяется непосредственно силой, которая есть растительная жизнь, иначе – эфирный элемент. Этот эфирный элемент есть жизнь по отношению к грубому физическому телу. Разбейте соединение грубых элементов: эфирное начало переживет их. И хотя это переживание длится не долго, для ясновидящего оно, тем не менее, очевидно. Следовательно, эфирное тело есть жизнь по отношению к физическому телу, но оно же и форма по отношению к последующему началу, т. е. астральному телу. Эфирное тело уничтожается, астральное продолжает жить. Когда же астральное тело уничтожится, в свою очередь, ментальное, по отношению которого астральное являло форму, сохранится как жизнь и т. д. Один и тот же элемент одновременно и жизнь, и форма, жизнь – относительно низшего начала и форма – относительно высшего. Ибо во вселенной все вибрация: никакой разницы, по существу, между теми или другими началами. Они – жизнь или форма; мужское

или женское; положительное или отрицательное – смотря по тому, с какой точки на них смотришь. Когда одна вибрация прекращается, продолжается другая, более тонкая… С самого верха и до самого низа лестницы бытия форма уничтожается, а жизнь сохраняется».

По учению индусов, все более и более подтверждаемому новой наукой, человек – существо сложное, включающее в свой состав несколько тел.

Различные тела человека представляют собою лишь одежды, в которые облечена душа, подлинный человек, «я» (ego), бессмертное начало, составляющее нашу индивидуальность. Этих тел у вполне развитого человека семь. Только четыре из них, составляющие нашу временную личность, доступны нашим исследованиям при современном состоянии наших знаний. Начиная с более грубого, наиболее наружного и наименее важного, так как душа покидает его первым, и кончая тончайшим, которое представляет как бы рубашку, снимаемую после всех других одежд, эти тела суть:

1. Физическое тело, вместилище физиологических функций: пищеварения, дыхания, усвоения, кровообращения, движения.

2. Эфирное тело, вместилище жизненной энергии, рассматриваемой исключительно с физиологической точки зрения, есть как бы архитектор, который строит физическое тело и заботится о поддержании его.

Тело это составляет дубликат физического тела; в качестве такового его вообще называют эфирным двойником или просто двойником. Большинство теософов принимают его за составную часть физического тела, даже как бы составляющую одно целое с последним, так как оно обитает на том же плане и не может никогда покинуть его. Вне тесного соединения этих двух физических частей нашего существа эфирный двойник рождается лишь за несколько дней до физического тела и переживает его только несколькими днями. Этот двойник есть «линга шарира» теософов Индии, который служит медиумом, посредником между физическим телом и астральным.

3. Астральное тело – обиталище чувствительности, воображения, животных страстей и маловозвышенных вожделений. Оно мыслит, но более чувственно, чем рассудочно. О нем можно сказать вместе с Паскалем: «Сердце рассуждает безрассудно». Через его посредство происходят столь оспариваемые явления телепатии, наши видения во сне и большая часть случаев с привидениями. Это «преддух» спиритов, «чувственная душа» древних философов. Оно также обиталище того, что современные психологи называют низшим сознанием, бессознательным или подсознанием. Теософы Индии называют его телом желания, телом камическим или кама-рупа.

4. Ментальное тело (тело мысли) есть обиталище воли, разума, благородной и возвышенной мысли. Оно хранит наши воспоминания и приобретенные нами знания. Это – мыслящее «я», разумная душа древних философов (anima римлян, психея греков), в нем совершаются все явления сознания. Размышление, суждение, решения, постановления принадлежат к его области. Это высшее начало, которое управляет всеми нашими функциями, руководит всеми нашими разумными действиями. Теософы называют его манас низший, низший – относительно манаса высшего, пребывающего в причинном (каузальном) теле, которого я не касаюсь здесь.

*** * ***

Умирая, физическое тело разлагается, и душа удаляется с тремя другими своими одеждами. Эфирное тело тоже скоро умирает и распадается на части. На это вообще требуется не более 4–5 дней, и душа, облегченная и более свободная, удаляется с двумя тончайшими телами, астральным и ментальным, которые остались у ней. Астральное тело живет вообще гораздо дольше и долговременность его существования меняется, смотря по степени эволюции души. Оно живет недолго у людей, которые побороли свои страсти, чтобы вести благородную и возвышенную жизнь; у людей же, которые всегда были рабами своих страстей, оно живет продолжительно. Но час смерти наступает и для него, как и для

предыдущих; душа, освободившаяся, удаляется в теле мысли, которое составляет последнее ее одеяние, чтобы проявиться в новом и значительно лучшем состоянии, чем предыдущие. Жизнь мысли, очень короткая и почти бессознательная у малоразвитых людей с долгой астральной жизнью, длится, наоборот, очень долго у более развитых людей, астральная жизнь которых была короткая. Астральная жизнь есть очистительное состояние, а жизнь мысли есть как бы небесная жизнь религиозно настроенных людей, с тою только разницей, что как бы длительна она ни была, она никогда не бывает вечною. Приходит роковой момент, когда вся ее энергия бывает истощена, и вот тело мысли, где она была заключена, умирает и распадается, в свою очередь.

Душа, достаточно развившаяся, вступает тогда в полное владение собою, с полным сознанием своего прошлого и будущего. Она видит как свои земные существования, так и тот путь, который ей надо пройти, чтобы достигнуть совершенства, состояния, которое нас вполне освобождает, поднимая нас выше планов, где колесо перевоплощения непрерывно увлекает нас к рождению и смерти. Видя основу, на которой будут ткаться ее будущие существования, пользуясь опытом своего прошлого, душа может в некоторой степени изменить эту основу соответственно своим вкусам, намерениям и способностям. Затем, снова влекомая к земле желаниями, которые ей надо исполнить, и повинуясь законам перевоплощения, она снаряжается и снова воспринимает тело мысли, затем тело астральное и, наконец, эфирное и физическое тела, чтобы возродиться на земле с единственною целью продолжать свое развитие.

Эти тела, орудия души, служат последней для проявления на различных планах природы. Тела физическое и эфирное обитают на физическом плане и никогда не покидают его; область астрального тела – астральный план, а тела ментального – план мысли.

* * *

Из четырех перечисленных мною тел человека три, хотя и материальны, невидимы в обыкновенных условиях нашего физического существования, по крайней мере для большинства из нас. Я должен сказать прежде всего, что эфирный двойник и астральное тело почти всегда смешивают. Для того чтобы уметь различать их, мы должны знать свойства и особенности, известные или предполагаемые, каждого из этих тончайших тел. Вот главные:

I. Двойник или эфирное тело. Эфирный двойник ясно виден подготовленному глазу, он имеет серо-фиолетовый цвет: мутный или чистый, в зависимости от того, грубым или очищенным является плотное тело. Это благодаря эфирному двойнику жизненная сила – прана – перемещается по нервам тела, что и позволяет им действовать в качестве носителей двигательной силы и обеспечивает их чувствительность к внешним воздействиям. Но ни физическая, ни эфирная нервные субстанции не являются вместилищем мыслительной и двигательной способностей, равно как и способности чувствовать, поскольку они являются действиями «Я», проявляющегося в своих внутренних телах; его проявление на физическом уровне становится возможным благодаря перемещению дыхания жизни вдоль нервных волокон и вокруг нервных клеток.

Когда приходит смерть, в особенности если физическое тело ослаблено долгой болезнью или измождено старческой дряхлостью, теряя силы удержать физическую жизнь, – двойник экстериоризуется и попадает под воздействия напряженных чувств некоторых умирающих. У большинства последних он возбуждает настоящий ужас, так как они постоянно видят около себя беспокойного призрака, который не покидает их и которого они почти никогда не признают за своего двойника. Некоторые умирающие не видят, но чувствуют его. Они вполне сознают, что кто-то возле них лежит рядом, почти всегда с левой стороны.

II. Астральное тело тоньше, нежнее, чем предыдущее, серо-голубоватого цвета красивых, нежных оттенков, которые быстро меняются под влиянием волнения. У человека развитого и у людей, развивавших это тело со специальной целью, – прежних колдунов – оно

очень хорошо организовано и значительно сложнее, чем физическое тело. Оно имеет чувства, соответствующие физическим чувствам, но способные отзываться на более быстрые вибрации, что придает им большую чуткость и силу.

Это – орудие души на астральном плане в первую нашу стадию в потустороннем мире, после физической смерти; это также ее орудие во время нашего сна, а иногда, хотя реже, в некоторых неопределенных состояниях между сном и бодрствованием.

Астральное тело может предстать перед другими людьми вне своего физического двойника как во время земной жизни его владельца, так и после нее. При определенных обстоятельствах эти астральные образы могут видеть даже те, кто еще не развил в себе астральное зрение. Если физическая нервная система человека перенапряжена, а физическое тело – ослаблено (например, болезнью), то жизненная энергия в нем пульсирует слабее, чем обычно; при этом возрастает зависимость нервной деятельности от эфирного двойника, что резко повышает ее чувствительность. В таких условиях человек может на время стать ясновидящим. Например, мать, которая знает, что ее сын, находящийся где-то за границей, тяжело болен, и силы которой истощены беспокойством о нем, может стать восприимчивой к астральным вибрациям, особенно в ночные часы, когда жизненная энергия снижается до своего минимального уровня; если же и ее сын тоже думает в это время о ней, а его физическое тело погружено в бессознательное состояние, то его астральное тело может перенестись к ней, и вполне возможно, что она увидит его.

Чаще всего такие перемещения случаются сразу после того, как астральное тело будет исторгнуто из физического «смертью» последнего. Подобные феномены возникают довольно часто, особенно тогда, когда человек страстно желает увидеть кого-либо, с кем его связывают узы любви, или же если он стремится передать кому-то определенную информацию, но умирает, не успев осуществить это стремление.

Составленное из более тонкой материи, чем тело физическое, астральное тело прозрачно. Это свойство его подтверждается народным поверьем, по которому тело у призраков не отбрасывает тени и сквозь него можно видеть находящиеся позади призрака предметы. Бывают исключения, когда очень сгущенный астрал притягивает к себе материю с физического плана, чтобы вполне материализоваться и принять совершенный вид живого человека, чему имеются многочисленные примеры в житиях святых.

Призрак бывает вообще одет, как обыкновенно одевается физический человек; но иногда он появляется, закутанный в флюидический газ.

Он может показываться в различных формах, и теософы утверждают по этому поводу, что в большей части спиритических материализаций экстериоризованный астрал медиума принимает форму проявившегося существа. Они не отрицают возможности сообщений между жителем астрального плана и медиумом, но они утверждают, что сообщения эти весьма редко бывают, да и то, говорят они, ничто не доказывает, что они действительно обусловлены присутствием человека, так как на астральном плане имеются существа, никогда не жившие на физическом плане, которые тем не менее могут проявляться на нем.

III. Ментальное тело. Все теософы согласно описывают его блистающим ярким светом с чрезвычайно нежными оттенками, которые медленно меняются.

Это – орудие души на плане мысли, когда она покинула астральное тело. Мысленное тело образуется постепенно под влиянием мысли, в особенности если последняя благородна и возвышенна; и по мере того, как образуется тело, оно увеличивается в объеме, т. е. растет.

Разум начинает ощущать присутствие некоторых вещей из его собственного мира, как бы непосредственно вступая в контакт с ним. Здесь не нужны никакие особые органы, чтобы видеть, слышать, осязать, обонять и определять вкус; все те колебания, которые мы воспринимаем здесь через посредство определенных органов чувств, в том мире воспринимаются во всей своей полноте непосредственно разумом, если он способен улавливать их. Тело мысли ощущает их все одновременно, то есть постоянно чувствует все то, что оно вообще в состоянии ощутить.

План мысли, рассматриваемый как местопребывание души, со своим телом мысли в

качестве орудия, называется дэвачан у теософов (христианский рай), а житель этой высшей области – дэвачани.

Дэвачани, т. е. умерший на земле, пребывая в дэвачане, где он пожинает плоды своей земной работы, наслаждаясь заслуженным им счастьем, никоим образом не может сообщаться с земным планом. И если в чрезвычайно редких случаях происходит действительное сообщение между дэвачани и очень развитым человеком, то это значит, по утверждению тех же теософов, что тело мысли последнего во время сна его физического тела поднялось до дэвачани, видело его, вдохновилось его мыслями и передало своему физическому мозгу воспоминание своих впечатлений. Но они не говорят, может ли тело мысли человека показываться другому человеку не во сне. Весьма вероятно, что если тело мысли может покидать астрал для одиночного путешествия, то только человек с психической культурой, значительно превышающей обычное высокое развитие, способен видеть его.

Это утверждение теософов, что тело мысли может переноситься в рай, не ново. Об этом говорится во втором Послании ап. Павла к Коринфянам, гл. XII, ст. 2, 3 и 4.

«Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет (в теле ли – не знаю, вне ли тела – не знаю: Бог знает) восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке (только не знаю – в теле или вне тела: Бог знает), что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать».

*** * ***

На основании вышесказанного и других аргументов, которых я не привожу здесь, можно, следовательно, утверждать, что во всех почти случаях в живом человеке имеются два невидимых тела, которые могут иногда быть видимы: это тело эфирное и тело астральное.

Видимые проявления этих тончайших тел человека, т. е. то, что можно назвать видениями, всегда носили различный наименования: тени, мертвеца, призрака, двойника или астрала, причем люди не думали о том, кто проявлялся – эфирный двойник или астральное тело.

Проявления человеческого призрака чрезвычайно многочисленны при наступлении смерти. Нить астральной материи соединяет физическое тело с душой, которая сознает, что эта связь готова разорваться навсегда. Тогда душа, в большинстве случаев, делает большие усилия, чтобы известить о том тех, кого она любит, в особенности если ей надо передать им важное сообщение. Этот момент должен быть тяжелым и мучительным для нее, особенно если она недостаточно еще развилась, чтобы не переоценивать земные блага. Этим, конечно, объясняется частая передача сообщений в момент смерти.

Душа, облеченная наружно своим астральным телом и, быть может, эфирным, устремляется с быстротой молнии к близким людям, чтобы известить их о том, что происходит или уже произошло. В эти последние минуты присутствующие люди, если они достаточно чувствительны, услышат проявление, увидят его или, по крайней мере, интуитивно почувствуют происходящее. Если призрак недостаточно материализовался, чтобы быть видимым для присутствующих, последние могут быть предупреждены об этом нежданном посещении так называемыми телепатическими явлениями, каковы – перемещение предметов, необычные звуки, ощущения зрительные, осязательные или слуховые, сообщения мысленные, предчувствия, сны или уведомления, если люди спят, и другие ощущения, не воспринимаемые посредством физических чувств, которые теософы и оккультисты относят к астральной области.

Было опубликовано много подобных случаев, наблюдавшихся в условиях, исключающих всякую возможность ошибки.

Ужасы ночного мрака
Из книги Ж. Делюмо «Ужасы на Западе»4

Непременной сообщницей привидений всегда была ночь, которая стала постоянной составляющей страха. Ночь была самым удобным временем для врагов рода человеческого, готовящих ему погибель как физическую, так и нравственную. Уже в Библии говорится о мраке, который поглотит цивилизацию, а судьба каждого из нас иносказательно предрешена в терминах света и тьмы, то есть жизни и смерти.

Слепец, который не видит «света дня», предвкушает смерть. На исходе дня появляются зловещие твари и те, кто ненавидит свет, – прелюбодеи, воры, убийцы. Даже слепые, которые никогда не видели дневного света, начинают проявлять беспокойство с наступлением темноты. Это доказывает то, что наш организм живет в ритме космоса.

С точки зрения методологии было бы полезно различать страх в темноте и страх темноты. Страх в темноте был присущ первобытным людям, когда ночью они оставались не защищенными от диких зверей и не могли в темноте увидеть их приближение. Чтобы отогнать зверей, представляющих «объективную опасность», они зажигали костер. Изо дня в день с приближением темноты страх охватывал людей, которые научились бояться ночных ловушек. Страх в темноте характерен также для младенца, внезапно проснувшегося в ночи. С открытыми глазами, охваченный ужасом, он, кажется, смотрит продолжение кошмарного сна. В этом случае речь идет о «субъективной опасности».

Именно субъективной опасностью можно в основном объяснить чувство страха, которое люди испытывают по ночам. Для большинства взрослых людей, испытывающих страх в темноте, это чувство связано с ощущением опасности, исходящей от чего-то страшного и невидимого. У В. Гюго есть строки, в которых говорится о неясных шорохах, которые воспринимаются обостренно в предсумеречный час. Ему вторит Мюссе в «Плакучей иве»:

О, как учащенно бьется сердце
в час, когда человек остается наедине с Богом.
Обернешься тайком, и, кажется, мелькнет чья-то тень.
И тогда ужас коснется твоей головы,
словно ветер коснулся верхних деревьев.

С уверенностью можно утверждать, что на основании «объективной опасности», которой люди подвергались ночью, в течение многих веков человечество населило темноту «субъективной опасностью». И таким образом страх в темноте постепенно превращался в более общее понятие страха темноты. Но существуют также другие причины, объясняющие страх темноты и которые зависят от нашего физического состояния. Зрение человека более острое днем, чем у многих животных, например кошек и собак, не приспособлено к ночному видению. Поэтому в темноте человек более безоружен, чем млекопитающее животное. Кроме того, при отсутствии света у человека усиливается воображение, при этом более легко, чем при свете, происходит смешение реального и фиктивного. Верно также и то, что в темноте мы не можем наблюдать за собой и другими, и таким образом это время более благоприятно для дел, которые днем невозможны по причине страха или совести: неслыханная удаль, преступления и т. п. Наконец, без света человек остается в изоляции, его охватывает тишина и чувство незащищенности.

Вот комплекс причин, которые объясняют чувство беспокойства, появляющееся у человека с наступлением темноты, а также желание и старания нашей урбанистической цивилизации продлить день при помощи искусственного освещения.

*** * ***

В известной пословице утро вечера мудренее не потому, что ночь темна, а потому, что она дает время для размышления перед принятием решения. Во многих пословицах

содержатся сетования на темноту: ночь темна «как не знаю что»; или опасения попасть в ловушку: «ночь, любовь и зелье – это зло и яд». Ночь – это сообщница злодеев: «добрые люди любят день, а злые – ночь», «ночью выйди, так увидишь и угрюмого монаха, и оборотня». И, наоборот, в пословицах воспевается Солнце: «Солнце несравненно», «Где Солнце светит, там ночь бессильна», «У кого Солнце, тому ночь не страшна», «Бессмертен тот, у кого Солнце».

Моряки встречали восход Солнца с надеждой на спасение после ночи испытаний. У Камоэнса есть строки: «После страшной бури, черной ночи и ураганного ветра на рассвете безоблачного дня появилась надежда достичь родной гавани. Солнце рассеяло черный мрак в наших душах». То есть ураган должен был утихнуть с наступлением дня. На земле ночь тоже приносит тревогу. В «Сне в летнюю ночь» Пирам восклицает:

«О ужасная ночь! Цвета твои черны! О ночь, везде, где краски не видны! О ночь! О ночь! Увы! Увы! Увы!»

Даже для образованных людей ночь населена опасными духами, которые смеются над заблудившимися путниками. Ночью появляются самые лютые звери, смерть, призраки, а именно, призраки окаянных душ. В той же пьесе Шекспира есть описание ночи: «Когда двенадцать раз пробьет в ночи», наступает нечеловеческое время, «рычит лев, волк воет на луну, в то время как работяга храпит в своей постели, утомленный дневным трудом. Факелы мигают и гаснут, ухает сова, предвещая несчастному больному белый саван. В этот ночной час раскрываются могилы, выпуская призраков, которые бредут дорогами церкви».

И наоборот, с наступлением зари земля вновь принадлежит живым: «С ее приближением призраки, бродившие в ночи, толпой возвращаются на кладбище; окаянные души, покоящиеся на большой дороге или в пучине вод, возвращаются на изъеденное червем ложе. Из страха, что днем станет видна их вина, они избегают света и остаются навечно повенчаны с чернолобой ночью».

Для старушек, которые коротают зимние вечера, рассказывая друг другу истории, собранные в «Евангелии для пряхи», дурные сны не являются психическим явлением. Дурные сны приходят извне, они навязываются спящему загадочным злым существом по имени Кокемар (на юге Франции – Старая Шош). Причем это имя употребляется то в единственном, то во множественном числе, и тогда прослеживается связь между этим персонажем и оборотнями. Говорит другая старуха: «Если у человека судьба быть оборотнем, то и сын его станет таким, а дочь станет Кокемар».

Этому вторит еще один рассказ сборника о том, как следует остерегаться «умерших душ, домовых и Кокемар или оборотней, так как они приходят невидимыми». Таким образом, существа, приносящие дурные сны, собраны без особого разграничения в одну категорию – домовые, оборотни, привидения. Кумушки имеют на вооружении множество советов и рецептов, как избежать ловушки этих существ.

Говорит одна девица: «Тот, кто ляжет в кровать, не подвинув стул, на котором сидел, когда разувался, того в эту ночь потревожит Кокемар».

Расторопная Перрет говорит, что Кокемар больше всего боится котелка с кипящей водой. На что другая отвечает: «Кто боится, должен поставить перед очагом дубовую скамеечку. Кокемар сядет на нее и до зари не сможет встать». Еще одна уверяет, что она «избавилась от Кокемар, собрав в ночь на святого Иоанна 8 стебельков, сделала из них четыре крестика и положила их в четыре угла кровати».

Напротив, одна из собеседниц, которую раньше никогда «не беспокоили домовые», не знает, как избавиться от Кокемар. Но она слышала, что якобы Кокемар приходит к тому, кто по пятницам доит корову со стороны задних ног.

Следует предельно четкий рецепт: «Совершенно точно, – говорит одна девица, – если кто хочет избавиться от Кокемар, то должен скрестить руки на груди, а кто боится домовых, тот должен надеть рубашку задом наперед».

* * *

Ад, в свое время описанный и обрисованный сотни раз, представлен Данте и его последователями как место, «где солнце молчит, где текут черные реки и даже снег теряет свою белизну». Общеизвестно, что Сатана – властитель тьмы – выдумывает самые страшные пытки для устрашения и мучения окаянных душ. И. Босх, вслед за автором «Божественной комедии», неисчерпаем в этой тематике. Даже такой гуманист, как Г. Бюдэ, наследник греко-римской традиции путешествий в ад и христианского взгляда на сатанинские силы, считает их достоянием беспросветной ночи. В мышлении того времени это было общепринятым местом. Когда Г. Бюдэ говорит об аде, он называет его «мрачным Тартаром», находящимся на дне самой глубокой пропасти, или «ужасной и мрачной пещерой», или же «страшной и темной каторгой, Стиксом, похищающим людей». Он описывает также «бездонные колодцы», где вечно томятся богатые и бедные, старцы и молодые и даже дети, глупцы и мудрецы, ученые и неучи. Для него так же, как и для его современников, Люцифер – «князь тьмы», «хозяин мрачного притона», «Эринии, обитающие во тьме» (последнее определение заимствовано у Гомера).

Ночь всегда была на подозрении, поскольку была повязана с дебошами, воровством и убийствами. Тем более строгое наказание несли те, кто преступал законы ночью или в безлюдном месте, поскольку жертве труднее было защититься или позвать на помощь.

И в наше время уголовный кодекс рассматривает темноту как «отягчающее обстоятельство». Впрочем, связь между темнотой и преступлением признавалась всегда. Согласно опросу, проведенному в 1977 году, 43 процента жителей городов со стотысячным населением и 49 процентов жителей Парижского района считают отсутствие освещения одним из факторов личной небезопасности. В Сен-Луи, штат Миссури, после осуществления обширной программы по освещению города угоны автомобилей уменьшились на 41 процент, а кражи – на 13 процентов.

Т. Деккер, английский поэт эпохи Возрождения, дает описание лондонской ночи времен Елизаветы и Карла I со знанием дела и без прикрас:

«Преступники, слишком трусливые, чтобы показаться днем, ночью выходят из своих укрытий. Лавочники, целый день с хмурым или отсутствующим видом убивающие время за прилавком, теперь украдкой спешат в таверну, откуда возвращаются шатаясь, а некоторые сваливаются в канаву. Подмастерья, несмотря на данные при найме обещания, устремляются в кабачок. Молодожены избегают брачного ложа. Вокруг констебля, задержавшего пьяницу, собираются зеваки. На улице появляются «ночные бабочки», которые останутся там до полуночи. А если ночь достаточно темна, то и блюститель нравов осмелится зайти в публичный дом или к куртизанке. Повивальные бабки крадутся темными улицами, чтобы принять роды незаконнорожденных и тут же умертвить их. Ночь становится тем более опасной, что городская стража с громким храпом спит на перекрестках. Впрочем, их можно унюхать еще издалека, потому что они наелись луку, чтобы не заболеть простудой. Так вот, зло может не беспокоясь отплясывать в ночном городе, а волокиты у дверей таверны показывать фигу заснувшим стражникам».

Даже в XVIII веке в Париже, где основные артерии города освещались 5500 фонарями, ходить по темным улицам было небезопасно. В 1718 году вышли «Наставления путешественникам», изданные Немецом, в которых он пишет по этому поводу:

«Никому не советую выходить ночью в город. Несмотря на пешую и конную стражу, которая патрулирует город с целью предотвратить беспорядки, многое остается скрытым. Сена, пересекающая город, скрывает в своих водах убитых, которых она выносит на берег ниже по течению. Ночью нельзя останавливаться на улице, а лучше вообще возвратиться домой засветло».

* * *

Итак, враг рода человеческого использует ночь, чтобы ввести в искушение людей,

которые теряют в темноте стойкость. Поэтому раньше в городах считалось необходимым, чтобы ночной стражник делал обходы, вооружившись лампой, колокольчиком и собакой. По словам Т. Деккера, это были часовые города, блюстители нравов, честные наблюдатели, предотвращающие ночные происшествия, они были подобны сигнальному огню на борту корабля, служившему проводником и средством безопасности морякам в беспросветной тьме. Они обходили город и часто предотвращали пожары. Следовательно, каждый заинтересован лично в том, чтобы слушать их советы и следовать им. Поскольку ночь враждебна душе и телу, она является преддверием смерти и ада. Колокол ночного стража это уже похоронный звон:

Мужи и дети, женщины и девы!
Не поздно никогда по правде жизнь прожить.
В тепле останьтесь спать, заприте крепче двери,
Огромная утрата – невинность потерять.
А в полночь пировать – потерь не сосчитать!
Бесчинства слуг хозяев разоряют.
Когда же вы услышите сей колокола звон,
Подумайте, что ваш последний час настал —
Вот он!

В этом заунывном ночном лондонском песнопении можно увидеть, насколько велик тысячелетний страх человека перед необузданной тьмой.

Потусторонний мир. Богиня мрака и демоны ночи5

Богиней мрака является Геката. Еще в Древней Греции ее считали покровительницей тьмы, ночных кошмаров, мести, разврата и колдовства. Богиня имеет устрашающий облик, на ее голове вместо волос развеваются змеи. По ночам Геката устраивает ужасную, дикую охоту, свора ее гончих псов бежит среди могил и призраков.

Гекате молятся отвергнутые влюбленные и убийцы. Она внушает, как готовить отвары для приворотов и яды.

Но Геката имеет и другие облики: днем она предстает перед людьми как суровый судья, а утром – как олицетворение духовности и в этом облике Геката помогает философам и ученым, «выводит души» людей из Царства мертвых к свету и любви. Таким образом, Геката связывает два мира: живых и мертвых. Она и мрак, и свет одновременно.

В древности изображения Гекаты ставились на перекрестке трех дорог. В Римский период Гекату называли Тривией («трехликой»). Бывали храмы и в честь лишь одной из ипостасей Гекаты, поскольку трудно обычному человеку осознать триединство любого бога вообще.

В более поздние времена Геката считалась женским воплощением дьявольских сил и противопоставлялась христианской Троице. Гекате поклонялись приверженцы сатанинских культов, ей приносили в жертву черных собак, возжигали черные же свечи или чадящие факелы на черных рукоятях. Курили благовония – белена, могильный барвинок, часто смешанные с кровью жертвы. Время ритуалов Гекаты – первый и третий часы после полуночи, предпочтительно первые два и последние два дня Луны. Место ритуала – перекрестки заброшенных или безлюдных дорог или троп, кучи камней, острова на болотах.

В демонологии ближайшими помощниками Гекаты считались инкубы и суккубы.

Инкубы – ночные демоны, принимающие мужской облик (от *лат* . incubare – «лежать на»); суккубы – демоны, принимающие женский облик (от *лат* . succubare – «лежать под»).

Описание ночного посещения инкуба имеется в «Золотой легенде» Якоба Ворагинского: когда св. Эдмунд, после долгих ночных штудий, «внезапно заснул, забыв перекреститься и подумать о Страстях нашего Господа, дьявол налег на него, и так тяжко,

что он ни одной рукой не мог перекреститься и не знал, что делать, – однако, по милости Бога, он вспомнил о его благословенных Страстях, и тогда враг потерял всю свою силу и упал с него» (Житие св. Эдмунда).

Существовали представления о крайней агрессивности инкубов (так, Тома из Кантемпре утверждает, что инкубы атакуют женщин даже в исповедальне; по Лютеру, излюбленное место засады инкубов – вода, где они, приняв вид водяных, совокупляются со своими жертвами и зачинают потомство) и о смертельной опасности сношений с ними. Английский монах Томас Вальсингам рассказывает ок. 1440 г., что одна девушка умерла три дня спустя после того, как «осквернил ее дьявол», от страшной болезни, которая раздула ее тело, как бочку; Цезарий Гейстербахский повествует о женщинах, одна из которых поплатилась жизнью за дьявольский поцелуй, а другая – всего лишь за пожатие руки невидимого инкуба (Диалог о чудесах, 164).

Инкубы имеют необычную физическую природу: их половые члены изображались раздвоенными или похожими на змею. Обитают инкубы, по мнению Готфрида Монмутского (XII в.), «между луной и нашей землей». От связи ведьм и инкубов рождаются malefici, «монстры»; ребенок некой Анжелы де ла Барт имел голову волка и хвост змеи.

Многие неординарные личности эпохи Средневековья и Возрождения считались отпрысками инкубов и обычных женщин. Авторы «Молота ведьм» Шпренгер и Инститорис объясняли это следующим образом: дети, рожденные от демонов, часто бывают сильнее и лучше обычных: это объясняется тем, что «демоны могут знать силу излитого семени», выбирать наиболее благоприятное время для соития и подбирать наиболее подходящую женщину. Однако таким образом рождаются преимущественно злодеи, хотя и выдающиеся.

Знаменитый «Роберт Дьявол», герцог Нормандии, отец Вильгельма Завоевателя, прославившийся своей невероятной жестокостью, считался порождением демона и герцогини Нормандии. Разновидностью истории о Роберте Дьяволе можно считать английский роман XV в. «Сэр Гаутер». Молодая женщина имеет связь с демоном, явившимся ей под кустом орешника в обличье «благородного лорда»; он сам предупреждает свою жертву, что зачатый от него ребенок будет дик и жесток, и ребенок действительно проявляет свирепый нрав с самого рождения: он иссушает груди всем своим кормилицам, так что за девять месяцев умирают девять нянек. Став взрослым, он совершает массу злодеяний, например, сжигает в церкви монахинь.

Что касается суккубов, то они, в соблазнительном женском образе, часто искушали святых отшельников. Английский отшельник Ричард Ролли (XIV в.) сам описал посещение суккуба: однажды ночью к нему в постель пришла «очень красивая женщина, которую я видел раньше и которая сильно любила меня самой благородною любовью»; Ролли, боясь, что она заставит его согрешить, был готов вскочить с постели, осенить себя крестным знамением и испросить благословения Святой Троицы для них обоих, но она держала его так крепко, что он не мог ни пошевелиться, ни говорить. Ролли понял, что ночная посетительница была «не женщиной, но дьяволом в облике женщины», произнес про себя: «О Иисус, как драгоценна твоя кровь!» и пальцем сделал знак креста у себя на груди: демон тут же исчез.

Связь с суккубом могла длиться целыми десятилетиями. Так, священник-колдун Бенуа Берн, сожженный в возрасте восьмидесяти лет, признался, что жил с демоном по имени Гермиона сорок лет; при этом демон оставался невидимым для окружающих (Ж. Бодэн. «О демономании ведьм»).

Инкубы и суккубы нередко принимают облик умерших. В истории, рассказанной в XIII в. Уолтером Мепом, к некому рыцарю вернулась его мертвая, недавно похороненная им жена; она предложила ему остаться с ним до тех пор, пока он не произнесет некое проклятие. Рыцарь прожил с воплощенным дьяволом несколько лет вполне счастливо, и суккуб даже родил ему детей, однако в один прекрасный день рыцарь в забывчивости произнес фатальное проклятие, и демон исчез.

В истории, рассказанной польским автором XVII в. Адрианом Регенвольсом (имела

место в 1597 г. в Вильно), некий юноша (Захария), получив от родителей любимой девушки (Бьетки) отказ в ее руке, впал в меланхолию и удавился, но через некоторое время явился к возлюбленной со словами: «Я пришел, чтобы выполнить свое обещание и жениться на тебе». Бьетка, несмотря на то, что она прекрасно поняла, с кем имеет дело, согласилась. Состоялся форменный брак, но без свидетелей: ведь все близкие Бьетки знали, что Захария умер…

Князь тьмы и его слуги
Из книги Ж. Делюмо «Ужасы на Западе»6

Сатана не раз изображался в раннем христианском искусстве и наскальных фресках. Одно из самых ранних изображений Сатаны в церкви Бауит в Египте (VI в.) представляет его в виде ангела, безусловно падшего, с обломанными ногтями, но не страшного и с легкой иронической усмешкой на устах. На страницах Библии Св. Грегуара Нацианского – это обольстительный искуситель, на росписях некоторых восточных церквей того же времени – падший герой, Люцифер, любимое Божье создание, в то время не считался еще отталкивающим чудищем.

Первый большой «дьявольский взрыв» произошел на Западе в XI–XII вв. Сатану начинают изображать с горящим взором, огненными волосами и крыльями (Апокалипсис Сен-Севера), пожирателем людей (Сен-Пьер де Шовиньи), огромным демоном (у Отэна), или как, например, в Везелэ, Муассаке или Сен-Бенуа на Луаре, исчадием ада, который пытает и мучает людей.

Если раньше это был абстрактный богословский образ, то теперь он конкретизируется. Задолго до Данте по Европе ходили фантастические рассказы об адских муках. Некоторые из этих рассказов пришли с Востока, как, например, «Видения св. Павла», которые датируются не позднее IV в. Оказавшись за пределами Земли, апостол неверных приходит к вратам царства Сатаны. Во время своего ужасающего путешествия он видит мертвые деревья с висельниками на ветвях, адское пекло, реку, в которой тонут грешники, а степень их погружения зависит от тяжести совершенного греха, наконец, бездонную пропасть, из которой поднимается зловонный дым.

Некоторые детали «Видения св. Павла» встречаются в ирландских легендах, в частности в «Видениях Тангдала», ужасам которых не позавидовали бы персонажи «Божественной комедии». В безумных картинах этого северного ада есть описание огненного озера и ледяного озера, чудищ, пожирающих души скупых и неверных, зловонные болота, кишащие отвратительными жабами, змеями и прочими тварями.

Впечатляющим свидетельством «нового ужаса» являются малоизвестные фрески церкви небольшого городка Сан-Джиминьяно. Тадео ди Бартоло (1396 г.) изобразил ад, в центре которого расположился Люцифер, огромного роста, с чудовищной рогатой головой, сжимающий мощными ручищами смехотворных маленьких грешников. В этом царстве ужасов черти вытягивают кишки у завистников, выворачивают наизнанку скупых, не подпускают чревоугодников к богатому всяческими яствами столу, бичуют прелюбодеев и сажают на кол неверных жен.

В книге «Великолепный часовник герцога де Берри» (Франция, начало XV в.) описание некоторых картин ада также заимствовано из «Видения Тангдала»: огромный Люцифер с короной на голове пожирает души грешников, заглатывает и исторгает их вместе с клубами дыма и пламенем.

Во Франции муки ада начинают появляться в монументальном искусстве в середине XV в. Э. Маль приводит примеры (их список, конечно, далеко не полный) описаний ада с заимствованиями из «Видения св. Павла» и ирландских легенд. Таким представляли себе ад художники, сделавшие росписи в Сен-Маклу в Руане, в Нантском соборе, в церквах Нормандии, Бургундии и Пуату. Некоторые детали просто поразительны: черти-кузнецы поднимают огромный молот над наковальней, составленной из человеческих тел, лежащих друг на друге мужчин и женщин; грешники, привязанные к огромному колесу; осужденные

на адские муки грешники, корчащиеся под капающим на их головы расплавленным свинцом, живые висельники на дереве и т. п.

Но наивысшей жестокости кошмар ада достигает в безумном мире И. Босха. В Страшном суде в Вене и в Брюгге, в триптихе в Прадо, где боковые створки изображают райские кущи и ад, безумие и сатанинское зло изображаются с садистской разнузданностью. В Вене, во фрагменте ада, черт с птичьей головой и длинным клювом несет в корзине за спиной осужденного на муки грешника. Другой черт несет на плече палку, к которой ногами и руками пригвожден грешник. Один грешник осужден навеки крутить ручку огромной шарманки, другой – распят на гигантских размеров арфе. У Сатаны на голове тюрбан, горящий взор, пасть дикого зверя, крысиный хвост и лапы, а вместо живота – пылающая печь. Он ждет грешников в окружении жаб.

Ж. Балтругайтис, прибегая к сравнению, убедительно показал, что в европейской иконографии дьяволиада была наполнена восточными мотивами, которые производили еще более ужасающее впечатление. Из Китая на Запад приходят орды чертей с крыльями летучей мыши и женской грудью. Появляются также драконы с перепончатыми крыльями, большеухие единорогие великаны.

В «Искушении святого Антония» раскрывается еще одна сторона сатанинской серии – по аналогии с Буддой, медитирующим у подножия дерева и подвергающимся искушениям духа зла и силам ада. Как и христианский отшельник, он подвергается двойному испытанию – его хотят и запугать, и ввести в соблазн. Он должен противостоять бесформенным великанам, сыплющимся на него стрелам, адскому гаму, мраку и потопу, но, с другой стороны, – девам с обнаженной грудью, которые знают тридцать два колдовских способа женских чар. В изобразительном искусстве Востока эта сцена встречается достаточно часто, на Западе она дополняет историю св. Антония, известную также по сюжету «Золотой легенды».

Вот так приумножались «Искушения», которые затем изображались Босхом, Мандином и др. с буйной фантазией в забавных и чудовищных деталях. В большом триптихе в Лиссабоне Босх изображает отшельника, который противостоит бесовским чарам, видя перед собой кувшин на ножках и покрытую древесной корой старуху, из которой растет сельдерей, старика, поучающего обезьяну и гнома, гонца, бегущего на коньках по песку. Там также присутствует ведьма, наливающая эликсир жабе, лежащей на цветке, обнаженная молодая женщина, спрятавшаяся за засохшим деревом, на ветвях которого развевается алое полотнище, стол с яствами, за которым сидят девы и отроки, приглашающие Антония присоединиться к ним. Дьявол-искуситель пытает бесстрастного отшельника всевозможными проделками: пытается его запугать, помутить его разум, искусить земными наслаждениями. Все напрасно. У Босха св. Антоний олицетворяет христианскую душу, сохраняющую бесстрастность в царстве Сатаны, который расставляет все новые и новые ловушки…

Искушения св. Антония можно было бы назвать мучениями св. Антония, потому что вражья сила искушает и одновременно пытает человеческую душу. Она смущает сон, устрашает видениями, по выражению авторов «Молота ведьм», «видениями во сне и наяву». Впрочем, бес может покуситься не только на земные блага и самого человека, он может вселиться в строптивого человека и стать его двойником.

В «Молоте ведьм» приводится исповедь одержимого бесом священника:

«Как только я хочу прочитать молитву или посетить святые места, я теряю рассудок… [Тогда бес] вселяется в меня, во все члены и органы – шею, язык, легкие – чтобы говорить и кричать, когда ему заблагорассудится. Конечно, я слышу, как он говорит моим языком, но ничего не могу поделать. И чем больше мое желание произнести молитву, тем большее насилие он совершает надо мной».

В известном в Германии XV в. сочинении «Сети дьявола» действующее лицо – отшельник, противоборствующий Сатане, который владеет многочисленными способами, чтобы развратить людей. Здесь та же озабоченность чистотой морали, что и у Босха в саду

блаженства (в триптихе Прадо). В этом ложном земном раю бьют источники молодости, в которых плещутся белые и черные красавицы, с ветвей свисают дивные плоды, цветут такие нежные и восхитительные цветы, что можно подумать, будто это персидская миниатюра. Все это создает атмосферу блаженства. Но элементы смешного и неприличного напоминают, что это всего лишь бесовский обман. Существо со странным лицом смотрит на крысу и двух милующихся влюбленных под стеклянным колпаком. Слева сидит сова – сатанинская птица. Справа обнаженный человек падает в бездну. Эта центральная часть триптиха обрамлена, с одной стороны, истинным раем, раем Адама и Евы, который навеки утрачен, с другой – адом, в котором мучаются заблудшие в земных наслаждениях души.

Другое название «Сада блаженства» – это «Сказочная страна. Но счастья нигде нет, оно призрачно, подобно шутовскому празднику».

* * *

В эту эпоху, а также позднее существовало два различных представления о Сатане: одно народное, второе, более трагическое, элитарное. О первом можно судить по показаниям на суде. Судебные документы свидетельствуют, что в Юре и Лотарингии дьявол в простонародье назывался не так, как в Библии, а имел другое имя – Робин, Пьерасет, Грепэн и т. д. Только в Ажуа (епископат Баль) в период 1594–1617 гг. было известно около 80 наименований демонов. Нередко они вовсе не были черными (что характерно для Сатаны), а зелеными, синими, желтыми. Эти цвета были присущи древним божествам лесов Юры.

Таким образом, дьявол располагался в одном ряду с божествами, и его можно было умилостивить и сделать добрым. Ему делались подношения, а затем искупали содеянный грех в церкви. И в наше время так еще поступают горняки из Потози: они совершают культовый обряд Люциферу – подземному божеству, но периодически приносят покаяние в виде пышного крестного хода в честь Богородицы.

Но еще св. Августин в свое время старался доказать язычникам, что добрых демонов не существует. Св. Фома, Суарез (XVII в.) и многие другие солидарны со св. Августином в том, что демоны приговорены к бытию в аду и выходят оттуда, чтобы искушать людей. Они живут в потустороннем мире, рядом с нами. Кальвин тоже говорит о духах, которые и есть демоны.

Бестелесные в сущности, они, тем не менее, очень опасны. Образу Люцифера— персонажу церковного Страшного суда – вторит его описание, данное в XI главе Книги Иова и в копии этого произведения, сделанной Мальдонадо7. Вот как описаны Бегемот и Левиафан:

«Зверь премного ужасный и размерами туловища, и жестокостью. Его сила заключена в почках, а добродетель в пупе. Хвост его тверд подобно кедру, его гениталии перекручены, кости словно колонны, а хребет острый как лезвие. Его клыки наводят ужас; все его тело покрыто чешуей словно чеканными монетами. Он недоступен и защищен со всех сторон».

Со времен первородного греха это прожорливое чудовище захватило Землю и стало хозяином падших людей. Беруль поясняет:

«Сатана, будучи победителем в замкнутой сфере земного рая, отнял у Адама его вотчину и присвоил себе титул властителя – власть над миром, которая должна принадлежать человеку. И без конца он его искушает, не давая душе человеческой покоя, поскольку она находится в пределах царства Сатаны, которым он незаконно завладел».

Иногда ему удается завладеть телом человека. Если до грехопадения Сатана мог превращаться в змия, то теперь он вселяется в человека, и тот становится бесноватым. Во всех богословских произведениях, когда речь идет о демоне, прослеживается доктрина, согласно которой выражения «князь этого мира», «князь поднебесья» можно понимать буквально. Лютер заверяет нас, что «мы подвластны дьяволу так же, как и Господу Богу». И добавляет: «Телом мы подвластны дьяволу, мы странники и гости в мире, где дьявол является князем и богом. Хлеб, что мы едим, питие, что мы пьем, одежды, что мы носим, и

даже воздух, которым мы дышим, – все плотское в этой жизни в его власти».

Три четверти века спустя Мальдонадо тоже утверждает, что «нет на Земле другой такой власти, которая сравнилась бы с его властью». Следовательно, «кто может противостоять дьяволу и плоти?» Мы не можем устоять даже перед самым малым грехом. Лютер, задаваясь этим вопросом, вторит тексту из Книги Иова: «Для демона железо не прочнее соломинки, он не страшится никакой силы на Земле». Подобное возвеличивание власти Сатаны устраивало Церковь и служило подтверждением веры, постулирующей беззащитность человека перед кознями Лукавого. Поэтому Кальвин проповедует, что сражаться в одиночку с дьяволом, таким сильным и искусным воителем, это просто безумие.

«Те, кто собирается сразиться с ним, полагаясь только на свои силы, не представляют, с каким врагом они имеют дело, насколько он силен и ловок в борьбе, насколько он вооружен. А потом мы просим освободить нас от его власти, как от пасти голодного и свирепого льва, готового растерзать нас ногтями и зубами и проглотить».

* * *

Итак, «начиная с колыбели человечества между людьми и дьяволом идет постоянная война». Католические и протестантские богословы сходятся в том, что враг неустанно тщится напакостить своей несчастной земной жертве. Мальдонадо пишет: «Существуют три сферы, где дьявол может проявить свою власть: духовная, телесная и внешняя». Иначе ничто во Вселенной не может укрыться от влияния властителя ада и злых гениев. Следует знать, что демоны воздействуют тремя способами – «непосредственно локальным воздействием», опосредованно «путем превращения активных вещей в пассивные, что признается всеми богословами» и «ослеплением и обманом чувств».

Что касается локального воздействия, то в действительности демоны не могут изменить порядок Вселенной, «поколебать и изменить или помешать естественному ходу небес». Но все это они способны сделать с низшими телами, находящимися в подлунном мире, который подвластен ангелам, а также демонам. В этой сфере нет такого тела, сколь бы обширным и большим оно ни было, которое бы демоны не смогли переместить. В этом и заключается «локальное воздействие», в результате которого в мгновение ока одна вещь подменяется другой.

Что касается превращения активных вещей в пассивные, то Дель Рио8 объясняет это так:

«Путем превращения или изменения вещей они часто творят чудеса, природа которых естественна, но нам неведома. Демонам известны сущность всех естественных вещей, все их особенности, наилучшее время превращений, наконец, все ухищрения и лукавство. Поэтому не стоит удивляться тому, что случаются сверхъестественные вещи, невозможные без дьявольского вмешательства, но которые совершаются посредством естественных способов и приспособлений. Такие творения, однако, не выходят никогда за рамки природы».

Существуют демоны инкубы и суккубы. От злого духа, инкуба, женщина может родить ребенка, человеческое существо. Дель Рио, так же как автор «Молота ведьм», полагает, что в этом случае настоящий отец ребенка не злой дух, а муж. Однако семя было подложным – прекрасный пример «локального воздействия».

Так же, как авторы «Молота ведьм» и другие демонологи того времени, Дель Рио верит, что ведьмы действительно собираются на шабаши и их присутствие там не является лишь плодом воображения. Они летают то на козле или другом животном, то на помеле или палке, то оседлав мужчину, которого им сотворяет из воздуха сам черт.

Вопрос об оборотнях был особо дискутируемым. Действительно ли адские силы способны превратить человека в зверя, а именно в волка? И в «Молоте ведьм», и у Дель Рио ответ отрицательный. Но здесь имеются две возможности. Воздействуя на расположение духа и возбуждая испарения, нужные для своей проделки, дьявол делает так, что человек создает в своем воображении то, что он ему внушает. Или же волк и в самом деле

настоящий, не одержимый демоном, и в этом случае его нельзя ранить или поймать.

Опираясь на материалы процессов над оборотнями, Жан Бодэн9 высказывается более категорично:

«Если мы верим, что человеку под силу сделать так, чтобы вишня расцвела розами, на капусте созрели яблоки, железо превратилось в сталь, а серебро в золото, и создать тысячи разных драгоценных камней, более прекрасных, чем натуральные, так стоит ли удивляться тому, что Сатана способен изменить свой облик, имея такую силу, которой наделил его Господь Бог в этом мире».

Дель Рио более сдержан, чем Бодэн. Но и у него можно еще найти описание поразительных способностей Сатаны:

«С Божьего позволения он может вернуть старикам первую молодость (вот вам сюжет «Фауста». – Авт.), способен улучшить память, ухудшить ее или вовсе лишить человека памяти».

Но демонам больше нравится мутить человеческий разум, с тем чтобы человек все видел в искаженном свете. Дав волю внешним проявлениям чувств, человек через дьявольское воздействие может впасть в исступление или крайний восторг.

Говоря о прогнозировании будущего, Дель Рио уточняет, что дьявол не может заранее предсказать все действия человека. Однако Враг располагает обширными сведениями о будущем, поскольку в результате каждодневных наблюдений он приобрел «всеобъемлющий опыт». Ему ведомы «свойства естественных вещей, их сила и добродетельное воздействие. Поэтому он может вычислить то, что непременно произойдет: затмения, конъюнкция звезд и т. п. Между прочим, прибегая к соблазну, он способен сломить волю человека». Он осведомлен о слабостях человека и различных темпераментах и о возможных их проявлениях. Несмотря на то, что по своей природе дьявол лжив, он может делать истинные предсказания (но это лишь один из его способов лгать).

«Что и когда должны совершать люди, что Бог должен покарать какой-то народ, что какая-то армия будет разбита мечом, голодом или напастью, что такой-то погибнет от такого-то, что такой-то князь будет свергнут с престола…»

Так или иначе, Сатане известно три четверти нашего будущего.

* * *

Теперь о жутком союзе Сатаны и смерти. Лукавый имеет обыкновение принимать личину умерших и представать в их облике. Его власть над погребенными без должного образа исключительно велика. В общем, его способность воздействия на мертвых можно объяснить тем, что ему подвластны все «телесные вещи». Иногда случается, что после смерти человека и его сердце, и его тело в течение какого-то времени не подвержены разложению, а волосы и ногти продолжают расти – это дело рук Сатаны.

Демоны имеют некоторую власть над умершими. Но способны ли они по-настоящему отделить душу от тела, то есть умертвить? Это важный вопрос, и Дель Рио отвечает на него утвердительно: разве не были задушены Асмодеем семь мужей Сары; разве не Сатана убил детей Иова, не он ли убивает ежедневно множество людей посредством колдовства и порчи? На вопрос, могут ли демоны убить человека, Мальдонадо отвечает, что «они могут его убить», и прибегает к тем же аргументам: дети Иова, семь первых мужей Сары. Шестьдесят лет до этого Лютер проповедовал в «Великом катехизисе»:

«Поскольку дьявол не только лжец, но еще и убийца, то он непрестанно покушается на нашу жизнь и разряжает свою злобу, чиня нам телесные повреждения и несчастья. Многих он погубил: сломал шею, помутил разум, утопил, подтолкнул к самоубийству и другим жутким несчастьям. Посему на этой земле нам не остается другого, как беспрестанно взывать к Богу о помощи, о защите от основного Врага и его нападок».

Существует множество церковных произведений, посвященных этой теме, в которых определяются проделки Сатаны. В «Молоте» приведены многословные рассуждения об

обманах, которые творит второй властитель Вселенной, потешаясь над людскими слабостями.

«Демоны в состоянии переместить какое-либо тело, также они могут повлиять на мысли и расположение духа, естественные функции, то есть на то, как воспринимается окружающее нашими органами чувств и воображением».

«Молот» приписывает обману чувств все удивительные превращения: человек вдруг принимает обличье зверя, старуха превращается в девушку; также может померкнуть свет или потускнеть стекло. При таком подходе становятся досужими богословские споры о шабашах ведьм и оборотнях. Ведь то, что Сатана не может совершить, он может внушить, что это совершилось. При этом остается важным оградить себя молитвой, чтобы не быть обманутым великим искусителем. Поэтому верить в чары Сатаны и в своем воображении присутствовать на шабаше так же грешно, как и быть там на самом деле.

Человек беспрестанно сталкивается с адскими уловками, которые остаются опасными, даже будучи иллюзорными. Они терзают человеческую душу, вводят в обман разум и чувства. Лютер пишет:

«При посредничестве ведьм Сатана может нанести ущерб ребенку, повергнуть в ужас и ослепить, сокрыть, сделать так, чтобы дитя исчезло, а сам займет его место в колыбельке…

Чары – это не что другое, как дьявольский обман, касается это всего тела или какой-то его части. Так же объясняется возрастной обман. Колдовским чарам могут быть подвержены и дети. Все это в реальности не более как игра, и все то, на что Сатана навел порчу, может быть им же исправлено, для этого он должен снять свое внушение у жертвы и у окружающих.

Столь велики хитрость и сила Сатаны, которыми он действует на нас. И что в этом удивительного? Ему очень легко околдовать человека, который видит то, чего нет в самом деле, слышит несуществующие голоса, гром, флейту или трубу».

Таким образом, все, что мы видим, может быть не реальным, а дьявольскими проделками. Эти мысли высказывались еще св. Августином и св. Фомой и много раз повторялись позже.

* * *

Сатана, демоны – в демонологии нет различия для единственного и множественного числа. Дьявольская вездесущность приводит к тому, что постулируется не только всемогущество Люцифера, но и наличие послушного ему войска падших ангелов, подобно небесному воинству ангелов, исполняющих волю Господа Бога. Даже если, как полагают некоторые богословы, Сатана сам восседает в аду, то его подручные обитают в нашем мире или же, по крайней мере, находятся между адом и землей и будут там находиться до Судного дня.

В 1616 г. секретарь герцога Баварского в своем широко известном произведении «Империя Люцифера» обозначает географию этой империи. Первая категория демонов обитает в аду, вторая категория – в нижнем (нашем) небе, третья – на земле, а точнее в лесах, четвертая – в морской пучине, в реках и озерах, пятая – под землей и, наконец, шестая категория – люцифуги – живут во мраке и проявляют себя только в темноте.

Сколько же их? Альберт Великий утверждал, что это ведомо только самому Господу Богу. А в произведении неизвестного автора «Кабинет короля Франции», вышедшем в 1581 г., приводится цифра такого порядка: 7 405 920 злых духов, распределенных между 72 князьями, которые, естественно, послушны Сатане. Что касается других авторов, то в «Трактате об ангелах» Суарез10 высказывает мысль, что с момента первого движения каждый человек имеет, по-видимому, двойника – злого духа, который предназначен для его искушения в течение всей жизни.

В письменном документе середины XV в., пособии по заклинаниям «Книге заклятий», содержатся вопросы, которые следует задавать демону. Заклинатель пытается посредством

этого вопросника проникнуть в тайны потустороннего мира, познать средства и границы воздействия обитателей ада. Но это, конечно, опасное дело. Перед тем как за него приняться, заклинатель должен прочитать молитву «Скорбящее сердце» и осенить себя крестом.

«Вопросы демону:

1. Каково твое имя?

2. Чего ты желаешь и почему ты беспокоишь это место более, чем другие?

3. Почему ты принимаешь разные обличья?

4. И почему одни обличья чаще, чем другие?

5. Ты это делаешь для того, чтобы запугать местных обитателей и жителей города? Или для их погибели? Или для того, чтобы проучить их?

6. К жителям этого города ты более враждебен, чем к другим? Или менее, или так же?

7. Жителей этой местности ты подвергаешь пыткам более, чем других? В силу каких грехов?

8. Ты пытаешь больше прихожан или священников и в силу каких грехов?

9. Священники или прихожане мужского или женского пола более подвержены наваждениям твоим и твоих сообщников, чем жители других мест, и за какие грехи?

10. Какой грех самый желанный для тебя и твоих сообщников? Какое благодеяние для вас самое огорчительное?

11. Какая добродетель помогает людям легче и лучше избежать вашей тирании?

12. Когда человек агонизирует, к какому греху вы его особенно склоняете?

13. Если человек при смерти, будь то даже святой, присутствуешь ли при этом ты или другой злой дух?

14. Присутствуют ли при этом ангел-хранитель и святые, чтобы защитить благочестивого от ваших гнусных нападок?

15. Являются ли делом рук злого духа те наваждения и обманы, которые время от времени случаются через воздействие женщин, которых называют «фатальными» (ведьмами), или каким-либо другим образом злоупотребляют невежеством обывателя? Существуют ли женщины, мужчины и животные от дьявола? Или же злой дух не способен принять их обличье?

16. Можем ли мы получить благодать Господа нашего Иисуса Христа, чтобы он удалил тебя из наших мест, чтобы ты никому не чинил зла, чтобы ты бежал туда, где нет людей?

17. Что мы должны сделать, чтобы так случилось?

18. Как мы узнаем, что Господь наш убрал тебя из этих мест и других людских обиталищ?»

*** * ***

Иисус назвал Сатану «князь этого мира», он сказал: «я не этого мира… мир меня ненавидит» и предупредил о том же своих учеников: «Вы не этого мира. Мир вас ненавидит». Св. Павел пошел дальше и назвал Сатану «богом этого мира». В течение веков богословы развили эту тенденцию и расширили значение слова «мир» до границ Вселенной.

Таким образом, самосознание человека стало основано на обостренном чувстве незащищенности человеческой жизни, незащищенности от греховных искушений, незащищенности от пагубных сил. Эта двойная незащищенность чувствовалась острее, чем раньше, а волны жестокости, затопившие в крови Европу в первые века Нового времени, в полной мере соответствовали страху перед дьяволом с его подручными и их уловками.

Потусторонний мир. Дьявол. Определение, воплощение и адепты[11]

Дьявол (от *греч* . diabolos, перевод евр. термина «Сатана») – главный символ трансцендентного высшего зла. Именуется также лукавым, нечестивым и т. п., у мусульман –

шайтаном и Иблисом. Первоначально под дьяволом иудеи понимали ангелоподобное существо, в чьи обязанности входило удостовериться в верности людей Богу посредством их искушения. Затем, в период вавилонского пленения, под персидским дуалистическим влиянием дьявол из слуги трансформировался в противостоятеля Богу. Таким образом, дьявол идентифицируется с демоном.

Изначально дьявол носил личину ангела и даже являлся предводителем небесного воинства, но утратил Божественную чистоту, впав в грех гордыни. Он отказался поклониться сотворенному человеку, за что подвергся изгнанию из рая. При падении он и его сторонники обретают хвосты, когти и другие демонические черты. Его небесное имя было Люцифер, или Денница, что подразумевало светлую субстанцию. Но визуальный, аполлонический свет не есть сияние внутренней святости. После отчуждения от Творца ему было присвоено имя Сатана, т. е. враг, противостоятель.

Планетарным воплощением Люцифера считалась Венера, символизирующая плотскую любовь и красоту форм, противостоящая красоте и любви христианской духовности. Знак Люцифера – пятиконечная звезда, ибо она содержала намек на двойственную природу «падшего ангела». При правильном изображении пентаграмма есть схематическая проекция человеческого тела, обозначающая его душу: считалось, что души людей после смерти превращаются в звезды. Звезда, конусом направленная вниз, – это «морда Люцифера», в которой можно усмотреть атрибуты существа из преисподней.

Нумерологическое воплощение Сатаны – число 364 (в отличие от Антихриста, воплощенного в число 666). Во-первых, суммарное сложение цифр дьявольского числа равняется 13. Во-вторых, 364 есть календарный год без одного дня, что указывает на отсутствие гармонии в дьявольском мире. Над одним днем в году, а именно над христианской Пасхой, Сатана не властен.

В рамках проблемы теодицеи в средневековом богословии имела место дискуссия определения исторической миссии дьявола. Одни теологи считали Сатану онтологическим врагом Бога, что служило основанием для обвинения их в манихейском, т. е. дуалистическом, уклоне. Другие именовали дьявола слугой Господа, предназначенного соблазнить нестойких в вере и выступить их обвинителем в дни Страшного Суда, что вызывало упрек в интерпретации Бога как первоисточника генезиса зла. Некоторые секты, например езиды, считали дьявола более могущественным, нежели Демиурга.

На престол Люцифера был возведен архангел Михаил, бывший до того четвертым в ангельской иерархии и первым из ангелов выступивший против Сатаны. Во время пришествия Христа Михаил победил дьявола, заковав его в оковы на тысячу лет. В апокрифических сочинениях, сообщавших о сошествии Христа в ад, дьявол изображался закованным в оковы и распоряжавшимся всем происходящим вокруг.

Внешний облик дьявола, вобравший в себя черты парнокопытного Пана, был нормативно установлен Толедским собором 447 года. Но дьявол обладал силой менять обличья. В Малороссии XVIII в. его изображали в немецком фраке. Наиболее опасной формой проявления была внешность дьявола в качестве ангела, наводящего ужас, – «полуденный дьявол». Именно его испугалась Дева Мария во время Благовещения. В композиции с дьяволом не могли быть помещены священные христианские символы голубя и ягненка. Его появление сопровождали шум бранящейся толпы, голоса плачущих младенцев, рев быков, львиное рычание, звуки движущейся армии. Дьявол являлся людям не обычным способом, не отпирая закрытых дверей и окон – он распространял зловония, причиняющие обычному человеку страдания, среди них различался запах серы.

Обычно под дьяволом понимался верховный предводитель сил зла, тогда как демонами считались падшие ангелы более низшего порядка. Ряд легенд приписывает дьяволу плотскую связь с Евой и зачатие от нее Каина. Все зло, творящееся в мире, происходит при прямом или косвенном содействии дьявола…

Те, кто поклонялся дьяволу, считали, что он заступает место бога и является истинным спасителем рода человеческого от несправедливостей Господа (изгнание первых людей из

рая, мученичество и проч.)

Для поклонения Люциферу существовали церемонии шабаша и Черной Мессы.

Шабаш (от еврейск. – суббота) – это сбор ведьм, колдунов и прочей нечистой силы для встречи с дьяволом. Устраивался обычно по субботам (реже по средам и пятницам) в уединенных и диких местах. Также независимо от дня недели главными ночами шабаша являются Вальпургиева ночь (на 1 мая) и Хеллоуин (на 1 ноября). Считалось, что ведьмы и колдуны переносились туда с помощью дьявола в мгновенье ока, иногда усаживаясь для этого на кочергу, метлу, козла. Для присутствия на шабаше необходимо было натереть определенные части тела особой мазью из человеческого жира.

Представление о действии самого шабаша следующее. На шабаше председательствует Сатана в виде козла. Его зовут «мессир Леонард» (реже Уриан). Он раздает пришедшим порошки и жидкости для приготовления ядов и всевозможных напитков. Надрезает кору деревьев (обычно дубов), извлекает оттуда вино, которым опьяняет присутствующих. Затем колдуньи приносят в жертву живых младенцев, которых варят в котлах. Убивают также жаб, лягушек, кошек и изготовляют из их костей магические предметы.

Одна из девушек – «новообращенная» – объявляется царицей шабаша. Совершенно голая она ложится на алтарь, где Леонард совершает с ней половой акт, лишая девственности, и после этого с ней могут совершить то же все желающие. Иногда как такового алтаря нет, его «роль» выполняет сама «новообращенная», предоставляя свое тело в качестве не только средства для удовлетворения плотских потребностей, но и как стол, с которого едят и пьют и для других необходимых действий. Затем начинаются танцы (с хороводом спинами друг к другу), пир и оргия, где приветствуются все виды извращений, большое внимание уделяется инцесту (половому акту между близкими родственниками), т. к. считается, что истинный колдун может родиться только от этой связи.

Однако разврат является не главным действием и целью шабаша. На шабаше дьявол наделяет колдунов и ведьм властью, распределяет местности между нечистой силой, награждает верных слуг и вся нечисть «строит планы» на причинение вреда людям.

Обязательные шабаши устраиваются в следующие ночи:

1) Поль (Фадлас) – во время Святок 20–23 декабря;

2) Кандлмас (Имболк) – 2 февраля;

3) День Дамы (Остара) – в весеннее равноденствие 20–23 марта;

4) Вальпургиева ночь (Белтан, Гетшаман, Рудмас) – ночь на 1 мая – один из двух главных шабашей;

5) Иванова ночь – летнее солнцестояние 20–23 июня;

6) Ламмас (Лугнасад) – 1 августа;

7) Миклмас, Мабон— осеннее равноденствие 20–23 сентября;

8) Хеллоуин (Самхан, Самхэйн, Хэллоуз) – ночь на 1 ноября – один из двух главных шабашей.

*** * ***

Описание шабаша дается, в частности, в книге Л. Кэбот «Сила ведьм». «Натершись мазью, приготовленной из жира новорожденных детей и различных трав, таких как: мак, паслен, подсолнечник, головолом и белена, ведьмы могут носиться по воздуху на разного вида утвари: щетках, кочергах и сенных вилах. Эти вспомогательные средства употребляются ими обыкновенно во время большого праздника, шабаша ведьм, который обыкновенно справляется на какой-нибудь высокой горе, а в некоторых странах в большом лесу, на открытом месте. Празднество происходит или в Вальпургиеву ночь на первое мая, или в ночь на Иванов день. В этих празднествах должны участвовать все ведьмы; тех, кто отсутствует без уважительных причин, черт мучает всю ночь так, что они не могут спать.

Когда настает время отъезда, ведьма натирается мазью, берет предмет, на котором хочет ехать, и тихо говорит следующие слова: «Взвейся вверх и никуда» (’Oben auss und

nirgends an'). Летает она обыкновенно через дымовую трубу. Некоторые скачут на своем черте, который стоит у дверей в виде козла. Во время путешествия ведьмы должны особенно остерегаться того, чтобы не беспокоиться и не озираться вокруг; ибо в противном случае они падают вниз и могут причинить себе большой вред, так как они часто летают очень высоко. Некоторые совершенно голые, другие – в одежде.

Когда они соберутся на место празднества, то начинают приготовления к пиршеству. Столы и скамейки придвинуты, и на стол ставятся дорогая серебряная и золотая утварь. Кушанья часто бывают превосходны, но иногда черт любит пошутить над своими гостями и угощает их падалью, другими нечистыми яствами; в кушаньях, однако, нет соли, так бывает всегда. После еды ведьмы обмениваются новостями: каждая сообщает, что происходило в ее стране; ибо они обращают внимание на все, что делается у людей. «Для начальников ведьм и колдунов это служит таким средством, что они становятся своего рода новыми газетами».

Затем дьявол дает своим слугам новый яд, чтобы творить новые несчастья. Этот яд, как повествуют многие авторы, добывается таким образом: дьявол в образе козла приказывает сжечь себя, после чего ведьмы старательно собирают золу, которая чрезвычайно опасна для людей и скота. Вскоре после этого козел, однако, вновь появляется среди них и взывает страшным голосом: «Отомстите им или вы умрете».

Затем все выражают дьяволу свою глубокую преданность и почтение. Это делается в такой форме: козел обращает ко всему собранию заднюю часть тела и всякий член собрания целует его в это место. Но в этом виде он показывается не всем; новообращенные, на которых еще нельзя вполне положиться, отводят глаза, и они воображают тогда, что видят великого принца, которому они целуют руки; но это одно только воображение. Затем начинается настоящее веселье, ведьмы становятся в круг, спинами внутрь круга, чтобы не видеть друг друга, и под свист начинают свой хоровод. Во время танца ведьмы и черти поют хором: «Господин, господин, черт, черт, прыгни здесь, прыгни там, скакни здесь, скакни там, играй здесь, играй там». В заключение каждый черт хватает свою ведьму, удовлетворяет с ней свою похоть, после чего наступает время, когда каждая ведьма должна рассказать, какое несчастье сотворила она со времени последнего общего собрания. Тех, кто не может рассказать о какой-нибудь достаточно злой проделке, старшие дьяволы бьют плеткой.

Когда новые сочлены увидят, таким образом, все, чего они могут ожидать худого и хорошего, их торжественно принимают в союз, причем они вписывают свое имя собственной кровью в большую книгу. Иногда заключается формальный контракт между дьяволом и лицом, вступающим в сделку; это лицо оговаривает в нем себе земные блага, за что по истечении определенного времени переходит во власть дьявола. Такой контракт может быть заключен не только во время праздника, но, вероятно, и во всякое время. Это видно из следующего отрывка старинного акта: «Я, нижеподписавшаяся, Магдалина де-ля-Палюд и т. д., сим заявляю и удостоверяю, что в присутствии господина Луи Готфрида и дьявола Вельзевула я отрекаюсь от моей части у Бога и у небесных сил. Я отрекаюсь вполне, всем сердцем, силой и волей от Бога Отца, Сына и Святого Духа, от Пресвятой Богородицы, от всех святых и ангелов, а в особенности от моего ангела-хранителя» и т. д.

После того как имя занесено в книгу и контракт заключен, совершается крещение нового члена. Это и есть причина, почему ведуны и волшебники обыкновенно имеют по два имени. Наконец, дьявол помечает вновь посвященного своим знаком, чтобы впоследствии узнать его; знак этот всего чаще делается на скрытом месте тела, где он не может быть замечен другими. Где дьявол касался своими пальцами, там не чувствуется никакой боли; по таким нечувствительным местам на теле можно узнавать колдунов и ведьм.

*** * ***

Черная Месса представляет собой в общих чертах извращение католической мессы. Общий принцип Черной Мессы – тот, что в ней все совершалось обратно обыкновенной мессе. Различают несколько разновидностей этой церемонии. В одной из них, например,

читали наоборот Евангелие. При этой церемонии употреблялись черепа, человеческие кости. В жертвенную чашу клался прах, который благословляли, как хлеб жизни.

Такова была, в кратких чертах, «тщетная» месса гностиков и альбигойцев. В ней Сатана заменялся тремя волхвами – Гаспаром, Мельхиором и Валтасаром, теми самыми, которые пришли поклониться новорожденному Спасителю в Вифлееме, увидев на небе его звезду. Служились мессы для различных целей: для причинения смерти врагам, для поимки вора. В новейших Черных Мессах для этого употребляют пуповину новорожденного младенца. Употребляют также всевозможные нечистоты. При церемонии часто совершаются всевозможные эротические и развратные действия.

Черная Месса раньше совершалась и независимо от шабаша. К ней прибегали, дабы получить помощь дьявола и заслужить его расположение. Для этого надо было богохульствовать и оскорблять Бога. Служил Черную Мессу всегда какой-нибудь священник-ренегат, и для нее необходимо было достать уже освященное причастие, дабы издеваться над ним. Алтарем служил живот голой женщины. Чаша ставилась ей между грудей или между ног. Для большего успеха Черной Мессы рекомендовалось принести в жертву новорожденного младенца, причем кровь его сливалась в чашу, и от нее пили и священник-ренегат, и женщина-алтарь, после чего следовало их совокупление.

В XV веке Gilles de Lanal seigneur de Rete, которого народное предание изобразило в виде Синей Бороды, в погоне за секретом производства золота, принес в жертву дьяволу до 200 мальчиков, и после его ареста в подземельях его замков в Chamtoce, Machicoul и Tiffauges была найдена масса детских черепов и костей.

Во время Людовика XVI во Франции лишенный сана священник Гибург особенно часто приглашался для совершения Черных Месс. С этой целью к нему обращалась и фаворитка короля, мадам де Монтеснан. Редкая гравюра того времени изображает ее лежащей на столе, перед ней стоит Гибург и, держа в руках младенца, вонзает в него нож, причем кровь стекает на тело Монтеснан.

Перенесение сил зла
Из книги Д. Фрезера «Золотая ветвь»12

Прежде всего следует заметить, что дурное, нежелательное влияние не обязательно переносится на человека, с равным успехом его можно перенести на животное или на неодушевленный предмет (впрочем, в последнем случае этот предмет зачастую является не более как проводником, через который дурное влияние передается первому прикоснувшемуся к нему человеку). Жители некоторых островов Ост-Индии полагают, что больного эпилепсией можно вылечить, отхлестав его по лицу листьями определенных видов деревьев и выбросив эти листья. Болезнь в таком случае якобы переходит на листья и выбрасывается вместе с ними. В целях излечения от зубной боли австралийские аборигены прикладывают к щеке больного нагретую копьеметалку, после чего копьеметалку выбрасывают, и вместе с ней тело больного по кидает болезнь в образе черного камня, называемого Karriitch. Такого рода камни аборигены отыскивают на древних курганах и на песчаных дюнах. Их тщательно собирают и бросают в направлении страны врагов, чтобы к ним перешла зубная боль. Многие багирми, люди пастушеского племени из Уганды, страдают от глубоких гнойников. «Способ излечения их заключается в передаче болезни другому. Для этого берут у знахаря лечебные травы, натирают ими распухшее место и зарывают их на дороге, по которой непрерывно ходят люди. Болезнь переходит на того, кто первым наступит на зарытые травы, после чего прежний больной якобы выздоравливает».

В некоторых случаях, прежде чем перенести болезнь на человека, ее передают какому-нибудь изображению. Так, у баганда знахарь нередко начинает с того, что лепит из глины статуэтку своего пациента, после чего какой-нибудь родственник прикасается ею к телу больного и зарывает ее на дороге или прячет в траве у обочины. Болезнью заразится тот, кто первым наступит на статуэтку или пройдет мимо нее. Иногда изображение изготовляли из

цветка бананового дерева, которому придавали черты сходства с человеком. Поступали с ним так же, как с глиняной фигуркой. Поступки такого рода считались преступлениями, караемыми смертной казнью. Человека, которого застали за закапыванием фигурки на проезжей дороге, ждала верная смерть.

Часто в роли агентов передачи или устранения дурного влияния выступают животные. Если марокканцу случается страдать от головной боли, он дубасит ягненка или козла до тех пор, пока тот не упадет, в надежде, что тем самым передаст головную боль животному. Чтобы отвадить джиннов, или злых духов, от лошадей, богатые марокканцы держат в своих конюшнях кабанов. Южноафриканские кафры, безрезультатно использовав все средства помощи больному, «подводят к больному козла и исповедуются перед животными в грехах крааля. Иногда на голову козла роняют несколько капель крови больного, после чего животное выгоняют на пустынное пастбище. Считается, что болезнь перешла на козла и затерялась в пустыне». Жители Аравийского полуострова во время эпидемии чумы иногда проводят по всем кварталам города верблюда, чтобы это животное приняло болезнь на себя. После этого верблюда душат на священном месте, воображая, что таким образом они отделались от чумы. Во время эпидемии оспы туземцы острова Формоза вгоняют демона болезни в свинью, а затем отрезают и сжигают уши этого животного, полагая, что освобождаются таким путем от самой болезни.

У батаков с острова Суматра имеется обряд под названием «изгнание проклятия». Если женщина бесплодна, в жертву богам батаки приносят трех кузнечиков, символизирующих корову, буйвола и лошадь. Затем они выпускают на свободу ласточку, молясь о том, чтобы проклятье пало на голову птицы и улетело вместе с ней. «Малайцы считают дурным предзнаменованием, если в дом войдет животное, которое обычно избегает человеческого жилища. Так, если в дом залетает дикая птица, ее нужно поймать, вымазать маслом и отпустить на волю, повторяя при этом приказ птице забрать с собой, улетая, все неудачи и напасти домовладельца». В древности, судя по всему, так же поступали гречанки с ласточками, пойманными в доме. Они поливали их маслом и отпускали на волю с целью отвести несчастье от дома. Живущие в Карпатах гуцулы воображают, что, вымыв лицо в проточной воде и повторив: «О ласточка, ласточка, забери с собой мои веснушки, а мне дай румяные щеки», они могут передать веснушки первой ласточке, прилетевшей по весне.

* * *

В других случаях в роли козлов отпущения выступают люди, которые принимают на себя напасти, угрожающие другим людям. В 1590 году шотландская колдунья по имени Агнесса Сэмпсон была признана виновной в том, что излечила некоего Роберта Кэрса от болезни, «которую колдун наслал на него, когда он был на западе в Дампфрисе. Болезнь эту она приняла на себя и с великими стонами и мучениями продержала до утра, в каковое время из дома доносился сильный шум». Шум этот ведьма производила, предпринимая попытки через одежду передать свою болезнь кошке или собаке. К великому сожалению, это удалось ей лишь отчасти – она промахнулась и поразила болезнью некоего Александра Дугласа из Далкейта, в результате последний зачах, а Роберт Кэрс, напротив, выздоровел.

Римляне полагали, что для того, чтобы вылечить больного лихорадкой, нужно подстричь ему ногти и перед восходом солнца воском прилепить обрезки к двери соседа; в таком случае лихорадка с больного перейдет на соседа. К сходным уловкам прибегали и древние греки. Так, вырабатывая законы для своего идеального государства, Платон не смел надеяться, что его граждане не будут приходить в панику при виде восковых фигурок, лежащих на перекрестках дорог, прилепленных к дверям их домов или к надгробным камням на могилах их родителей. В IV веке нашей эры Марцелл из Бордо прописал средство против бородавок, которое продолжает пользоваться огромной популярностью у многих суеверных европейцев. Притроньтесь к бородавкам таким числом камешков, каково у вас количество бородавок, потом заверните камешки в лист плюща и подбросьте сверток на оживленную

улицу. Не сомневайтесь, что ваши бородавки перейдут тому, кто поднимет сверток.

Иногда жители Оркнейских островов моют больного, а воду выплескивают на ворота в уверенности, что болезнь оставит больного и перейдет к первому человеку, который пройдет через ворота. А вот баварское средство против лихорадки. Напишите на листке бумаги: «Лихорадка, убирайся восвояси, меня нет дома» – и засуньте листок в чей-нибудь карман. В результате больной выздоровеет, а лихорадка перейдет к владельцу кармана. Вот какое лекарство прописывают от той же болезни жители Богемии: возьмите пустой горшок, выйдите с ним на перекресток, бросьте его на землю и бегите прочь. Вашу лихорадку схватит тот, кто первым наступит на горшок.

Солидные древние авторы рекомендовали человеку, которого ужалил скорпион, сесть верхом на осла, повернувшись лицом к хвосту, или прошептать ему на ухо: «Меня укусил скорпион». В любом случае боль от укуса, по их мнению, перейдет от человека к ослу. Несколько средств такого рода описывает и Марцелл из Бордо. Вот, к примеру, средство от зубной боли. Обувшись, встаньте на землю под открытым небом, схватите за голову лягушку, плюньте ей в рот, попросите унести с собой зубную боль и выпустите на волю. Для совершения этой церемонии следует выбрать благоприятный день и час. К весьма сходному методу лечения прибегают жители графства Чешир, когда кто-нибудь из новорожденных заболевает афтозным стоматитом, или молочницей (болезнь ротовой полости или горла). В рот больного они на несколько секунд засовывают голову лягушонка, который якобы принимает болезнь на себя, после чего больной чувствует облегчение. «Уверяю вас, – рассказывала пожилая женщина, которая многократно руководила этим лечебным процессом, – мы своими ушами слышали, как после этого несчастный лягушонок, заболев смертельной болезнью, целыми днями судорожно кашлял. У вас бы сердце кровью облилось, если бы вы услышали, как заходилось кашлем в саду это несчастное создание». Жители Нортгемптоншира, Девоншира и Уэльса лечат кашель тем, что кладут между двумя ломтиками намазанного маслом хлеба волосы больного и дают этот бутерброд собаке. Съев его, животное заболевает простудой, а больной излечивается. В других случаях для того, чтобы перенести болезнь на животное, люди едят с ним из одной посуды. Так, если бы вы заболели лихорадкой в Ольденбурге, вам следовало бы поставить перед собакой миску со сладким молоком и сказать: «Удачи тебе, псина, бери болезнь, а я здоровье выну». После того как собака вылакала часть молока, наступает ваша очередь отхлебнуть глоток из миски. Потом собака снова принимается лакать, а вы отхлебываете из миски еще глоток молока. На третий раз лихорадка покидает вас и переходит к собаке.

Жители Богемии считают, что, если вы хотите излечиться от лихорадки, вам нужно отправиться в лес до восхода солнца и поискать гнездо бекаса. Найдя гнездо, выньте из него одного из птенцов и держите его рядом с собой в течение трех дней. После этого возвратитесь в лес и выпустите птенца на волю. Лихорадка тотчас же выйдет из вас и перейдет к бекасу. Точно так же древние индусы в ведические времена отгоняли от себя чахотку с помощью голубой сойки. «О чахотка, – говорили они, – лети домой, лети вместе с сойкой голубой. О, исчезни под ярость вихря и бури вой!» В селении Ландегла в Уэльсе есть церковь, посвященная святой деве великомученице Фекле (St. Tekla). В ней лечат – или лечили – падучую тем, что переносили ее на домашнюю птицу. Сначала больной омывал свои члены в близлежащем священном колодце, трижды повторив при этом «Отче наш». Затем в корзине приносили домашнюю птицу – петуха или курицу в зависимости от пола больного. Ее обносили сначала вокруг колодца, потом вокруг церкви. Больной входил в церковь и до рассвета лежал под престолом Господним, после чего подавал шесть пенсов и уходил, оставляя птицу в церкви. Если птица умирала, считалось, что она приняла болезнь на себя и что больной выздоровел. Еще в 1855 году старый деревенский причетник уверял, что припоминает птиц, которые содрогались от эпилептических припадков, перешедших к ним от людей.

Больной нередко старается перенести бремя болезни или другого несчастья на какой-нибудь неодушевленный предмет. В Афинах имеется небольшая часовня святого Иоанна

Крестителя, построенная как раз напротив античной колонны. К ней стекаются больные лихорадкой. Прикрепив к колонне навощенную нить, они уверяют себя, что перенесли на нее свою болезнь. Чаще всего, однако, болезни и другие напасти переносятся в Европе на деревья и кустарники. По мнению болгар, чтобы вылечить лихорадку, нужно на восходе солнца трижды обежать вокруг ивы, приговаривая: «Тебя будет трясти озноб, а меня будет греть солнце». На греческом острове Карпатос жрец обвязывает вокруг шеи больного красную нить. На следующее утро друзья снимают нить с его шеи, отправляются на склон горы и там привязывают нить к дереву, веря, что переносят болезнь на дерево. Итальянцы также избавляются от лихорадки, «привязывая» ее к дереву. Ночью больной обвязывает нить вокруг своего левого запястья, а на следующее утро подвешивает нить на дерево. Считается, что вместе с нитью к дереву привязывается и лихорадка. С этих пор больному запрещается проходить мимо этого дереза, а не то лихорадка разорвет свои оковы и вновь нападет на него. Фламандцы лечат малярию тем, что рано утром направляются к старой иве и завязывают на одной из ее ветвей три узла со словами: «Здорово, старуха, я отдаю тебе свой озноб, здорово, старуха» – после чего поворачиваются и, не оглядываясь, пускаются наутек. Если, будучи жителем Зоннеберга, вы хотите избавиться от подагры, вам следует подойти к молодой елке и завязать на одной из ее ветвей узел, приговаривая: «Благослови тебя бог, благодарная ель. Я приношу тебе свою подагру, Здесь вот завяжу я узел и затяну в него подагру».

И вот еще один способ перенести подагру с человека на дерево. Подстригите ногти больного и состригите с его ног немного волос. Просверлите в дубе дырку, набейте ее волосами и обрезками ногтей, заделайте ее и обмажьте коровьим пометом. Будьте уверены, что в течение трех месяцев с этого момента больной подагрой вылечится, а дуб заболеет. Если чеширец хочет избавиться от бородавок, ему достаточно потереть себя куском копченой свиной грудинки, прорезать щель в коре ясеня и засунуть в нее грудинку. В скором времени бородавки на его руке исчезнут, превратившись в грубые наросты и шишки на коре дерева. В Беркгемпстеде в графстве Хартфортшир когда-то были дубы, за которыми издавна шла слава исцелителей от малярии. Процедура передачи болезни дереву была простой, но болезненной. Прядь волос человека, больного малярией, защемляли в стволе дуба. Он делал резкое движение и вместе с прядью оставлял в дубе свою болезнь.

* * *

Но самым страшным, конечно, было перенесение зла на другого человека, причинение вреда его душе. Индейцы-гуроны считают, что у души есть голова, тело, руки и ноги, короче, что она является уменьшенным подобием самого человека. У эскимосов бытует верование, согласно которому «душа обладает такой же формой, как и тело, частью которого она является, только более тонкой воздушной природы». Племена индейцев, живущие в нижнем течении реки Фрейзер, считают, что у человека есть четыре души; главная из них имеет форму человечка, а три другие являются ее тенями. На островах Фиджи представление о душе как о крошечном человечке находит выражение в обычаях, соблюдаемых на похоронах вождя племени накело. Когда вождь умирает, наследственные плакальщики-мужчины обращаются к смазанному маслом и покрытому татуировкой телу со словами: «Поднимись, вождь, и пойдем. Над страной уже взошел день». Потом они несут тело к реке, откуда дух-паромщик переправляет через поток души накело. Провожая вождя в последний путь, они прикрывают его тело огромными веерами, объясняя это тем, что «душа его пока еще только младенец».

Как правило, считается, что душа покидает тело через отверстия, чаще всего через рот или через ноздри. Когда в присутствии индуса кто-нибудь зевает, тот щелкает пальцами, чтобы помешать душе выйти через открытый рот. Жители Маркизских островов зажимают рот и нос умирающего, чтобы сохранить его в живых и не дать ускользнуть его душе; сообщают, что так же поступают жители Новой Каледонии. Индейцы-итонама из Южной

Америки запечатывают глаза, рот и нос умирающего, чтобы его душа не вышла наружу и не увлекла за собой другие души. По той же причине островитяне Ниаса, которым внушают страх души недавно умерших людей – они отождествляют душу с дыханием, стремятся заточить дух в его земной оболочке; для этого они, например, затыкают нос и связывают челюсти трупа. Прежде чем оставить труп, австралийские аборигены племени вакельбура закладывали ему в уши горячие уголья, чтобы удержать дух в теле до тех пор, пока живые не удалятся на достаточное расстояние и их нельзя будет настичь…

Считается, что душа погруженного в сон человека на самом деле вылетает из тела и посещает те места, видит тех людей и совершает те действия, которые видит спящий. Например, когда бразильский или гвианский индеец пробуждается от глубокого сна, он твердо убежден, что душа его взаправду охотилась, ловила рыбу, рубила деревья или делала еще что-то привидевшееся ему, в то время как тело в неподвижности лежало в гамаке. Целое селение индейцев-бороро пришло в панику и чуть не покинуло место своего обитания из-за того, что кому-то приснилось, будто к ним украдкой приближаются враги.

Отсутствие души во время сна чревато опасностями, поэтому если по какой-либо причине душа надолго оторвется от тела, человек, лишившись своего жизненного начала, умрет. У румын бытует верование, согласно которому душа выскальзывает изо рта спящего в виде белой мыши или птички; преградить птице или животному путь к возвращению – значит вызвать смерть спящего. Поэтому жители Трансильвании утверждают, что не следует позволять ребенку спать с открытым ртом; в противном случае душа его выскользнет в виде мыши и ребенок никогда не проснется. Кроме того, душа может встретить душу недавно умершего человека, и та увлечет ее за собой. Поэтому туземцы на островах Ару не останутся в доме на ночь после того, как кому-то случится в нем умереть, так как считается, что душа умершего еще пребывает в доме, и они опасаются повстречаться с ней во сне.

Но душа покидает тело не только во сне. Она может покинуть его и во время бодрствования, и тогда последует болезнь, безумие или смерть. Один австралийский абориген племени вурунджерри лежал при последнем издыхании из-за того, что его дух отделился от него. Знахарь пустился на поиски и поймал душу как раз в тот момент, когда она готовилась погрузиться в пурпур заката, место, где души входят в подземное царство и выходят из него. Знахарь возвратил пойманную душу, прикрыв ее полостью из меха опоссума, лег на умирающего и вложил в него душу; по прошествии некоторого времени тот ожил. Лоло13 в юго-западной части Китая также верят, что душа при хронической болезни покидает тело. В этом случае они устраивают нечто вроде сложного молебствия, при этом душу называют по имени и заклинают вернуться с холмов, долин, рек, лесов, полей и вообще отовсюду, где она может скитаться. Для того чтобы освежить уставшую от странствий душу, у двери выставляют чаши с водой, вином и рисом. По окончании обряда лоло обвязывают вокруг груди больного красную бечевку, чтобы привязать душу, и носят ее до тех пор, пока она не сгниет и не отпадет.

У некоторых конголезских племен бытует поверье, что, когда человек заболевает, его душа покидает тело и блуждает на просторе. Для поимки бродячего духа и его возвращения больному прибегают к услугам знахаря. Обычно знахарь объявляет, что успешно загнал душу на ветку дерева. После этого все жители собираются и в сопровождении знахаря отправляются к дереву, где сильнейшим мужчинам поручают сломать ветку, на которой, как предполагается, поселился дух больного. Они вносят ветку обратно в селение, показывая жестами, что ноша очень тяжела. Когда ветку приносят в хижину больного, он встает с ней рядом и знахарь произносит заклинания, с помощью которых душа возвращается ее владельцу.

***

Душа не всегда отлетает добровольно. С помощью привидений, демонов или колдунов душу можно извлечь из тела и против ее воли. Поэтому, когда похоронная процессия

проходит мимо дома, карены привязывают детей к определенной части дома специальной веревкой, иначе души детей выйдут из своих тел и войдут в труп. Детей держат на привязи до тех пор, пока процессия не исчезнет из виду. Когда тело опущено в могилу, но-еще не засыпано землей, каждый из стоящих рядом с могилой плакальщиков и друзей держит в одной руке расщепленный во всю длину ствол бамбука, а в другой – небольшую палку. Бамбуковые стволы опускают в могилу и, проводя палкой по желобам, указывают душе путь, которым та легко может выбраться. После того как могилу засыпают, бамбуковые трости вытаскивают, чтобы оказавшиеся в них души не были по оплошности засыпаны землей; уходя, люди уносят с собой бамбуковые трости, умоляя души последовать за ними. При возвращении с погребения каждый карен запасается тремя маленькими деревянными крючками и, приглашая душу последовать за ним, с небольшими перерывами совершает зацепляющее движение, а затем втыкает крючок в землю. Делается это с целью помешать душе живого остаться с душой мертвеца. У каро-батаков во время погребения колдунья размахивает палкой, чтобы отгонять души живых, потому что, если одной из них случится проскользнуть в могилу и быть погребенной, умрет и ее владелец.

Похищение души часто считается делом рук демонов. Китайцы, например, обыкновенно приписывают припадки и судороги действию неких злобных духов, которым доставляет удовольствие извлекать душу из человеческого тела. Духи, таким образом обходящиеся с детьми и младенцами, носят в Амое титулы «воинства небесного, галопом несущегося на конях» и «ученых, обитающих на полпути к небу». Когда ребенок корчится в судорогах, испуганная мать спешит взобраться на крышу дома и, размахивая бамбуковым шестом, к которому прикреплена одежда ребенка, выкрикивает несколько раз: «Ребенок мой по имени такой-то, вернись, возвратись домой!» В то же время другой обитатель дома колотит в гонг в надежде привлечь внимание заблудшего духа, который якобы узнает свою одежду и войдет в нее. Содержащую душу одежду надевают на ребенка (или кладут рядом с ним); если душу удалось заманить, ребенок непременно выздоровеет.

Особенно опасаются демонов те, кто только что переселился в новое жилище. Поэтому на праздновании новоселья у альфуров из Минагасы на острове Целебес жрец, чтобы обезопасить души новоселов, совершает особый обряд: он вывешивает мешок на месте. жертвоприношений, а затем зачитывает весь список богов. Список этот так велик, что его непрерывное чтение занимает всю ночь. Наутро он приносит в жертву богам яйцо и немного риса. Считается, что к этому времени все души собрались в мешок. Жрец берет мешок и, держа его над головой хозяина дома, говорит: «Вот здесь твоя душа. Завтра, душа, выходи вновь». То же самое проделывается с женой и другими домочадцами. У тех же альфуров есть такой способ возвращения души больного: они на ремне спускают чашу из окна и, как на удочку, ловят душу до тех пор, пока она не попадется в чашу и не будет поднята наверх. Когда жрец того же племени возвращает завернутую в кусок материи душу больному, впереди него идет девушка, держа в руках широкий лист определенной пальмы, и, как зонтиком, прикрывает им жреца и душу, чтобы в случае дождя они не намокли; за жрецом следует мужчина, размахивающий мечом, для того чтобы удержать другие души от попыток спасти плененный дух…

Извлекать души из тел или препятствовать их возвращению могут не только привидения и демоны, но и люди, в особенности колдуны. В некоторых частях Западной Африки колдуны ставят западни на души, которые покидают тело во время сна. Если удается поймать душу, они привязывают ее над огнем: по мере того как она сморщивается под действием огня, ее владелец чахнет. На Гавайских островах были колдуны, которые ловили души живых людей, запирали их в тыквенные бутылки и отдавали людям на съедение. Сжимая плененные души в руках, они узнавали места, в которых тайком были похоронены люди.

* * *

Не меньшую опасность представляет тень человека. Некоторые камни на Банксовых островах имеют поразительную форму; они известны под названием пожирающих привидений, потому что в них якобы обитают могущественные и опасные привидения. Если на один из этих камней упадет человеческая тень, привидение вытянет из него душу, и человек умрет. Когда на похоронах в Китае наступает время закрывать крышку гроба, большинство присутствующих, за исключением ближайших родственников, отступают на несколько шагов или даже выходят в другую комнату, так как бытует поверье, согласно которому человек, если его тень забили в гроб, подвергает опасности свое здоровье. А когда приходит срок опускать гроб в могилу, большая часть присутствующих удаляется на некоторое расстояние, чтобы тени не попали в могилу и это не нанесло их владельцам вред. Гадатель-геомант со своими помощниками стоит на той стороне могилы, которая защищена от солнца, а могильщики и носильщики гроба крепко держат свои тени, обвязываясь вокруг талии матерчатой лептой.

Эквивалентность тени жизни души нигде, вероятно, не находит более явного проявления, нежели в обычаях, которые соблюдаются в Юго-Восточной Европе. Когда в Греции закладывается фундамент нового здания, обычай предписывает зарезать петуха, барана или ягненка и окропить их кровью краеугольный камень, под которым затем и хоронят животное. Цель этого жертвоприношения – придать зданию крепость и устойчивость. Иногда вместо того, чтобы убить животное, строитель подманивает к краеугольному камню человека, тайком снимает мерку с его тела, какой-нибудь части тела или с его тени и зарывает ее под камнем; или он кладет краеугольный камень на тень человека. Считается, что такой человек на протяжении года умрет.

Румыны, жители Трансильвании, полагают, что тот, чью тень замуровали подобным образом, умрет в течение сорока дней. Так что люди, проходящие мимо строящегося здания, могут услышать предостерегающий окрик: «Берегись, чтобы они не взяли твоей тени!» Существовали даже торговцы тенями, чье ремесло заключалось в поставке архитекторам теней, необходимых для придания прочности стенам. В таких случаях снятая с тени мерка рассматривалась как эквивалент самой тени, и зарыть ее значило зарыть жизнь или душу человека, который, лишившись ее, должен умереть. Этот обычай пришел, таким образом, на смену древней практике замуровывания живого человека в стену или под краеугольным камнем нового строения с целью придать ему прочность и долговечность, точнее, для того, чтобы разгневанный дух посещал это место и охранял его от вторжения врагов.

Одни народы верят, что душа человека пребывает в его тени, другие считают, что она пребывает в его отражении о воде или в зеркале. В Древней Индии и в Древней Греции существовало правило не смотреть на свое отражение в воде и почему, если человек увидел во сне свое отражение, греки считали это предзнаменованием смерти. Они боялись, что водные духи утащат отражение или душу под воду, оставив человека погибать. Таково же, возможно, было происхождение классического мифа о прекрасном Нарциссе, который зачах и умер из-за того, что увидел в воде свое отражение.

Теперь мы, кроме того, можем объяснить широко распространенный обычай закрывать зеркала и поворачивать их к стене после того, как в доме кто-то умер. Опасаются, что душа человека в виде отражения в зеркале может быть унесена духом покойного, который, как обычно верят, остается в доме вплоть до захоронения. Столь же ясна причина, по которой больные не должны смотреть в зеркало; во время болезни, когда душа может легко улететь, ее особенно опасно выпускать из тела через отражение в зеркале. Точно так же поступают те народы, которые не позволяют больным спать: ведь душа во сне уносится из тела, и всегда есть риск, что она не вернется.

С портретами дело обстоит так же, как с тенями и отражениями. Часто считают, что они содержат в себе душу изображенного лица. Верящие в это люди, естественно, неохотно позволяют снимать с себя изображение. Ведь если портрет является душой или, по крайней мере, жизненно важной частью изображенного, владелец портрета сможет оказать на оригинал роковое воздействие.

Вплоть до времени правления последнего владыки Сиама14 ни на одной монете не чеканилось его изображение, «потому что в то время существовало сильное предубеждение против изготовления любых изображений. Даже в настоящее время достаточно путешествующим в джунглях европейцам направить на толпу фотоаппарат, чтобы она вмиг рассеялась. Когда с лица снимается копия и уносится от владельца, вместе со снимком от него уходит часть жизни. Поэтому суверен – если он не был наделен долголетием Мафусаила – едва ли мог допустить, чтобы его жизнь вместе с монетами мелкими кусочками распылялась по его владениям».

Такие верования сохраняются и в разных частях Европы – старухи с греческого острова Карцатос очень сердились, когда их рисовали, полагая, что вследствие этого они зачахнут и умрут. На западе Шотландии живут люди, которые, «чтобы не навлечь на себя несчастья, отказываются отдавать свои изображения и приводят в пример своих друзей, которые не знали ни одного светлого дня после того, как их сфотографировали».

Свидетельство магистра магии
Из книги Э. Леви «Учение и ритуал высшей магии»15

Я смело утверждаю, что колдовство возможно. Более того, я утверждаю, что оно не только возможно, но, до некоторой степени, необходимо и фатально. Оно беспрестанно совершается без ведома лиц, производящих его и подвергающихся ему. Невольное колдовство – одна из ужаснейших опасностей человеческой жизни.

Существует два рода колдовства: колдовство невольное и колдовство произвольное. Можно также различать колдовство физическое от колдовства морального.

Сила притягивает силу, жизнь привлекает жизнь, здоровье притягивает здоровье; таков закон природы. Если два ребенка живут вместе, а в особенности спят в одной комнате, и один из них слаб, а другой силен, сильный поглощает слабого, и тот погибнет. Поэтому-то необходимо, чтобы дети всегда спали одни.

В пансионах некоторые ученики поглощают ум других, и в каждом собрании скоро находится индивидуум, завладевающий волей других.

Ненависть, откровенная, абсолютная и без всякой примеси отвергнутой страсти или личной жадности, – в известных обстоятельствах, есть смертный приговор для предмета этой ненависти. Я говорю «без примеси любовной страсти или жадности», потому что всякое желание, будучи в то же время притяжением, усовершенствует и уничтожает силу выбрасывания. Так, например, ревнивец никогда действительно не околдует своего соперника, и жадный наследник силой своей воли не сократит жизни скупого родственника.

Колдовство, производимое в подобных условиях, падает на того, кто его производит, и скорее полезно, чем вредно для лица, против которого оно направлено, так как освобождает его от злобы, которая, чрезмерно возбуждаясь, сама себя уничтожает.

Слово «колдовство» (envoutement) очень энергичное в своей галльской простоте, удивительно точно выражает обозначаемое им понятие: «околдовать» (envoulter) – значит взять и окутать кого-нибудь желанием, твердо выраженной волей.

Орудие колдовства – сам великий магический агент, который, повинуясь злой воле, становится тогда действительно и положительно демоном.

Так называемое колдовство, т. е. совершаемая с обрядами операция с целью повредить кому-нибудь, действует только на самого оператора, и цель его колдовства – укрепить и подтвердить волю оператора, настойчиво и с силой ее формируя; эти два условия делают волю действительной.

Чем трудней и ужасней операция – тем она действительней, так как тем сильнее действует на воображение и подтверждает волю прямо пропорционально преодоленному ею сопротивлению.

Этим объясняются причудливость и даже жестокость черной магии в древности и в Средние века, черные мессы, причащение гадов, пролитие крови, человеческие жертвы и

другие чудовищности. Подобные действия во все времена навлекали на колдунов справедливую кару законов. В самой основе своей черная магия – сочетание святотатства и убийства с целью навсегда развратить человеческую волю и в живом человеке создать омерзительный призрак дьявола. Следовательно, это, собственно говоря, – религия дьявола, культ мрака, ненависть к добру, доведенная до высшей степени, воплощение смерти и создание ада…

Антипатия – предчувствие возможного колдовства – как любви, так и ненависти – ибо часто антипатия заменяется любовью. Астральный свет предупреждает нас о будущих влияниях, действуя на более или менее восприимчивую и живую нервную систему. Внезапная симпатия и любовь – вспышки астрального света, вполне точно, мотивированные, и их можно объяснить и доказать так же точно, как и разряды сильных электрических батарей. Из этого можно видеть, сколько непредвиденных опасностей угрожает профану, беспрестанно играющему с огнем на пороховых погребах, которых он не видит.

Мы насыщены астральным светом и постоянно выбрасываем его и заменяем новым. Глаза и руки – нервные аппараты, назначение которых притягивать и выбрасывать. Полярность рук сосредоточивается в большом пальце; поэтому, следуя магическому преданию, еще сохранившемуся в наших деревнях, если вы находитесь в подозрительном обществе, надо держать большой палец согнутым и спрятанным в руке и, избегая пристально смотреть на тех, кого вы имеете основание бояться, в то же время – постараться первому взглянуть на них, чтобы избежать неожиданных флюидических выбрасываний и околдованных взглядов.

Существуют также некоторые животные, обладающие свойством прерывать токи астрального света, так как они его поглощают. Все эти животные сильно нам антипатичны, и взгляд их производит очаровывающее действие – таковы жаба и ящерица. Эти животные, если их приручить и носить с собой или держать в комнатах, гарантируют от галлюцинаций и обольщений астрального опьянения; «астральное опьянение» – словосочетание, в первый раз употребляемое мной здесь и объясняющее все явления необузданных страстей, исступления ума и безумия.

Воспитывайте ящериц и жаб, носите их с собой, но только, ради Бога, не пишите, скажет мне ученик Вольтера. На это я могу ответить, что серьезно об этом подумаю, когда почувствую расположение смеяться над тем, чего я не знаю, и считать безумными людей, ни науку, ни мудрость которых не понимаю.

Парацельс, величайший из христианских магов, противопоставляет колдовству действия противоположного колдовства. Он составлял симпатические лекарства и прикладывал их не к больным органам, но к их изображению. Такое лечение сопровождалось чудесным успехом, и ни один врач никогда не достигал чудесных излечений Парацельса.

Но Парацельс открыл магнетизм задолго до Месмера и дошел до последних выводов из этого чудного открытия, или скорее посвящения в магию древних, которые гораздо лучше нас понимали природу великого магического агента и не считали астральный свет, азот, универсальную магнезию мудрецов, особенным животным флюидом, исходящим только из некоторых особенных существ.

В своей оккультной философии Парацельс восстает против церемониальной магии; конечно, он знал ее страшную силу, но, без сомнения, хотел опорочить ее деяния, чтобы дискредитировать черную магию. Он считает, что всемогущество мага заключается во внутреннем и тайном «magnes». Однако для лечения болезней он рекомендует употребление магических знаков, и в особенности талисманов.

От колдовства лечат также заменой, если она возможна, и разрывом или отвращением астрального тока. Деревенские традиции обо всем этом прямо удивительные и, конечно, существуют много веков; это – остатки учения друидов, посвященных в мистерии Египта и Индии путешествующими иерофантами. В народной магии известно, что колдовство, т. е. определенное и подтвержденное поступками желание творить зло, всегда достигает своей цели и колдун не может отказаться от своего злодеяния, не подвергая себя смертельной

опасности. Колдун, освобождающий кого-нибудь от своих чар, должен иметь какой-нибудь другой предмет для своей злобы, иначе он уверен, что сам будет поражен и погибнет жертвой своего собственного колдовства.

Демоны в женском обличье
Из книги Ж. Делюмо «Ужасы на Западе»16

Женщины всегда считались опасными подручными Сатаны. Такого мнения придерживалось духовенство и гражданское население. Отношение мужчин к представителям «второго пола» всегда было противоречивым в диапазоне от любви до ненависти, от восхищения до вражды; описание этих чувств можно найти и в Библии, и у древних греков. На протяжении веков почитание женщины сочеталось со страхом, испытываемым представителями другого пола.

Взаимная враждебность двух составляющих человечества, по-видимому, существовала всегда и характеризуется всеми чертами неосознанного и импульсивного проявления чувств. Причины страха мужчины перед женщиной более сложные и многочисленные, чем определенные Фрейдом как страх кастрации, который, в свою очередь, является следствием желания женщины обладать мужской плотью. Тем не менее Фрейд прав в том, что в женской сексуальности все непонятно и трудно поддается анализу.

Симона де Бовуар считает, что для женщины ее сексуальность остается непонятной, скрытой и мучительной, потому что она не осознает себя в ней и не признается в своем вожделении. Для мужчины роды всегда будут загадкой, и в этом смысле права Карен Хорни17, считая, что именно это определяет страх, который внушает мужчине женщина. Роды приближают женщину к природе, но также являются причиной всевозможных запретов, табу, обрядов; они превращают женщину в загадочную «дарохранительницу». Поэтому так различны и вместе с тем нераздельны судьбы двух партнеров человеческой истории: женское начало представляет природу, а мужское – историю. Поэтому матери везде и всегда одинаковы, тогда как отцы более обусловлены. Находясь ближе к природе и владея ее секретами, женщина во все времена считалась способной предсказывать будущее, лечить и вредить известными только ей способами. Мужчины, в свою очередь, чтобы остаться на высоте положения, определили себя носителями рационального в противоположность женской инстинктивности, более, чем они, подверженной мечтательности, неосознанности и непредсказуемости действий.

Учитывая весь комплекс причин, отсутствие взаимопонимания между представителями обоих полов может быть выявлено на всех уровнях. Женщина остается для мужчины вечной загадкой – он не знает, чего она хочет (именно по выражению Фрейда). Она хочет, чтобы мужчина был героем, но старается удержать его около себя и будет презирать его, если он повинуется ее желанию. Женщина вся состоит из противоречий, во всяком случае до тех пор, пока мужчина не начинает понимать, что она предмет его вожделений и стремления к стабильности. Оба условия необходимы для функции созидания, которой наделена женщина.

Загадка материнства еще более, чем женская физиология, связана с лунным календарем. Мужчину влечет к женщине, но и отталкивает от нее из-за месячных циклов, запахов, выделений, отторжения плоти при родах. Известно печальное изречение св. Августина: «В грязи и испражнениях мы рождаемся». С течением времени в разных странах зародились всевозможные запрещающие обычаи – женщина во время месячных циклов считалась нечистой и опасной, следовательно, ее нужно было удалить, чтобы она не могла навредить. Роженица также считалась нечистой, и существовал обряд очищения, для того чтобы женщина после родов вновь была принята своим обществом. Во многих цивилизациях женщина не допускалась к исполнению некоторых обрядов как существо изначально испорченное.

Отвращение к слабому полу было усилено также тем, что женщина, которая является самым близким существом для мужчины, быстро стареет и это происходит более заметно,

чем у мужчин. Эта тема уходит корнями в древнее прошлое и отражена в литературе и живописи в образе женщины со старческими спиной, грудью и животом. Облеченная моралью, эта тема вошла в христианство, но и в дохристианской культуре встречаются изображения женщины с разложившимся чревом. Не является ли это причиной того, что парфюмерный арсенал женщин в глазах мужчин всего лишь средство скрыть старение.

* * *

На протяжении многих веков отношение к женщине было двойственным – как к существу, дающему жизнь и предвещающему смерть. В частности, оно нашло отражение в культе богини-матери. Мать-земля кормилица, но ее чрево – это также последнее пристанище усопших. Она подобна критским урнам, в которых хранили воду, вино и зерно, но также прах умерших.

Симона де Бовуар в книге «Второй пол» пишет:

«Лицо мрака, оно хаос, из которого мы все вышли и в который однажды должны возвратиться… Ночь царит в тисках земли. Эта ночь – вечная угроза человеку, а обратная сторона плодородия – страх».

Не случайно во многих цивилизациях именно на женщин возлагалось исполнение похоронных обрядов. Потому что считалось, что они теснее мужчин связаны с вечным круговоротом природы – от рождения к смерти и от смерти к жизни. Они созидают, но они же и разрушают. Отсюда появились разнообразные образы богини смерти. Самым грандиозным символом женщины, созидающей и вместе с тем разрушающей, безусловно является индийская богиня Кали – мать мира. Эта прекрасная, но кровожадная богиня очень опасна, и для ее умиротворения нужна ежегодная жертва многих тысяч животных. Она воплощает принцип материнской слепоты, которым движет круговорот природы. Она производит взрыв зарождения жизни и вместе с тем слепо сеет чуму, голод, засуху, войны. В эллинской культуре образу богини Кали в какой-то степени соответствуют Амазонки, пожирающие человеческую плоть, Парки, обрывающие нить жизни, безумные, мстительные и ужасные Эринии, настолько страшные, что греки боялись произносить их имя. Тот же мужской страх перед слепым женским чувством выражен в «Безумной Марго» Брейгеля.

Кроме того, история действительно подтверждает наличие у мужчин страха кастрации. У американских индейцев существует более трехсот версий легенды о женском половом органе, ощетинившимся зубами (или змеиными жалами, согласно индусскому варианту). В «Молоте ведьм» страху лишиться полового органа посвящена целая глава (часть I гл. IX): «Действительно ли ведьмы обладают даром внушения, что мужской член исчез или отделился от тела?» На этот вопрос ответ положительный – да, поскольку демоны и вправду могут отнять у мужчины его пенис. Этот вопрос содержится в большинстве трактатов по демонологии эпохи Возрождения, тогда же верили в чудодейственную силу завязанного узелка, способного лишить жертву на время или окончательно мужской силы.

Но женщина вызывает в подсознании мужчины тревогу не только потому, что она судит о его мужском достоинстве, но еще и потому, что она в его глазах подобна священному ненасытному огню, все поглощающему и который нужно все время раздувать. Мужчина страшится сексуального каннибализма своей партнерши, видя в ней мифический образ огромной женщины-людоеда, сметающей все на своем пути. Он представляет себе Еву безбрежным океаном, в котором затерялся его хрупкий кораблик, бездной, которая может его поглотить, бездонным озером, глубоким колодцем. Женская бездонность символизирует погибель, и мужчине следует противиться страстным призывам Цирцеи и Лорелеи.

Мужчина никогда не побеждает в сексуальной дуэли. Женщина для него всегда фатальна, она мешает ему быть самим собой, реализовать духовное начало, найти путь спасения. Срамное место женщины стало символом засасывающей топи ада.

Будь то жена или возлюбленная, женщина всегда была для мужчины тюрьмой, поэтому перед длинной дорогой и большим начинанием он должен воспротивиться женскому

соблазну. Так поступали Одиссей и Кетцалькоатль. Поддаться чарам Цирцеи означает потерять самого себя. Тема мужчины, погубленного из-за женских чар, фигурирует и у американских индейцев, и в поэмах Гомера, и в суровых трактатах контрреформации. Нельзя доверять существу, наиболее опасному тогда, когда оно улыбается.

* * *

В христианской культуре, в свете ожидания Второго пришествия, которое считалось реальным и довольно скорым, существовало восхищение непорочностью и целомудрием и возложение вины за библейское грехопадение на женщину. Так, обращаясь к женщине, Тертуллиан18 говорит: «Ты должна всегда пребывать в трауре, лохмотьях и раскаянии, чтобы искупить вину свою за погибель рода человеческого… Женщина, ты врата дьявола, ты первая прикоснулась к древу Сатаны и нарушила божественный закон». А в «Моногамии» он с отвращением говорит о приступах тошноты во время беременности; о кормлении грудью и прискорбных изменениях женской фигуры после родов.

Эта тема повторена Св. Амбруазом, разоблачающим супружество. Восхищаясь непорочностью, он призывает к тому, что впоследствии и надолго стало феминизмом: лишь по крайней нужде можно выйти замуж, материнство приносит одни огорчения и неприятности, лучше отказаться от этого, найдя свой удел в целомудрии, высшем, почти божественном состоянии. Св. Иероним рассматривает супружество как греховный дар. Советуя девицам оставаться непорочными и осуждая библейскую заповедь «Плодитесь и размножайтесь», он пишет:

«Вы скажете, что я принижаю значение супружества, благословенное Богом? Я не принижаю супружество и не восхваляю непорочность. Потому что никому не дано сравнить зло с добром. Да возгордятся жены, заняв место позади девственниц! В Писании сказано: «Плодитесь и размножайтесь!» Пусть плодятся и заселяют Землю те, кто этого желает. Твоя же когорта ждет тебя на небесах. Подумать только – плодитесь и размножайтесь! Эта заповедь появилась после исчезновения рая, фигового листа и наготы, которые возвестили о безумстве брачных объятий».

В христианской культуре секс рассматривался преимущественно как грех. Супружеству, которое ведет к сладострастию, противопоставлялось божественное созерцание. Половое влечение считалось смущением души, дурным, ненасытным вожделением. Со времен апостолов Церкви была сформулирована серия отношений, которые располагались следующим образом:

девственность – божественность
брак – животность
2-й брак – разврат
вдовство – святость

Отныне в церковных кругах утверждается как очевидная истина, что «непорочность и целомудрие занимают и пополняют места в раю» (формулировка XVI в.). Восхваляя женскую непорочность, богословие в то же время продолжало подводить теоретическую базу под отвращение к женщине, которое было неосознанно унаследовано христианством от предыдущих культур. Св. Августину удается установить основное различие между мужчиной и женщиной: мужчина являет собой полное подобие Бога, а женщина подобна ему только душой, тело же ее постоянно противится разуму. Как существо низшее, женщина должна подчиниться мужчине.

Св. Фома Аквинский об этом же говорит в своих проповедях: женщина должна подчиняться мужчине, «потому что у мужчины больше ума». Аргументы религиозного характера он уравновешивает некоторыми положениями из философии Аристотеля: в процессе воспроизводства потомства активная роль принадлежит мужчине, а женщина

является лишь плодовместием. Поэтому если говорить о поле, то существует только мужской род, а женщина – это всего лишь неудавшийся мужчина.

В религиозной и юридической литературе можно без труда найти такой стереотип: слабоумный от природы человек – это женщина, поддавшаяся соблазну искусителя. Поэтому она должна быть под опекой. «Женщине нужен муж не только для того, чтобы он заронил в нее зерно жизни, но чтобы подчиняться ему, потому что мужчина преисполнен ума и добродетели».

Вместе с тем в течение всего Средневековья многие богословы (Исидор Севильский, Руфин Болонский и др.) продолжали верить в нечистоту менструальной крови, ссылаясь при этом на «Естественную историю» Плиния. Эта кровь полна злодеяний, она мешает растениям, губит их и не дает им расти, из-за нее ржавеет железо, исходят злобой псы. В такой момент женщина не допускалась к причастию, то есть к церкви. А отсюда и более общие запреты для женщин, такие, как совершать службу, прикасаться к святым сосудам, исполнять обряды.

Монашеская литература предавала анафеме лживые и дьявольские прелести любимой сообщницы Сатаны. Одон, аббат де Клюни (X в.) пишет:

«Физическая красота остается чисто внешней. Если бы мужчина увидел женщину изнутри, это вызвало бы у него отвращение. Мы кончиком пальца не можем дотронуться до плевка или навоза. Так как же можно поцеловать целый мешок с нечистотами?»

Марборд, епископ в Рене, затем монах в Анжере (XI в.), предупреждает:

«Среди неисчислимых ловушек, искусно расставленных врагом нашим по долам и горам, самой опасной и неизбежной является женщина, лоза, родящая несчастья, корень всех пороков, зачинщица всех мировых склок… Женщина – это нежное зло, свеча и ад, медоточивым кинжалом пронзающая сердце даже святого».

Рожэ из Кан писал в XI в.:

«Поверь мне, брат, все мужья несчастны. Если супруга неприглядна, то она ему отвратительна и ненавистна. Если она красива, то он боится, как бы у нее не было поклонников. Красота и добродетель несовместимы. Посмотришь иной раз, как жена ластится к мужу, задабривая его поцелуями, и становится ясно, что в душе своей она копит яд. Женщине ничего не страшно; она полагает, что ей все дозволено».

* * *

Подобным высказываниям вторила и народная мудрость: в среднем из десяти пословиц и поговорок, касающихся женщин, семь враждебно к ним настроены. Те же, которые благосклонны к женщинам, говорят о добродетелях примерной жены и хозяйки, подразумевая при этом, что подобное жемчужное зерно не так часто встречается: «Добрым оружием вооружен тот, кто доброй девице сужен», «Добрая жена стоит царского венца», «Если жена добра и умна, семье украшенье она», «Если жена добра, то и жизнь счастлива и долга». Однако этот мотив не был доминирующим. Переход к пословицам, выражающим ненависть к женщине, можно обозначить следующей сентенцией: «за стоящую жену не жалко и королевства; в противном случае нет зверя худшего». К тому же «наступил трудный год – неразумных жен невпроворот». Предупрежденный об опасности муж теперь не допустит главенства жены в семье.

«Позволишь жене взять верх над собой, так назавтра эта непотребная женщина тебе на голову сядет». Но, может быть, действительно стоит слушаться женщин – «чего хочет женщина, того хочет Бог»? Нет, «лишь небеса знают, чего хочет женщина». В супружеской жизни мужчине нужна под рукой палка: «Плох ли, хорош ли конь, в шпоре нуждается он; плоха ли, добра ли жена, в палке нуждается она». Так стоит ли жениться? Многие поговорки не советуют делать этого: «За женой смотрел – день пролетел», «Что жениться, что в омут броситься», «Жену содержать – в бедности прозябать», «Если хочешь спокойно жить, жену не нужно заводить».

Пословицы своевременно предупреждают о женских недостатках. Жена транжирит деньги: «Все, что писарь в дом принесет, в жену уйдет», «Женщине только самоцветы подавай». Однако часто роскошь одежды скрывает духовное уродство: «Жена богато наряжена, словно навозом обмазана; кто в глаза пускает пыль, у того на сердце гниль». Красота тоже подозрительна и опасна: «Красотой жены богат не будешь», «Красива девица, да дурная голова, хороша ослица, да цена невелика», «Скажите женщине, что она хороша, и черт ей напомнит об этом сто раз». А как раздражают мужчину женские слезы! А какие они неискренние: «Пес всегда готов пустить струю, а женщина – слезу», «Женщина смеется, когда может, а плачет, когда хочет». Женщина проливает крокодиловы слезы, поэтому ее обвиняют в неискренности: «Женщина плачет, женщина стенает, когда захочет, больна бывает», «Женщина в церкви ангел, в семье черт, а в постели обезьяна».

В то время сила слова была велика на всех уровнях общества (словом можно было унизить честь и достоинство, красноречие было очень популярно, большое значение придавалось также проповеднической деятельности). Именно тогда наблюдается рост тревоги по поводу женской болтовни, которая должна была быть под контролем мужчин: «Две женщины это судебное заведение, три – трескотня сорок, а четыре – это уже базар», «Тогда лишь до женщины дойдет очередь высказаться, когда курица захочет помочиться», «Не говори жене то, что хочешь держать в секрете», «Женщина не раскроет секрет только тогда, когда его не знает». Поэтому отношение к ней также пренебрежительное: «Женщина похожа на неоперившегося птенца – меняется и линяет без конца», «Эка невидаль была, баба без глупости жизнь прожила», «Женские мозги сделаны из обезьяньих сливок и лисьего сыра».

Презрение к женщине часто сопровождается враждебностью к этой неисправимой обманщице и злодейке. В этом смысле пословицы кратко повторяют обвинения из проповедей церковнослужителей: «Женское сердце обмана полно, все потому что лукаво оно», «Сердце женщины, словно вино, яда полно», «Женщина – мать всякого вреда, от нее идет и злоба, и беда», «Женский глаз – сети паука», «Добрая жена, хорошая ослица и хорошая коза – вот три гнусных животных», «Женщины очень опасны и по природе коварны». В поговорках устанавливается и связь женского начала с адом: «Женщина раньше дьявола преуспела в искусстве», «Бог еще не сказал, а женщина уже догадалась».

Так стоило ли супругу горевать о смерти жены? Но была ли кончина жены избавлением, ниспосланным свыше? «Траур по жене длится до порога», «Бог отнимает у мужа жену, когда не знает, чем бы еще ему угодить». Эта поговорка звучит также и в более категоричной форме: «Кому Бог хочет помочь, у того отбирает жену».

*** * ***

Итак, женщина – это существо, предрасположенное ко всему дурному. Поэтому никакие предосторожности с ней не будут лишними. И если ее не занять благими делами, то что ей может взбрести в голову? Послушаем на этот счет проповедь св. Бернардена из Сиены:

«Нужно подмести в доме? Да? Так пусть она метет пол. Нужно почистить горшки? Пусть она их чистит. Нужно просеять муку? Так пусть она просеивает, заставь ее просеивать. Накопилась стирка? Так пусть она все выстирает. Но для этого есть служанка! Не важно, что есть служанка, заставь жену работать не по нужде, а для того, чтобы занять ее время. Пусть она присматривает за детьми, стирает пеленки и все прочее. Если ты не приучишь ее все делать, она так и останется куском плоти и больше ничем. Как только ты дашь ей передохнуть, она прилипнет к окну, и не известно, что ей придет в голову».

Тему продолжают известные в свое время проповедники: Мено, Майер и Глапиньон. Мено считает, что «женская красота – причина всех несчастий», и далее говорит по поводу хмоды:

«Чтобы обратить на себя внимание в обществе, женщина не удовольствуется

приличной для ее положения одеждой. Она прибегает ко всяческим украшениям: широким рукавам, высокой прическе, открытой до пупа груди, слегка прикрытой косынкой, сквозь которую видно все то, что должно быть скрыто от глаз. И в таком бесстыдном виде, с книжкой в руках она проходит перед домом, из которого десяток мужчин с вожделением пялят на нее глаза. И нет среди них ни одного, кто бы устоял из-за нее перед смертным грехом».

Для Майера женщина в платье со шлейфом «совсем уж похожа на животное, с которым у нее и так много общего в поведении». «Богатые ожерелья и золотые цепи на шее – это оковы дьявола, которыми он опутал ее и держит при себе». «Вместо того чтобы читать великую книгу совести, дамы предпочитают неприличное чтиво о бесчестной, сладострастной любви. Наконец, их длинный язык причиняет много зла». Что касается Глапиньона, духовника Карла Пятого, то он не признает свидетельства Марии Магдалины о воскресении Христа, «потому что среди других людей женщина – существо изменчивое и непостоянное», а посему не может «свидетельствовать против врага нашей веры». В юридическом аспекте это богословское утверждение звучит так: свидетельство женщины перед судом заслуживает меньшего доверия, чем свидетельство мужчины.

Св. Бенедикт говорит о том, что у женщины (в собирательном значении единственного числа) пылающий взгляд, он сжигает и сама она сгорает при этом. И далее: «… древние мудрецы поучают, что, когда человек долго говорит с женщиной, он идет к своей погибели и отвращает свой взор от небес и в конце концов попадает в ад. Это расплата за удовольствие поболтать и похихикать с любой женщиной – дурной или добропорядочной. Этим можно объяснить парадокс изречения о том, что распутство мужчины лучше, чем добропорядочность женщины».

Св. Бенедикт предлагает также объединить начальные буквы женских пороков в аббревиатуру «ЗТСФР»: женщина – это Зло, Тщеславие, Сладострастие, Фурия и Разорение. По идее «ЗТСФР» характеризует дурных женщин, но может относиться к женщинам вообще, так как все они опасны.

Монах Монтовано писал о женщинах, что они «подобострастны, сварливы, язвительны, жестоки и горды, склонны к предательству, без веры, закона и средств, безрассудны, не соблюдают закон, право и справедливость. (Женщина) непостоянная, непоседливая, праздношатающаяся, грязная, чванливая, жадная, недостойная, подозрительная, болтливая, опасная, склочная, слюнтяйка, обманщица, нетерпеливая, завистливая, лживая, легковерная, выпивоха, трудная, опасная, врунья, острая, продажная, обжора, колдунья, пагубная, слабая, неуравновешенная, суетливая, безжалостная и очень мстительная, полна лести и лени, злости и ненависти, притворства и жеманности, коварная в мести, властная, неблагодарная, очень жестокая, бесстрашная и хитрая, неподвластная…»

А вот что сказано в книге «О женском презрении», написанной в XVII в. монахом Бернаром де Морла:

«Женщина презренна, женщина вероломна, женщина труслива… Оскверняет чистые дела и помыслы, сама живет в нечистоте. Женщина – это хищник, ее грани неисчислимы, как песчинки. Всякая женщина ликует при мысли о грехе и при его свершении. Нет добрых женщин, если не считать некоторых, которые таковыми являются. Добрая женщина – это невозможная вещь, и поэтому добрых женщин почти нет. Женщина дурна, состоит из плоти, вся она утроба. Она вероломна, от природы лжива и очень опытна во лжи.

Безмерная пропасть, самая ядовитая змея, красивая нечистота, скользкая дорожка, ночная сова, публичная дверь, сладкий ад.

Она враг того, кто ее любит, и друг врага.

Она ничего не признает, может зачать от отца и от внука.

Пропасть любви, средство падения, дверь в мир порока.

Пока сеятель будет трудиться в поле, собирая урожай, эта львица будет исходить рыком, свирепствовать, противясь послушанию закона.

Она последний бред, скрытый враг, тайное бедствие.

Хитростью превзошла всех; волчица лучше, чем она, потому что менее зла; и змея лучше ее, и львица.

Женщина – это опасная змея и душой, и лицом, и делами своими.

Жаркий огонь, подобно яду, сжигает ей душу.

Дурная женщина красится и украшает себя грехами.

Она красится, помадится, изменяет себя до неузнаваемости.

Лжива в поступках, бесстрашна в преступлении, она сама есть преступление.

Ей нравится вредить, и она будет вредить, пока это в ее силах.

Женщина – это смрад, пламя обмана, вспышка безумия.

Первая погибель, горькая доля, губительница целомудрия.

Она вырывает из чрева собственное семя…

Душит свое чадо, подкидывает его, убивает в гибельном бреду.

Женщина змея, она не человек, а дикое животное, она непостоянна и изменяет даже самой себе.

Она детоубийца, и что самое страшное, она убивает свое дитя.

Страшнее аспида, бешенее бешеных.

Женщина коварная, нечистая, смрадная.

Она престол Сатаны, целомудрие ей в тягость.

Читатель, сторонись ее».

А «Молот ведьм» заканчивается словами Котона: «Если бы не было женского лукавства, я уж не говорю о колдовстве, мир был бы избавлен от многих опасностей». Женщина – это химера, ее внешность приятная, прикосновение смрадное, ее общество – смертельно опасное. Она горька, как смерть, как дьявол, потому что дьявол и есть смерть.

* * *

Медики, прибегая к веским аргументам, свидетельствовали об анатомической неполноценности женщины. Почему «второй пол» неполноценен? Вот расхожие аргументы: «В женщине меньше тепла, чем в мужчине… ее сперматические частицы более холодные, более влажные и вялые, чем у мужчины»; ее естественные проявления не так совершенны, как мужские; ее половые органы расположены внутри тела, что свидетельствует «о глупости ее природы, которая не смогла вынести эти органы вовне, как это сделано у мужчины». Что касается процесса воспроизводства, то «из более сухого и горячего семени зарождается мальчик, а из более влажного и холодного девочка. А поскольку сухость более эффективна, чем влажность, то женский зародыш развивается медленнее мужского. Поэтому Бог вдыхает душу мальчику на сороковой день, а девочке только на пятидесятый».

Опыт подтверждает, что «дитя мужского пола более совершенное, чем женского». Женщина на сносях мальчиком более приветлива и бодра в течение всего срока беременности, у нее веселый взгляд, свежий цвет лица, лучше аппетит. Кстати, и плод располагается справа, а правая сторона – это сторона благородства. «Правый глаз более зоркий, в правой груди у женщины больше молока».

Природа всегда стремится к созданию совершенства и законченности. Но если исходный материал не чист, то она создает то, что может только приблизиться к идеалу. Так вот, если исходный материал недостаточно чистый и подходящий для создания мальчика, природа создает девочку, которая, согласно Аристотелю, – несовершенный и неполноценный мальчик.

Отсюда следуют советы, что нужно делать, чтобы родился мальчик, а не девочка: семя, само по себе, безразлично к полу, из него развивается мальчик или девочка в зависимости от менструального цикла и состояния матки. Ее можно сравнить с полем. На слишком влажной почве даже хлебное или ячменное зерно прорастает диким овсом. То же происходит и с семенем, из которого должен был бы развиться мужской плод, но из-за влажности и холодности матки, слишком обильной крови развивается женский плод. Поэтому имеется

риск родить девочку, если зачатие произошло в момент или накануне месячного цикла женщины. И наоборот, имеется больше шансов родить мальчика, если зачатие произошло сразу же после менструального периода, когда матка стала сухой и горячей.

Вот так представляли себе женщину известнейшие медики эпохи Возрождения. Женщина – это несостоявшийся и несовершенный мужчина. Существо, созданное природой «за неимением лучшего варианта». Она подобна плевелам в противоположность хлебному колосу. Таков закон природы, установивший статус неполноценности женщины, причем неполноценности физической и моральной.

* * *

Богословы и медики, при взаимной поддержке, снабжали дополнительными и неопровержимыми доказательствами юристов… и инквизиторов. Действительно, им нужно было дать объяснение, почему на десять женщин, осужденных за колдовство, приходился только один мужчина. Никола Реми, судья из Лотарингии, считает это нормальным, так как «этот пол более склонен к дьявольскому обману». П. де Ланкр, советник парламента Бордо, также не удивлен этим фактом, «поскольку колдовство более присуще женщинам, чем мужчинам».

«Этот пол слаб, поэтому часто принимает дьявольские наваждения за божественные откровения. Более того, женщины часто загораются жгучей страстью, наконец, у них влажная и липкая натура. Поскольку влажность ведет к безрассудству и выдумкам, то их с трудом и не скоро удается обуздать, мужчины же более стойки к фантазиям».

Как видно, эта пресловутая влажность снова была обращена против женщины: избыток влажности приводит к рождению девочки, та, в свою очередь, обладая липкой, вязкой натурой, дает волю воображению и попадает в лапы Сатаны.

Ж. Бодэн устанавливает семь основных женских пороков, толкающих женщину к колдовству; это доверчивость, любопытство, впечатлительность, злоба, мстительность, отчаяние и, конечно, болтливость.

Свидетельство ведьмы
Из книги А. Кэбот «Сила ведьм»19

Церковь вела ожесточенную борьбу с древними религиозными обрядами. Ее оружием стала теория о том, что женщина – это образ Сатаны. В основе этой теории был страх перед женщиной, сексом, природой и человеческим телом. Земля, тело и дьявол – эти три понятия были связаны воедино.

Церковь так и не согласилась с древней верой в то, что земля – священна и на ней обитают боги и божественные духи. Она не могла примириться с духовностью, в которой было место человеческому телу, не говоря уже о теле животного. В то время как христиане били себя в грудь, обвиняя самих себя в плотских грехах и сокрушаясь над тяжкой повинностью жить в «юдоли печали», поклонники Богини пели, плясали, праздновали и следовали завету Богини: «все акты любви и удовольствия – вот мои ритуалы». Протестанты отрицали всякое земное веселье, типа пения, танцев и всевозможного баловства, еще в большей степени, чем католики, и приписывали его козням дьявола. Древняя религия считала их священными.

Во время эпохи костров как христианская церковь, так и светские власти христианских стран, систематически искореняли древние празднества. Все приходские священники получили директиву церковных властей к любому языческому празднику подгадать христианское празднество. Рождество было придумано в противовес зимнему солнцестоянию, Пасха— весеннему равноденствию, праздник Святого Иоанна Крестителя – летнему солнцестоянию, День всех святых – кельтскому Новому году и т. д.

Власти также сурово порицали баловство в эти святые дни, в особенности ритуалы,

сопровождавшиеся половыми актами. Во многих дохристианских цивилизациях половой акт считался образом творения. Церковь, боявшаяся и женщин, и секса, не могла согласиться с мыслью, что женская сексуальность может быть священной. Духовность, включавшая в себя «акты удовольствия», потому что они были угодны Богине, была серьезной угрозой для давших обет безбрачия священников и монахов, которые пытались подавить свои любые сладострастные мысли.

Доминиканский ученый Мэттью Фоке заметил, что миф об «изгнании из рая» породил теологию, которая «не могла согласиться со святостью сексуальности». В своем труде «Первопричастие» – воззвание к более мистическому, более земному, более женственному христианству – он пишет: «Не секрет, что среди святых патриархального периода христианства, предложенных нам в качестве примеров для подражания, очень редко встречаются люди светские». Идеалом католической церкви всегда был обет безбрачия, а активная внебрачная половая жизнь всегда сурово порицалась. Сексуальным партнером женщины мог быть только ее муж. Таким образом, женская сексуальность была заключена в жесткие рамки патриархального брака, где она полностью контролировалась мужчиной. Даже в браке секс был сомнительным делом. Это по-прежнему была «плоть», которую христианская теология считала источником слабости. Давший обет безбрачия клир и отказавшиеся от половой жизни монахини являлись красноречивым доказательством устремлений церкви. (Каковым является и недавно вновь подтвержденное Ватиканом правило, что женщина не может быть священником только потому, что она не обладает телом мужчины!).

Некоторые христианские мыслители давно подозревали, что секс был первоначальным грехом и что поедание яблока с древа познания является всего лишь метафорой, позволяющей избежать «этой» темы в священной книге. Постоянно пропагандировался постулат, что Ева-искусительница на самом деле была Евой-совратительницей, а каждая женщина – это Ева. Этот аргумент приводился во время эпохи костров, он приводится и в наши дни тогда, когда нужно бросить тень на намерения женщины.

Страх перед колдовством
Из книги Ж. Делюмо «Ужасы на Западе»20

Еще в XIII в. святейшим папой Григорием IX и инквизитором Германии Конрадом Марбургским были обозначены все злодеяния еретиков, против которых боролся Конрад в Германии. Как полагали инквизитор и святейший папа, там существовало тайное общество, в котором обряд посвящения требовал от вступающего поцеловать зад черной кошки и жабы и принести поклонение бледному, худому и холодному, как лед, человеку. На этих дьявольских сборищах поклонялись Люциферу, предавались сексуальным оргиям, а на Пасху ели облатку – тело Спасителя – и выплевывали ее в помойку. Так был обрисован тип культа, который получил вскоре название «шабаша», и антирелигия, угрожающая и противостоящая христианству.

В XV и XVI вв. выходят многочисленные книги с описаниями колдовства и методов борьбы с ним, а также папские буллы, требующие искоренения сатанинской антирелигии.

Во времена Бодэна с этой антирелигией уже предписывалось бороться обязательно в законодательном порядке. В ордонансе 1594 года, принятом в Нидерландах, говорилось:

«Наряду с прочими великими грехами, бедствиями и мерзостями, которые день за днем приближают наше злосчастное время к крушению и концу света, существуют различные сообщества колдовства, ведовства, чародейства, обмана, внушения, прельщения и нечестивости, некоторые из них – сущее орудие дьявола, которые подобно ереси, отречению от веры и неверию растут с каждым днем».

Далее следует, на более подробно, перечисление бесконечных колдовских обманов, чар, проклятий, отравлений, порчи и других мерзостей, которые творят чародеи. Эти уточнения предназначались для судей. Власти и проповедники остерегались распространять

эти отвратительные детали, чтобы не вызывать досужего людского любопытства и не осведомлять народ о том, как эти мерзости совершаются. Но от судей ждали, что «как церковные, так и светские власти исполнят свой долг дознания и соответствующие процедуры над теми, кто занимается или способствует колдовству, чтобы наказать их духовным судом согласно апостольским канонам и буллам и светским судом через гражданские законы и ордонансы…

«Этот ордонанс будет разослан во все города и деревни Нидерландов, которые должны зорко следить за дознанием и оповещать о злоупотреблениях, с тем чтобы виновные понесли наказание, и вести дознание лиц, которые, может статься, занимаются гаданием, ворожбой, колдовством, вальдейством или замечены в подобных злодеяниях и преступлениях. И если таковые будут выявлены, то к ним следует применять самые суровые насилия и наказания в соответствии с Божьими и людскими законами, не допуская ошибок и послаблений…»

Из этого исторического документа становится очевидным, что церковная лексика употребляется вместе со светской, колдовство преследуется и считается таким же грехом, как ересь и неверие. Меньший акцент делается на чинимый людям вред, но подчеркивается запрещенность занятия колдовством, которое предполагает вмешательство нечистой силы. Судьям надлежит быть суровыми, и власти не потерпят их жалости.

*** * ***

Попытаемся теперь осмыслить и объяснить страх людей этого времени перед колдовством. В первой половине XIX в. немецкие ученые Ярке и Монэ отождествляли колдовство с широким заговором против Церкви. Мишле21 в книге «Ведьма» придерживается той же точки зрения, связывая колдовство с языческими пережитками и выражая горячую симпатию к «колдовским обществам». Как он полагал, шабаш был местью крепостных за их социальное и религиозное положение и включал в себя осмеяние духовенства и знати, отрицание Христа, насмешку над официальной моралью, черную мессу с танцами вокруг алтаря Люцифера – вечного Изгнанника, несправедливо низверженного с небес. «Жрица» – невеста Сатаны – представляла униженных крепостных женщин. Мишле изобразил ее Медеей с трагическим, горящим взглядом, копной непокорных волос, змеевидно ниспадающих на плечи. Обрядовые сельские сборища существовали уже в XII–XIII вв., но с XIV в. они приобрели характер социального вызова церкви и знати, которые все больше дискредитировали себя.

К точке зрения Мишле присоединяется также этнолог Ж. Фавре, проживший около трех лет в нормандских лесах с целью изучения колдовства. Он считает существование шабашей бесспорным. Истина европейского колдовства состоит, по его мнению, в представлении всего того, что запрещено церковью: «Шабаш – это своего рода представление, которое устраивали сами для себя отщепенцы средневекового общества, выходя таким образом за пределы пространства, ограниченного запретами».

В последующие годы концепция Ярке, Монэ и Мишле приобрела многих сторонников. В 1921 г. выходит в свет книга М. Мюррей «Колдовской культ в Западной Европе» затем в 1931 г. ее работа по сопоставительной этнологии «Бог и колдовство». Основным тезисом обеих работ является утверждение, согласно которому в Европе сохранился культ двуликого Януса, символизирующего смену времен года, расцвет и увядание природы. Для возрождения божества была нужна обрядовая смерть, а в местном масштабе богословы и судьи представляли это божество в виде Люцифера. Невозможно определить возраст этого культа, но сохранен он был благодаря низкорослому и подвергающемуся постоянным нападкам народцу гномов и фей, которые не порывают связи с людьми. Их сборища были двух видов: «эсбаш» – еженедельные собрания тринадцати и «шабаш», которые собирали большее число участников, но с таким же строгим порядком. И далее: единственным объяснением огромного числа осужденных за колдовство в Западной Европе может быть наличие распространенной религии во всех слоях общества, от высших до самых низких. В

результате христианского наступления XVI–XVII вв. эта религия была разрушена.

Кроме того, вышли работы М. Саммерса «История колдовства и демонологии» (1926 г.) и «География колдовства» (1927 г.), пересказывающие тезисы Ярке, Монэ, а также с некоторыми изменениями идеи Мюррей. Он считает, что общество колдунов действительно существовало, так же как и шабаш, на котором происходило поклонение человеку, олицетворяющему Сатану. Но вместо пережитков дохристианских обрядов Саммерс считает это обширным сатанинским заговором против Бога и общества. Он пишет:

«Я попытался показать ведьму такой, какой она была на самом деле, – тунеядкой и развратницей, распространяющей бесстыдную и отвратительную веру, привыкшей к яду, шантажу и другим преступлениям, состоящую в мощной тайной организации, враждебной Церкви и государству, проклинающей на словах и на деле, терроризирующей селян суевериями, пользующейся их доверчивостью и иногда делая вид, что приносит им исцеление; грязную повитуху; черную сердечную советчицу распутных дам и их развратных поклонников; пособницу порока и разврата, обогащающих бесстыдство и грязь той эпохи».

Финский ученый Рюнеберг в книге «Колдовство, демоны и культ плодородия» (1947 г.) пишет, что сборища, называемые богословами «шабаш», действительно происходили, это не было плодом воображения или внушением судей на дознаниях. Волшебники действительно объединялись в общества, владеющие с незапамятных времен наследством магических формул и ночных служб, способных причинить добро и зло. Во всех европейских языках слово «колдовство» имеет звуковое сходство со словом «плодородие». В конце Средневековья Церковь начала гонения на пережитки язычества. В результате этих гонений волшебники и катары соединились в тайное общество и вместо культа плодородия приняли культ Сатаны. Но это была последняя стадия, которой предшествовали обряды и таинства, направленные на плодородие и доброжелательность природы.

В работе Роза «Бог разящий» (1972 г.) отвергается мысль о живучести культа плодородия, наоборот, начиная с пещерного времени, существует сообщество колдунов, которое стало тайным в период христианских гонений. Их божество – получеловек, полуживотное – обретает облик Сатаны, вакханалии превращаются в шабаши, во время которых участники под воздействием известных им трав впадают в транс. При гонениях XVI–XVII вв. местные сообщества создали обширные прочные, хотя и подпольные организации.

В книге Рассела «Колдовство в Средние века» (1972 г.) говорится, что многовековые обряды и службы, посвященные плодородию, с танцами, чревоугодием и эротикой под давлением христианского общества превратились в шабаши. В XI и тем более XIII веке, во времена гонений Конрада Марбургского, существовали общества колдунов-еретиков, поклоняющихся демону. Позже они объединились в отдаленных от городов районах. Ведьмы, конечно, не летали на шабаши на метле, это был результат видений в наркотическом состоянии. Но верно то, что они отрицали Церковь, лобызали зад человека или животного, олицетворяющего Сатану, предавались оргиям и людоедству. Эта социальная группа нигилистов, восставших против общественного и религиозного конформизма, была продуктом карающей христианской цивилизации, преимущественно инквизиции.

Рассел ссылается на работу Гинзбурга «Хорошо идущие», написанную на основании изучения материалов инквизиции Фриуля в период 1575–1650 гг. и доказывающую наличие пережитка культа плодородия десять веков спустя после принятия христианства. «Хорошо идущие» – это люди, рождающиеся с пережитками околоплодных оболочек, которые они сохраняют и носят на шее как амулет. Гинзбург устанавливает связь между «хорошо идущими» и шаманами в силу сходства их шествий с процессиями мертвецов или кортежем, сопровождающим богиню плодородия (Диану, Иродиаду или других).

* * *

В целом все приведенные в вышеупомянутых книгах факты подтверждают слова Фрейда: «Христианские народы плохо крещены. Под глянцем христианства они остались, как и их предки, варварами, поклоняющимися многим богам». Заключение, конечно, общего характера, но исследователи европейской истории XV–XVII вв. не могут его игнорировать. Следует отметить, что на исходе средневековья простой люд был буквально погружен в колдовскую среду. Случалось, что из-за недостаточного знания христианских обрядов они неосознанно смешивались с традиционными языческими культами, дошедшими из глубины веков.

Кроме того, некоторые люди пользовались дурной славой. Несомненно, что, веря в свои исключительные способности, они могли использовать их в целях отмщения. Кроме того, начало Нового времени принесло им такие испытания, которые способствовали росту пессимизма. Все это происходило, во всяком случае в деревнях, на фоне падения авторитета духовенства и в то же время распространения демонологии со стороны официальной культуры. Безусловно, какие-то моменты этой идеологии были крестьянами усвоены – какой бы ни была ответственность церковников и законников за гонение на ведьм, оно не было бы возможно без согласия и помощи населения на местах.

Например, в 1609 г. Генрих IV, поручив президенту парламента Бордо и советнику де Ланкру провести процесс над ведьмами и колдунами Лабура, пишет: «Селяне и жители нашей вотчины Лабур просят нас сказать, что вот уже четыре года, как у них развелось такое число колдунов и колдуний, что вся местность заражена ими, так что жители скоро вынуждены будут покинуть свой кров и бежать, если им срочно не будет оказана помощь и защита от колдовства». Ясно, что речь идет о просьбе, адресованной властям.

Случалось, что люди сами являлись в суд и обвиняли себя в колдовстве. Другие признавались в сговоре со злыми духами. Перенесемся в Сюньи в Люксембурге 1657 г. Допрашивается подозреваемая в колдовстве некая Пьеретта Пети. Сначала ведется дознание о ее колдовских действиях: она ли вдохнула смерть в уста жены Байи? Она ли хотела погубить свою соседку Изабель Мерньи, дав ей отведать гороха и пирога? Обвиняемая все отрицала. Два дня спустя допрос возобновляется.

«Статья 15: Когда обвиняемая бывала бита своим покойным мужем Пьере, скрывалась ли она от побоев в сенном сарае?

Ответ: Да.

Статья 16: Где к ней явился дьявол и сказал, чтобы она сочеталась с ним, и он даст ей средства жить в свое удовольствие?

Ответ: Да.

Статья 17: Что она сочеталась с дьяволом и имела с ним дело?

Ответ: Она не знает, имела ли она дело с дьяволом в тот раз, но насколько помнит, имела с ним дело, когда ей случалось забыть осенить себя крестом.

Статья 18: Какое имя имел дьявол и как он говорил, чтобы его называли?

Ответ: Вельзевул.

Статья 19: Где и в каких местах она плясала с дьяволом? Было ли это в Хатрель, Гутель, Долине Безумцев, Саффа или другом месте?

Ответ: Это было в этих четырех местах.

Статья 20: Ей следует назвать тех, кого она встречала на танцах в Хатрель и Гутель. Видела ли она там Жанет Хуарт, жену Жана Робо, большую Мансон Хуарт, ее сестру, Катрин Роберт, жену Хуссона Жадэн и Женн Жадэн, его сестру? Были ли они там?

Ответ: В Гутель она узнала Жанет Хуарт, жену Жана Робо; Мансон Хуарт, его сестру; Катрин Роберт, жену Хуссона Жадэн и Жени Жадэн, его сестру; они там плясали и еще двое из Пюсманж, имена которых она не знает. Она даже не знает, были ли эти двое из Пюсманж, но когда они возвращались, то пошли в ту сторону. Это было тем летом.

Статья 24: Пусть она назовет другие места, где они имели обычай плясать по ночам, и кого она там встречала?

Ответ: Других мест она не припоминает».

Обратимся к другому документу. Это инструкции духовнику, составленные отцом Монуар, который вел миссионерскую деятельность в Бретани в 1640–1683 гг. Он составил их в 1650 г. и дал многозначительное название «Гора», так как полагал, что в Бретонских горах водятся ведьмы, объединенные в «каббалу», что эти горы прекрасно подходят для шабашей. Монуар дает инструкции, как добиться признания и снять «чары молчания», за которыми Сатана пытается скрыть сговор с ним. «Этот сговор настолько сатанинский, что исповедующийся не решается признаться в нем. Поэтому ему нужна решительная помощь духовника». Было бы ошибкой доверять безобидным исповедям. «По опыту известно, что без помощи духовника эти кающиеся (ведьмы) никогда не сознаются ни в одном своем грехе, как бы велик он ни был».

Монуар поясняет, как следует вести дознание и какую цель оно должно преследовать. Большинство бретонцев, представших перед судом раскаяния, по мнению этого миссионера, грешат «загадочным криводушием». Они вошли в сговор с Сатаной, поклоняются демону с козлиными копытами, участвуют в шабаше, где происходят оргии и дебоши. Таких признаний следует добиваться иногда путем косвенных вопросов. Следует «продвигать» допрос вперед, «несмотря на дьявольские препоны, стараться проникнуть в сознание кающегося». Хорошо сделать так, чтобы он «не сразу догадался, о чем его хотят спросить». Вопросы должны быть обильными и должны содержать «общие слова – некто, нечто, некоторый». И только в конце дознания допрашиваемый увидит, что речь шла о дьяволе и шабаше. Допрос следует вести, как бы извиняясь: «Не показалось ли вам, что однажды ночью вы присутствовали на большом сборище? А этот поганый (т. е. Сатана) сидел, словно принимал почести?.. Вы смотрели на себя как бы со стороны, как бы отдалившись от своего тела, не отдавая себе отчета о своих действиях, вы делали то, что делали все остальные».

Кроме того, Монуар так же, как и авторы «Молота ведьм», убежден, что существует тесная связь между сексуальной невоздержанностью и сговором с Сатаной. Самый короткий путь в ад идет через «врата нечисти». Поэтому вопросы по поводу дурных компаний и плотских грехов незаметно приведут допрос к теме шабаша. «Вам доводилось в молодости играть с маленькими детьми? Они совершали дурные дела? Если такой находился – конечно, это был Сатана – то он был хитрее остальных? Вы знали его?»

В конце концов, духовнику следовало помочь исповедующемуся отречься от дьявольской секты и вернуться в спасительное лоно Церкви.

* * *

Итак, церковь и государство объединились в борьбе против вражьей силы – Сатаны, «который погоняет людей словно вьючных лошадей до последнего вздоха, а чтобы они освежились на том свете, им уготованы вечное пекло и горящая сера».

Светские и духовные власти были уверены, что колдовство завоевывает мир, его злодеяния множатся, сообщество подручных Сатаны непомерно разрастается. Подтверждений этому несть числа. Приведем некоторые из них. С середины XVI в. по середину XVII в. бытовало мнение многочисленности ведьм. Во время вальденского процесса в Аррасе инквизиторы объявили, что христианский мир переполнен ведьмами и колдунами (даже некоторые епископы и кардиналы – колдуны), что треть христиан на самом деле замаскированные колдуны. Булла «Стремящиеся…» 1484 г. и «Молот ведьм» приводят другие данные, но предупреждают, что эта опасность растет. Папа пишет: «Недавно до наших ушей дошло и очень нас опечалило известие, что… многие лица того и другого пола (в Германии), забыв о спасении и католической вере, отдали себя в руки демонов как в женском, так и в мужском обличье». Авторы «Молота ведьм» также утверждают, что людское лукавство растет и что Враг «посеял на поле Господа нашего удивительный еретический разврат».

Для Ж. Бодэна быстрое размножение ведьм дано людям в наказание: «Так же, как Бог насылает чуму, войну, голод посредством злых духов, вершащих справедливость, так же он

создал колдунов за осквернение имени своего, как это делается сейчас всюду безнаказанно и свободно, так что даже дети искусны в этом».

Несколькими годами позже, ссылаясь на Ж. Бодэна, Н. Реми будет утверждать, что при Карле IX во Франции насчитывалось несколько тысяч лиц, зараженных дьявольской проказой. Все, кто сам принимал участие в шабашах, в один голос утверждают, что там бывает очень много людей. Одна из обвиняемых, которую цитирует Н. Реми, заявляет, что в первую ночь она насчитала там не менее 500 человек. Столь же категоричен Богэ, поклонник «Молота ведьм» и Ж. Бодэна: «Колдуны бродят по нашей земле тысячами и плодятся, словно гусеницы в садах. И это к стыду наших магистратов, которым следует блюсти чистоту нравов и пресекать преступления». В 1628–1630 гг. судьи из Доль подтверждают многочисленность ведьм: «Зло растет изо дня в день, повсюду множатся эти исчадия».

Рост колдовства отмечается также в официальных документах, как гражданских, так и церковных. В 1581 г. Нормандский собор отмечает: «В колдовстве под началом Сатаны соединились почти все виды ереси. Нам остается сожалеть о том, что мы видим, как в нашем королевстве и других местах множится и растет колдовство».

В ордонансе Филиппа II от 20 июля 1592 г. также говорится о «несчастиях и напастях, которые уготованы нам ежедневно в наше презренное время», когда колдовство, равно как и «другая ересь, ложные доктрины и вероотступничество, множится повсюду».

Английские священники и магистраты также сходятся в том, что ведьмы множатся и плодятся. Епископ Джеуэл пишет в 1559 г. о времени правления Марии Тюдор: «Число магов и колдунов огромно. За последние несколько лет их численность резко возросла». В 1602 г. лорд Андерсон заявил: «Страна наводнена колдунами. Все местности ими переполнены… они истребят всю страну, если не предпринять срочных мер защиты». Позже, в 1650 г., епископ Хил уточняет: раньше колдун был редкостью. «Теперь в каждом графстве их сотни. Если верить, то в одной северной деревне в каждом из 14 домов обитают эти проклятые создания».

Ввиду нависшей опасности суд должен быть быстрым и суровым. Послушаем Ж. Бодэна, когда он говорит о колдовстве: «Нужно использовать прижигание раскаленным железом, чтобы отсечь загнившую часть (общества)». Поскольку опасность велика, «кроме обычных судей, следует также ввести одну или две должности комиссаров». Для поиска ведьм следует ввести анонимный донос, как это делается в Шотландии и Милане, – в Церкви устанавливается долбленый ствол дерева, куда каждый может опустить записку с именем колдуна и описанием свершенного им злодеяния. Также следует отменить или смягчить наказание за соучастие. Если эта мера недостаточна, то у ведьм следует отнимать дочерей, так как часто матери передают им свое искусство и берут их с собой на сборища. Им также нужно обещать оправдание. Если задержанные за колдовство люди не признают свою вину, следует их переодеть в другую одежду или раздеть донага и сбрить им волосы. Потому что там может быть спрятано средство для умолчания. Лишившись его, они заговорят. Не обязательно проводить дознание с пристрастием, можно только показать подозреваемому орудия пытки, что и было сделано с Жанной д’Арк.

«Прежде чем подвергнуть пытке, нужно показать допрашиваемому приготовления к ней – все орудия, веревки и палача – с тем чтобы обвиняемый в течение некоторого времени испытал ужас и страх. Также допрашиваемого можно ввести в камеру пыток, чтобы он услышал, как в соседней камере раздаются душераздирающие вопли, сказав при этом, что так кричат, когда пытают. Устрашив его таким способом, нужно пытаться вырвать у него признание».

* * *

На каких же доказательствах основывалось обвинение в колдовстве? Первым основанием была «истинность явных фактов», то есть носит ли колдунья жабу, облатку, восковую фигурку; есть при ней или на ней знак сатанинского сговора; говорит ли она с

дьяволом и отвечает ли он ей, хотя и остается невидимым; обладает ли она дурным глазом или наводит порчу заговором. Кроме этих очевидных доказательств, есть еще показания свидетелей. Ж. Бодэн произносит по этому поводу следующую сентенцию: «Незачем искать многих свидетелей этого гнусного дела, проведших ночь в пещере или другом скрытном месте». Хотя показания женщин имеют меньший вес по сравнению с мужчинами, что касается колдовства, то здесь можно верить свидетельству неполноправных лиц. Иначе нет никакой надежды, что эта гнусная нечисть будет когда-нибудь наказана. Показания соучастников и сообщников колдунов следует принимать во внимание, а за преступление других они не в ответе. Но если ведьма будет иметь веские доказательства против сообщников или соучастников, то их привлекут к ответу. И наконец, насколько можно доверять слухам? На этот вопрос Ж. Бодэн отвечает: «что касается колдовства, то слухи почти всегда подтверждаются».

Предположим, что подозреваемый признался. Насколько можно верить его признаниям, если они содержат нелепые вещи? Некоторые судьи считают, что это «сказки». Другие видят в этом стремление несчастного скорее покончить с жизнью. Ж. Бодэн предлагает свое решение: если не судить за признание в сверхъестественных действиях, то тогда не следовало бы наказывать и содомитов, совершивших грех против природы. Сверхъестественное не означает невозможное. Действия «от разума» и дела Господни также противоречат естественному ходу вещей. Поэтому нельзя соизмерять дела от дьявола и злых духов с природными явлениями – это было бы софистикой. Из этого делается логический вывод: «Я говорю, что признание колдунов в том, что они летают (на шабаш) возможно и истинно, так же как и то, что заклинаниями они губят людей и животных».

Так рассуждает Жан Бодэн в четвертой книге «Демонологии», когда он пишет об инквизиции колдунов. Его мысли проявляются в заключительном утверждении: «Нужно, чтобы это гнусное преступление осуждалось чрезвычайным образом, иначе, чем другие преступления. Тот же, кто хочет сохранить обычные законы и процедуру суда, грешит против человеческого и божественного права»…

Следует подчеркнуть, что, когда мы говорим о наиболее яростных борцах с колдовством, речь идет о выдающихся деятелях культуры того времени. Это относится не только к Ж. Бодэну, одному из создателей современного права и исторической науки. Н. Реми редактировал «Обычаи Лотарингии», изданные в 1596 г., занимался историей, выполнял дипломатические миссии. Богэ знал классических авторов, написал на латинском языке исследование обычаев Бургундии, был также историком. Пьер де Ланкр был большим эрудитом и талантливым поэтом, хорошо владел итальянским. Дель Рио был назван своим другом Жюстом Липе «чудом эпохи», он говорил на девяти языках, в девятнадцать лет знал наизусть произведения Сенеки. Можно было бы продолжить этот список достойных людей, таких удивительных для нас…

Свидетельство ведьмы
Из книги А. Кэбот «Сила ведьм»22

«Охотники за ведьмами» были больше озабочены «борьбой» с сексом, чем борьбой с дьяволом. Нет ничего удивительного в том, что, когда «обвиняемых» спрашивали, грезят ли они о дьяволе, многие из них отвечали положительно. Дьявол был основной темой средневековой цивилизации и культуры Ренессанса. О дьяволе говорили, дьявола изображали, дьявола боялись и дьявола обвиняли во всех несчастьях. Я уверена, что многим «охотникам за ведьмами» тоже снился дьявол, и, вероятно, им снились ведьмы, которым снится дьявол!

Вооружившись «Молотом Ведьм», «охотники за ведьмами» входили в деревни и поселки и начинали поиски. Прибыв в ту область, которую надлежало очистить от еретического яда, такого рода папские инквизиторы, прежде всего, созывали народ на проповедь: присутствие на ней приносило 40-дневное отпущение грехов. На этой проповеди

они, в силу полученной от папы власти, повелевали всем обитающим в данной округе духовным и светским людям, чтобы они в недельный срок указали лиц, которые вызывают у них малейшее подозрение в отступничестве от веры, которые превратно говорят о таинствах и церкви или вообще в своем поведении и нравах отличаются от добрых католиков.

Заключив подозрительное лицо под стражу, подсудимому вручали в виде обвинительного акта выдержки из сделанных на него доносов и предлагали дать свои объяснения. Так называемые «улики» были разнообразны, нелогичны и противоречивы. Например, если во время допроса женщина что-то бормотала, глядела в землю и не плакала, значит, она была ведьмой. Если она молчала, значит, она была ведьмой. Разноцветные, бледно-голубые глаза считались признаком ведьмы. Бородавка, родинка, родимое пятно и веснушки считались «меткой дьявола». «Если «метки дьявола» не было в наличии, то инквизитор, упорствовавший в стремлении признать данную женщину ведьмой, заявлял, что «метка» так хорошо скрыта, что ее просто не видно. После чего проводилось официальное обследование всего женского тела, зачастую в присутствии зевак, которых интересовало обнаженная женская плоть, а не «метка дьявола».

Судья должен был руководствоваться в допросах «Наставлением к допросу ведьм», которым в XV–XVII веках в избытке были снабжены различные германские княжества.

Судье необходимо было скрупулезно допросить подсудимую по всем пунктам, часть из которых приведена ниже:

«Не делала ли она сама каких-нибудь таких штучек, хотя бы самых пустячных – не вынимала ли, например, молока у коров, не напускала ли гусениц или тумана и т. п.? Также, у кого и при каких обстоятельствах удалось ей этому выучиться? С какого времени и как долго она этим занимается и к каким прибегает средствам? Как обстоит дело насчет союза с нечистым?»

«Отреклась ли она от Бога? В чьем присутствии, с какими церемониями, на каком месте, в какое время и с подписью или без оной? Писано оно было кровью или чернилами? Пожелал ли он брака с ней или простого распутства? Как он звался? Как он был одет и особенно какие у него были ноги?»

Далее следует ряд детальных циничных расспросов о том, как бес и подсудимая вели себя на брачном ложе, после чего Наставление продолжает:

«Вредила ли она в силу своей клятвы людям и кому именно? Ядом? Прикосновением, заклятиями, мазями? Сколько она до смерти извела мужчин? Женщин? Детей? Сколько она лишь испортила? Сколько беременных женщин? Сколько скотины?»

«Умеет ли она также летать по воздуху и на чем она летала? Как она это устраивает? Куда случилось ей летать в разное время? Кто из других людей, которые находятся еще в живых, бывал на их сборищах?»

«Умеет ли она также скидываться каким-нибудь животным и с помощью каких средств?»

«Давно ли праздновала она свадьбу со своим любовником? Как свадьба эта была устроена, кто на ней был и что там подавались за кушанья? Также было ли у нее на свадьбе вино и откуда она его добыла?»

«Сколько малых детей съедено при ее участии? Где они были добыты? Также, у кого были они взяты? Или они были вырыты на кладбище? Как они их готовили – жарили или варили? Также, на что пошла головка, ножки и ручки? Сколько рожениц помогла она извести? Или не помогала ли она выкапывать родильниц на кладбище и на что им это надобно? Не выкапывали ли они также выкидышей и что они с ними делали?»

«Насчет мази. Раз она летала, то с помощью чего? Как мазь эта готовится и какого она цвета? Также, умеет ли она сама ее приготовлять? Что она сделала с вареным или жареным человеческим мясом? Для этого идет еще человеческая кровь, папоротниковое семя и т. п., но сало непременно туда входит. При этом от мертвых людей оно идет для причинения смерти людям и скотины, а от живых для полетов, для бурь, для того, чтобы делаться невидимкой» и т. п.

«Сколько с ее участием напущено было бурь, морозов, туманов? Был ли ее любовник при ней на допросе или не приходил к ней в тюрьму?»

«Доставала ли она также освященные гостий и у кого? Что она с ними делала? Являлась ли она также к Причастию и потребляла ли его как следует? «Как они добывают уродов, которых подкидывают в колыбели вместо настоящих младенцев?»

«Также как она делала мужчин не способными к брачному сожитию? Какими средствами? И чем им можно опять помочь? Точно так же, как она молодых и старых людей лишала потомства и как им можно опять помочь?..»

Если судья получал недостаточно подробные ответы на эти вопросы, то обвиняемую подвергали пыткам.

Поиски истины могли вестись и с помощью «ведьмовского шила» – инструмента, действительно напоминавшего большое шило. Профессиональные «охотники за ведьмами» (которым платили только в том случае, если они могли доказать местным властям, что они действительно поймали ведьму) часто использовали два шила – одно обычное, а другое с выдвижным острием. «Охотник за ведьмами» колол разные части тела женщины обычным шилом. Колол легко, но так, чтобы выступила кровь, что должно было доказать остроту его орудия. Затем он незаметно подменял шило и «всаживал по самую рукоятку» в тело жертвы шило с убирающимся острием. Женщина не кричала от боли, и это было доказательством ее вины.

Пытки проводились в соответствии с определенными правилами, словно это могло их сделать более гуманными. Например, пытка не должна была длиться более часа. Но инквизиторы могли остановить допрос чуть раньше, с тем, чтобы начать его снова. Инквизиторы имели право на три допроса: один для того, чтобы вырвать признание, другой для того, чтобы выяснить мотивы, третий – чтобы узнать имена сообщников. Бывало, что пытки длились круглосуточно. Перебивались лодыжки, отрезались груди, выкалывались глаза, волосы на голове и других частях тела смазывались серой и поджигались, конечности выворачивались из суставов, рвались жилы, ломались ключицы, раскаленные добела иглы загонялись под ногти, пальцы на руках и ногах дробились тисками. Жертв опускали в ванны с кипящей водой, смешанной с лимонным соком, подтягивали на веревках и резко опускали, подвешивали за пальцы, привязав к ногам груз, подвешивали вниз головой и вращали, прижигали факелами, насиловали с помощью острых инструментов, придавливали тяжелыми камнями. Иногда членов семьи обвиняемого принуждали смотреть на то, как его пытают, чтобы потом подвергнуть пыткам их самих. Перед тем, как отправить жертву на костер, ей вырезали язык или обжигали рот, чтобы она не могла богохульствовать или выкрикивать проклятия во время казни. Инквизитор Н. Реми был поражен тем, что многие ведьмы «определенно хотели умереть». Трудно поверить в то, что он не понимал почему.

Проходило около получаса, прежде чем жертва погибала от ожогов и удушья. А костер, сложенный из медленно горящего угля, мог продлить мучения на целый день. После казни, чтобы отметить «богоугодное деяние», как правило, устраивался банкет.

* * *

В моем городе [Салеме] никто не был сожжен на костре. В моем городе ведьм вешали или раздавливали тяжелыми камнями, где было казнено двадцать человек, и эта цифра казалась небольшой в сравнении с миллионами жертв в эпоху костров, но соотношение количества казненных, заключенных в тюрьму и обвиненных в колдовстве, хотя и не арестованных, с общим числом населения этой малозаселенной местности было впечатляющим. Имела место следующая история. Ее жертвами стали люди из всех слоев общества.

Это началось в кухне святого отца Париса, где Титуба с Барбадоса развлекала дочь святого отца в холодные зимние месяцы 1691 г. Девушки расспрашивали Титубу, которая умела предсказывать будущее, о их мужьях, что вполне естественно для девушек. Со

временем у девушек стали приключаться то припадки, то приступы отчаянной меланхолии, то видения, они могли принимать странные позы и делать странные жесты. В Салеме это поведение святые отцы объяснили кознями дьявола. Слушания продолжались в течение нескольких месяцев, в ходе которых вышеупомянутые девушки, а также другие подростки, у которых проявились те же симптомы (это стало своего рода юношеским феноменом), обвинили в своих страданиях взрослых членов общины. У них были видения, в которых уважаемые люди города вполне недвусмысленно вступали в контакт с дьяволом. Когда зима сменилась весной и начались естественные для этого времени природные катаклизмы, вина за это была возложена на дьявола, действующего через некоторых членов общины. Тогдашняя теория гласила, что дьявол может действовать только с помощью какого-нибудь человека. Кого-то, кто заключил с дьяволом пакт. Кто-то, кто был «ведьмой».

Прозвучали обвинения, были проведены аресты, допросы, и к весне тюрьмы были уже переполнены. Потом началась настоящая эпидемия. «Ведьм» обнаружили в Беверли, Топсфильде, Эндовере, Ипсвиче, Линне и практически в каждом городе графства Эссекс. В Эндовере арестованных было даже больше, чем в Салеме. Бостонские власти послали своих представителей для ведения судебных заседаний.

Суд начал работу в июне, и Бриджит Бишоп, просидевшая в тюрьме с апреля, была повешена. События разворачивались быстро. В июле были повешены Ребекка Нурс, Сара Гуд, Элизабет Хау, Сара Вайлд и Сюзанна Мартин. В августе суд признал виновным Джона Вилларда, Джона и Элизабет Проктор, Джорджа Джекоба, Марту Карье и святого отца Джорджа Бэрроу. Все были казнены, за исключением Элизабет Проктор. Она была беременна, и казнь отложили до рождения ребенка. В сентябре суд отправил на виселицу Марту Гори, Элис Паркер, Энн Пьюдеатор, Мэри Эсти, Маргарет Скотт, Мэри Паркер, Вильмот Рид и Самюэля Вордвелла. Супруг Марты Кори, Гил, был задавлен насмерть грузом камней. К концу этого мрачного лета еще сто человек ожидали суда, а нескольким сотням были предъявлены обвинения.

В конце концов, здравомыслие восторжествовало. Инкриз Мазер, который проповедовал в Кэмбридже, сказал, что обвинение в колдовстве основано на очень шатких доводах, к которым прежде всего относится представление о том, что дьявол способен вселяться в кого-нибудь из членов общины. По мнению Мазера, дьявол действительно мог вселиться в женщину или мужчину, но это не являлось доказательством того, что данное лицо изначально заключило пакт с дьяволом. Разве дьявол не мог вселяться в совершенно невинных людей? Некоторые люди начали склоняться к такому выводу. В конце концов, Инкриз Мазер заявил, что истребление одной ведьмы не стоит того, чтобы вместе с ней погибло десять невинных людей. К его аргументам прислушались, и вскоре «охота на ведьм» была прекращена.

Однако до сих пор никто не дал ответа на вопрос: были ли двадцать казненных и сотни осужденных на самом деле ведьмами? История оставила мало сведений на этот счет. Я уверена, что некоторые или многие из них, подобно своим европейским собратьям, сохранили определенную связь со Старой Религией – занимались изучением трав, приготовлением особых отваров, прорицательством и народной медициной. Некоторые из них могли даже отмечать старые праздники. Нам известно, что поселенцы в Мерримаунте, штат Массачусетс, еще в начале двадцатого века каждый год устанавливали «майское дерево». Но нет никаких доказательств того, что они были истинными поклонниками Богини. Конечно, среди их предков должны были быть ведьмы, но сами они не обязательно должны были быть ведьмами, в том смысле, какой я вкладываю в это слово. Вероятно, многие из них были набожными христианами.

Тем не менее, я полагаю, что мы можем считать их ведьмами. Нет никаких сомнений в том, что они умерли за нашу свободу. Они отказывались признать себя виновными в совершении преступлений. (Интересно, что ни один человек, признавший себя виновным в колдовстве, не был повешен. Они поклялись и были снова приняты в общество. Нам остается только спросить, были ли те, кто признал свою вину, в самом деле ведьмами или они

признались, чтобы спасти свою жизнь. Ответа на этот вопрос история уже не даст).

Сожжение на кострах
Из книги Д. Фрезера «Золотая ветвь»23

С незапамятных времен в Европе существует обычай, следуя которому крестьяне в определенные дни года разжигают костры, танцуют вокруг них или же через них прыгают. Есть основания отнести эти обычаи к эпохе Средневековья. Но аналогичные обычаи соблюдались и в древности, а это говорит о том, что они своими корнями уходят в дохристианскую эпоху. Действительно, самые первые сведения о существовании этих обычаев в Северной Европе мы черпаем из предпринятых в VIII веке попыток христианских синодов упразднить эти обычаи как языческие. Нередко на этих кострах сжигались чучела людей или инсценировались сожжения живого человека. Есть основания полагать, что в далеком прошлом в таких случаях действительно подвергались сожжению живые люди. Краткий обзор такого рода обычаев выявит существование в них следов человеческих жертвоприношений и одновременно поможет прояснить их смысл.

Чаще всего такого рода костры зажигались весной и в середине лета, но в некоторых местах их зажигали в конце осени или же зимой, особенно в канун Дня всех святых (31 октября), на Рождество и в канун двенадцатого дня. Место не позволяет дать исчерпывающее описание этих праздников, однако несколько примеров помогут составить о них общее представление. Возьмем, хотя бы весенние праздники огня, которые приходятся на первое воскресенье поста, на канун Пасхи и на первое мая.

Обычай жечь костры в первое воскресенье поста получил самое широкое распространение в Бельгии, на севере Франции и во многих частях Германии, Так, в Бельгийских Арденнах в течение одной или двух недель перед так называемым праздником огня дети переходят от одной усадьбы к другой и собирают топливо. В Гранд-Алле дети преследуют тех, кто отказал им в просьбе, и стараются вымазать лицо золой, взятой из потухшего костра. В праздничный день они рубят кустарник, чаще всего ракитник и можжевельник, и вечером зажигают на всех холмах огромные костры. Считается, что, если разжечь семь костров, деревня будет застрахована от пожаров. Если к этому времени река Мез замерзает, костры раскладывают также и на ее льду. В Гранд-Алле в середину костра ставят столб, который называют «ведьма» (makral), разжигает костер мужчина, женившийся последним. В окрестностях Морланвельца сжигают соломенное чучело. Молодые люди вокруг костров танцуют и поют, перепрыгивают через горячие угли, чтобы обеспечить на следующий год хороший урожай, счастливо выйти замуж или жениться, а также чтобы избавиться от коликов в желудке. В Брабанте до начала XIX века в то же самое воскресенье женщины и переодетые в женское платье мужчины с горящими факелами шли в поля, где танцевали и распевали шуточные песни с целью, как они утверждали, изгнания «злого сеятеля», который упоминается в читающемся в этот день отрывке из Евангелия. В Патюраже, в провинции Эно, приблизительно до 1840 года соблюдался обычай под названием Эскувион или Скувион. Каждый год в первое воскресенье поста, которое называлось днем Малого Скувиона, молодежь и дети бегали по садам с зажженными факелами. На бегу они пронзительно кричали: «Несите яблок ц, несите груши, несите все черные вишни Скувиону». При этих словах человек, несущий факел, размахивал им и швырял его в заросли яблоневых, грушевых и вишневых деревьев. Следующий день назывался днем Великого Скувиона, когда тот же самый рейд с горящими факелами среди фруктовых деревьев повторялся после полудня до наступления сумерек.

В департаменте Арденны (Франция) жители всем селением танцевали и пели вокруг костров, которые разжигались в первое воскресенье поста. Костер здесь также зажигался мужчиной или женщиной, последними вступившими в брак. Данный обычай до сих пор широко распространен в этом районе. В этих кострах обычно сжигали кошек; иногда их поджаривали, держа над костром, и, пока они горели, пастухи прогоняли сквозь дым и пламя

свои стада, веря, что это предохранит скот от заболеваний и колдовских чар. Жители некоторых селений верили, что чем оживленнее будет пляска вокруг костра, тем богаче будет в текущем году урожай.

В провинции Франш-Конте (Франция), к западу от Юрских гор, первое воскресенье поста зовется воскресеньем головешек из-за костров, которые обычно разжигаются в этот день. В субботу или в воскресенье деревенские парни впрягаются в телегу и тащат ее по улицам, останавливаясь перед дверями домов, где есть девушки, и выпрашивают вязанку хвороста. Когда набирается достаточное количество топлива, они свозят его в какое-нибудь место около деревни, сваливают в кучу и разжигают костер. Посмотреть на костер собираются все жители села. В некоторых деревнях, когда колокола вызванивали молитву «Angelus», криками «К огню! К огню!» давался сигнал к началу обряда. Парни, девушки и дети танцуют вокруг пламени, а когда костер гаснет, соревнуются в перепрыгивании через угли. Если девушке или парню удается в прыжке не опалить одежду, это значит, что он или она в течение года вступят в брак. Молодежь носит также по улицам или полям зажженные факелы и, проходя мимо фруктовых садов, выкрикивает: «Больше плодов, чем листьев!» Еще недавно в Лавироне, в департаменте Ду, эти костры раскладывали молодожены. В середине костра устанавливался шест с привязанным к верхушке деревянным петухом. Затем устраивались состязания, и в качестве награды победитель получал этого петуха.

В это время года подобные обычаи соблюдались в Германии, в Австрии и в Швейцарии. Так, в Эйфельских горах (Прирейнская область в Пруссии) в первое воскресенье поста молодые люди, переходя из дома в дом, собирали солому и хворост. Свою добычу они вносили на какой-нибудь холм и складывали вокруг высокого тонкого бука, к которому под прямым углом были привязаны в виде креста деревянные бруски. Это сооружение, называемое «хижиной» или «замком», поджигалось. Молодежь с непокрытой головой, держа в руках факелы, ходила вокруг горящего «замка» и громко молилась. Иногда в «хижине» сжигалось соломенное чучело человека. Во время церемонии все следили за направлением дыма от костра. Если его сдувало в сторону полей, это считалось предзнаменованием хорошего урожая. В тот же самый день в некоторых частях Эйфеля из соломы делали большое колесо и с помощью трех лошадей затаскивали его на вершину холма. Деревенские ребята с наступлением сумерек направлялись туда; они поджигали колесо и спускали его вниз по склону. В Оберштадтфельде колесо должен был делать последний из женившихся молодых людей. Около Эхтернаха, в Люксембурге, подобная церемония называется «сожжением ведьмы».

В Форарльберге, в Тироле, в первое воскресенье поста стройную молодую ель окружают грудой соломы и хвороста, к ее вершине привязывается сделанное из тряпок и набитое порохом чучело, которое называется «ведьмой». Ночью это сооружение поджигается; вокруг танцуют мальчики и девочки, размахивая факелами и распевая стихи, в которых есть такие слова: «Зерно – в веялки, плуг – в землю». В Швабии в первое воскресенье поста к шесту привязывают сделанное из старой одежды чучело, называемое «ведьмой», «старой женой» или «бабушкой зимой». Шест этот втыкают в середину груды дров и все это поджигают. Пока «ведьма» горит, молодые люди подбрасывают в воздух горящие диски. Эти тонкие, круглые куски дерева, имеющие в диаметре несколько дюймов, имеют зазубренные края в подражание солнечным или звездным лучам. В середине диска – отверстие, при помощи которого он насаживается на конец палочки. Перед тем как бросить диск в воздух, его поджигают, палочку раскачивают из стороны в сторону, а затем резким движением пускают диск в воздух. Брошенные таким образом огненные диски поднимаются высоко в воздух и, перед тем как достигнут земли, описывают длинную светящуюся дугу. Обугленные остатки от «ведьмы» и дисков приносят домой и той же самой ночью закапывают в поля, засеянные льном, так как, по мнению жителей, это оберегает посевы от вредителей. В Ренских горах, расположенных на границе Гессена и Баварии, в первое воскресенье поста жители обычно отправляются на вершину холма. Парни и ребятишки несут факелы, ветки, обмазанные смолой, и обвязанные соломой шесты. Затем заранее

приготовленное колесо поджигают и спускают с холма, а молодые люди бегут в поля с горящими факелами и вениками, которые через некоторое время сбрасывают в кучу, и молодежь, стоя вокруг нее, поет гимн или народную песню. Бегая по полям с зажженными факелами, люди стремились «изгнать злого сеятеля». Или же это делалось в честь девы Марии, чтобы она уберегла и благословила урожай. У жителей деревень по соседству с Гессеном, между Ренскими и Фогельскими горами, бытует поверье, что поля, по которым прокатилось горящее колесо, будут защищены от бурь и града.

От этих костров, зажигаемых в первое воскресенье поста, по-видимому, нелегко отличить костры, на которых в это же самое время сжигается изображение так называемой Смерти, что является частью церемонии «выноса Смерти». Мы видели, как в Шпахендорфе, в Австрийской Силезии, утром в День святого Руперта (то есть во вторник на масленой неделе) соломенное чучело, одетое в меховое пальто и шапку, кладется за деревней в яму и сжигается. Пока чучело горит, каждый старается заполучить кусок от негоже тем чтобы потом привязать его к ветке самого высокого дерева в своем саду или закопать в полях, так как существует поверье, что это приносит хороший урожай. Этот обряд называется «погребением Смерти». Даже когда соломенное чучело не прозывается Смертью, смысл этого обычая, по-видимому, остается тем же, так как само это имя, как я уже пытался показать, не выражает первоначальный смысл указанного обряда. В Коберне, в Эйфельских горах, соломенное чучело изготовляется парнями во вторник на масленой неделе. Над чучелом по всей форме устраивают суд, оно обвиняется во всех кражах, совершенных в округе в течение года. Приговоренного к смерти соломенного человека носят по деревне, после чего расстреливают и сжигают на костре. Все пляшут вокруг костра, а женщина, последней вышедшая замуж, должна через него перепрыгнуть.

В Ольденбурге вечером в масленичный вторник было принято изготовлять длинные связки соломы, которые затем поджигались. Люди, размахивая зажженными вязанками, с визгом и непристойными песнями бегали по полям. После этого в поле сжигали соломенное чучело. В районе Дюссельдорфа соломенный человек, сжигаемый во вторник на масленой неделе, изготовлялся из необмолоченного снопа. В первый понедельник после весеннего равноденствия цюрихские мальчики таскают по улицам в маленькой тележке соломенное чучело, в то время как девочки носят Майское дерево. Чучело сжигают, когда колокола звонят к вечерне. В пепельную среду24 в Аахене какого-нибудь человека обычно обматывали стеблями гороха и относили на определенное место, откуда он незаметно исчезал. Сжигалась его гороховая оболочка, а дети воображали, что сгорел сам человек.

* * *

Праздники огня справляются также в канун Пасхи, то есть в Страстную субботу, предшествующую первому дню Пасхи. В этот день в католических странах было принято гасить в церквах все огни, а затем зажигать их вновь при помощи кремня и стали, а иногда – увеличительного стекла. От этого огня зажигается большая пасхальная свеча, от которой затем зажигают свечи в церквах. Во многих частях Германии от «нового огня» зажигается костер на каком-нибудь открытом месте около церкви. К этому освященному костру приносят ветки дуба, орешника и бука, которые обжигают на костре, а затем уносят к себе домой. Некоторые из этих обугленных веток селяне сжигают дома в только что разожженном огне с молитвой о предохранении усадьбы от пожара, молнии и града. Каждый дом получает, таким образом, «новый огонь». Многие сохраняют ветки в течение всего года и, чтобы защитить дом от удара молнии, сжигают в очаге во время сильных гроз. Иногда их с той же целью помещают на крышу. Другие ветки относят в поля, сады и луга, молясь при этом, чтобы бог защитил их от паразитов и града. Считается, что такие поля и сады будут плодоносить лучше других; хлеб и другие растения в этих полях и садах не будут побиты градом, изгрызены мышами, вредителями; им не будет страшна никакая ведьма и хлебные колосья будут сгибаться под тяжестью зерна. Эти обугленные ветки прикладываются также к

плугу. Пепел пасхального костра вместе с пеплом освященной вербы во время сева подмешивают к зерну.

Жители Верхней Франконии, около Форгейма, сжигают в пасхальную субботу соломенное чучело, прозываемое Иудой. Вся деревня приносила хворост для этого костра; обуглившиеся на этом костре палки сохраняли и в День святой Вальпургии (первое мая) закапывали в полях, чтобы предохранить пшеницу от насекомых-паразитов. Приблизительно сто или более лет тому назад в Альтгеннеберге, в Верхней Баварии, существовал следующий обычай. В полдень в пасхальную субботу парни собирали хворост и складывали его в поле, в середине кучи они устанавливали высокий деревянный крест, обмотанный соломой. После вечерней службы они зажигали от освященной церковной свечи свои фонари и, стараясь перегнать друг друга, мчались с ними к костру. Прибежавший первым человек разжигал костер. Ни одна женщина или девушка не должна была приближаться к костру, но им разрешалось наблюдать его с некоторого расстояния. Когда пламя разгоралось, мужчины и парни предавались безудержному веселью, выкрикивая слова: «Мы сжигаем Иуду!» Тот, кто первым достигал костра и зажигал его, в первый день Пасхи получал награду: у ворот церкви женщины давали ему крашеные яйца. Смысл всей этой церемонии сводился к тому, чтобы предотвратить град.

В других деревнях Верхней Баварии обряд, совершавшийся в пасхальную субботу между девятью и десятью часами вечера, назывался «сожжением пасхального человека». На возвышенности приблизительно в одной миле от деревни молодые ребята устанавливали высокий обмотанный соломой крест, чем-то напоминающий человека с распростертыми руками. Это и был пасхальный человек. Ни один парень моложе восемнадцати лет не имел права участвовать в этой церемонии. Рядом с пасхальным человеком, держа в руке освященную тонкую свечку, которую он приносил из церкви, располагался один из молодых людей. Остальные обступали крест, образуя круг. По первому сигналу они трижды пробегали по кругу; когда же давался второй сигнал, они бросались прямо к кресту и к парню с зажженной свечой. Тот, кто первым достигал цели, имел право поджечь пасхального человека. Его сожжение сопровождалось ликованием. Когда пламя угасало, выбирали трех парней, каждый из которых с помощью палки трижды очерчивал на земле круг вокруг пепелища. Затем все они удалялись. В пасхальный понедельник жители собирали пепел и разбрасывали его по полям; кроме того, они закапывали в полях ветки вербы, освященные в Вербное воскресенье, и обуглившиеся палки, освященные в Страстную пятницу. Все это делалось с целью защиты полей от града. В некоторых частях Швабии пасхальные костры нельзя было зажигать при помощи железа, стали или кремня. Зажигали их исключительно трением деревянных брусков.

Обычай зажжения пасхальных костров был, по-видимому, распространен по всей Средней и Западной Германии. Этот обычай мы застаем также в Голландии, где на самых высоких холмах разжигались костры, вокруг которых устраивались танцы и через которые прыгали. Так же как и в Германии, хворост для костра здесь собирали молодые люди, переходя от одного дома к другому. Во многих частях Швеции в канун Пасхи стреляют из огнестрельного оружия, а на холмах и возвышенностях зажигают огромные костры. Существует предположение, что таким образом люди надеются нейтрализовать тролля и другие дьявольские силы, которые особенно активизируются в этот период.

****

На Северо-Шотландском нагорье некогда зажигались первомайские огни, известные под названием огней Бельтана. Их зажжение сопровождалось пышной церемонией, в которой без труда можно, было разглядеть следы человеческих жертвоприношений. В некоторых местах этот обычай просуществовал до конца XVIII века. Как и другие публичные жреческие культы, праздник Бельтана, по-видимому, справлялся на холмах и возвышенностях. Для того, чьим храмом была вся Вселенная, считалось унизительным

поселиться в доме, построенном человеческими руками. Поэтому жертвы приносились на открытом воздухе, часто на вершинах холмов, на фоне величественнейших пейзажей, в непосредственной близости от источника тепла и покоя.

За ночь до этого тушили все без исключения огни в округе и на следующее утро готовили топливо для священного огня. По-видимому, наиболее примитивным методом пользовались жители островов Скай, Мулл и Тири. Добывалась хорошо просушенная дубовая доска, посередине которой просверливалось отверстие. Затем брали сделанное из того же дерева сверло, конец которого прилаживали к отверстию. В некоторых местах три раза повернуть сверло должны были три человека, в других для того, чтобы повернуть его три раза, требовалось девять человек. Если кто-нибудь из них был повинен в убийстве, прелюбодеянии, краже или в каком-нибудь другом тяжком преступлении, считалось, что огонь не загорится или не будет обладать должными свойствами. Как только от сильного трения появлялся огонь, к нему подносили растущий на березах легко воспламеняющийся пластинчатый гриб. Предполагалось, что огонь этот послан с неба, вследствие чего ему приписывали разного рода полезные свойства. Считалось, что он предохраняет от козней ведьм, служит наилучшим средством против злокачественных заболеваний как у людей, так и у скота, что с его помощью будто бы можно обезвредить самый сильнодействующий яд.

Разложив с помощью добытого трением огня костер, участники обряда готовили на нем себе пищу. Покончив с едой, развлекались вокруг костра пением и танцами. Под конец человек, назначенный на пиру распорядителем, доставал большой пирог с зазубренными краями, испеченный из яиц и называемый пирогом Бельтана. Его разрезали на куски и церемонно раздавали присутствующим. Один из этих кусков был особый, потому что того, кому он доставался, прозывали «бельтановым чертом». Быть чертом считалось великим позором. Когда такой человек брал кусок в руки, часть присутствующих бросалась на него и делала вид, будто хочет швырнуть его в огонь, но тут вмешивались остальные и беднягу спасали. В некоторых местах этого человека клали на землю, как бы собираясь его четвертовать, после чего его забрасывали яичной скорлупой. Обидное прозвище оставалось за таким человеком на весь год. И пока люди хранили воспоминание об этом празднестве, они говорили о «бельтановом черте» как о мертвеце.

На северо-востоке Шотландии огни Бельтана зажигались еще во второй половине XVIII века. Местные пастухи собирали хворост, поджигали его и трижды в пляске обходили горящую кучу. Однако, если верить более позднему источнику, огни Бельтана зажигались в этой местности не первого, а второго мая по старому стилю. Назывались они огнями скелетов (bonefire). Существовало поверье, что этой ночью ведьмы выходят из своих жилищ и занимаются тем, что наводят порчу на скот и крадут коровье молоко. Чтобы им помешать, у дверей коровника раскладывали веточки жимолости, а еще чаще рябины, и каждый владелец усадьбы и батрак зажигал огни. В одну кучу сваливали старую солому, дрок или ракитник и вскоре после заката солнца все это поджигали. Одни ворошили горящую массу, а другие поднимали на вилы или багры пучки соломы и, держа вилы как можно выше, бегали взад-вперед. В это же самое время молодежь танцевала вокруг огня или пробегала сквозь дым с криками: «Огонь! Сожги ведьм! Огонь! Огонь! Сожги ведьм!» В некоторых местах по пеплу прокатывали большой круглый пирог из овсяной и ячменной муки. Когда хворост прогорал, пепел костра разбрасывали как можно дальше и до глубокой ночи продолжали бегать вокруг углей, выкрикивая: «Огонь! Сожги ведьм!»

Огни Бельтана зажигались, по-видимому, и в Ирландии. Кормак «или кто-то другой, носящий то же имя, сообщает, что первое мая (belltaine) получило свое название от «счастливого огня» или от «двух огней», которые друиды Эрина (Ирландии) обычно зажигали в этот день со страшными заклинаниями. Подведя скот к этим огням, прибавляет он, его прогоняли между кострами в надежде, что это на год защитит его от болезней». Обычай в канун первого мая иди на первое мая прогонять скот через костры или между ними оставался в силе еще при жизни нынешнего поколения.

В большинстве областей Центральной и Южной Швеции на первое мая устраивается

большой народный праздник. В канун праздника на всех холмах и возвышенностях пылают огромные костры, которые должны были зажигаться при помощи кремня. В каждом мало-мальски большом селении жители раскладывают отдельный костер, вокруг которого водит хороводы молодежь. Пожилые люди наблюдают за тем, в какую сторону сдувает пламя – к югу или к северу. В первом случае весна будет ранней и мягкой, во втором – холодной и поздней. В Богемии в канун первого мая молодежь зажигает на холмах и возвышенностях, на перепутьях и пастбищах огни и танцует вокруг них. Молодые люди прыгают через тлеющие угли или через пламя костра. Этот обычай называется «сожжением ведьм». В некоторых местах на костре сжигается чучело ведьмы. Следует помнить, что на канун первого мая приходится пользующаяся дурной славой Вальпургиева ночь, когда в воздухе невидимо кружат ведьмы. В Фойгтланде в эту ведьмовскую ночь дети раскладывают на возвышенностях костры и прыгают через них; они также размахивают пылающими ветками ракитника или подбрасывают их в воздух. Считается, что, если на поля упадет отблеск костра, они будут плодородными. Ритуал разжигания огней в Вальпургиеву ночь носит название «изгнания ведьм». Совершаемый в Вальпургиеву ночь обряд сожжения ведьм широко распространен или был распространен в Тироле, Моравии, Саксонии и Силезии.

*** * ***

Предшествующий обзор народных праздников огня в Европе нуждается в нескольких общих замечаниях. Прежде всего, не может не поразить сходство, существующее между всеми этими обрядами, в какое бы время года и в какой бы части Европы они ни совершались. Современные исследователи дали два различных объяснения праздникам огня. С одной стороны, утверждалось, что это – солнечные чары или магические церемонии, призванные по принципу имитативной магии обеспечить необходимый запас солнечного света для людей, животных и растений путем устройства на земле костров в подражание великому источнику света и тепла в небе. Такова, в частности, точка зрения В. Маннхардта, которую можно назвать солярной теорией. С другой стороны, было установлено, что эти ритуальные огни не имеют обязательного отношения к солнцу и являются просто-напросто кострами, цель которых – сжечь и уничтожить всякое вредное влияние, исходит ли оно от одушевленных существ (ведьм, демонов и монстров) или же выступает в безличной форме – как своего рода распространяющаяся по воздуху зараза. Таково мнение доктора Эдварда Вестермарка и, кажется, профессора Евгения Монгка. Это мнение можно назвать очистительной теорией. Теории эти явно исходят из двух совершенно различных представлений об огне, который играет основную роль в этих ритуалах. Согласно одной точке зрения, огонь, как и солнечный свет в наших широтах, является созидающей силой, которая благоприятствует росту растений и развитию всего живого. Согласно другой теории, огонь является могучей разрушительной силой, которая истребляет все вредные элементы материального и духовного порядка, угрожающие жизни людей, животных и растений. Согласно одной теории, огонь является стимулятором, согласно другой – своеобразным дезинфицирующим средством. По одной теории, он обладает позитивными свойствами, по другой – негативными.

В рассматриваемых нами праздниках обычай зажигать костры обычно ассоциируется с обычаем носить зажженные факелы по полям, виноградникам, пастбищам и загонам для скота. Вряд ли можно сомневаться, что оба эти обычая являются не более как двумя различными путями достижения одной цели, а именно получения выгод, которые якобы огонь – будь он неподвижным или же переносным – приносит с собой. Следовательно, если мы примем солярную теорию, то будем вынуждены распространить ее и на факелы. Нам придется предположить, что хождение или бег с горящими факелами в сельской местности есть просто средство максимального распространения благотворного влияния солнечного света, слабой имитацией которого являются мерцающие огни. В пользу этого взгляда говорит и то, что иногда факелы носят по полям с явной целью сделать их

высокоурожайными; с тем же намерением тлеющие угли из костров иногда разбрасывают на полях, чтобы оградить их от вредителей. В Нормандии в канун Крещения мужчины, женщины и дети бегали по полям и виноградникам, держа в руках зажженные факелы, которыми они размахивали перед ветками и ударяли по стволам фруктовых деревьев, для того чтобы сжечь лишайник и изгнать моль и полевых мышей. Они верили, что эта церемония преследует две цели: заклинание паразитов, чье размножение было реальным бедствием, и повышение плодоносности деревьев, полей и даже скота. Верили, что, чем дольше эта церемония длилась, тем обильней следующей осенью должен быть урожай. В Богемии говорят, что чем выше удастся подбросить в воздух метлу, тем выше поднимутся хлеба.

Подобного рода верования имеют хождение не только в Европе. В Корее за несколько дней до новогоднего праздника дворцовые евнухи, распевая заклинания, размахивают зажженными факелами. Предполагается, что это обеспечит в следующем году отличный урожай. Обычай, соблюдаемый в Пуату, катать по полям горящее колесо с целью оплодотворения полей, по-видимому, имеет в своей основе ту же самую идею, но в еще более выпуклой форме, так как в этом случае по земле, испытывающей на себе его благодатное влияние, должно пройти само мнимое солнце, а не просто его свет и тепло, олицетворенное факелами. Кроме того, обычай ходить вокруг скота с горящими головнями ничем не отличается от обычая прогонять сквозь огонь животных, и если костер представляет собой солнечные чары, тем же целям должны служить и факелы.

Итак, мы всесторонне рассмотрели аргументы в пользу солярной теории, утверждающей, что на европейских праздниках огня костер раскладывался как магическое средство обеспечить солнечным теплом и светом человека, животный мир, посевы и плоды. Остается рассмотреть противоречащие этой теории аргументы в пользу гипотезы, утверждающей, что огонь в этих обрядах выполняет не столько созидательную, сколько очистительную функцию, сжигая и истребляя вредные отбросы материального или духовного свойства, которые угрожают всем живым существам болезнями и смертью…

Хотя использование огня с целью магического воздействия на обилие солнечного света является, по-видимому, неоспоримым, тем не менее, пытаясь объяснить народные обычаи, мы никогда не должны прибегать к помощи теории более сложной при наличии более простой теории, поддерживаемой к тому же недвусмысленными свидетельствами соблюдающих эти обычаи людей. Так вот, что касается праздников огня, люди вновь и вновь обращают внимание на разрушительную силу пламени, и, что весьма знаменательно, великим злом, против которого используется эта сила, являются, по-видимому, колдовские чары ведьм. Мы располагаем многочисленными данными о том, что ритуальные огни предназначались для того, чтобы сжигать или отгонять ведьм (иногда это выражалось в сожжении на костре чучела ведьмы). Если вспомнить, что страх перед ведьмами имел огромную власть над сознанием европейцев во все времена, то можно выдвинуть предположение, что первичным предназначением всех этих празднеств было уничтожение или, как минимум, изгнание ведьм, в кознях которых видели причину чуть ли не всех бедствий и напастей, обрушивающихся на людей, скот и посевы.

Впрочем, славяне раскладывали огни бедствия, по-видимому, для борьбы не столько с настоящими ведьмами, сколько с вампирами и другими дьявольскими порождениями, причем делалось это, скорее, с целью отогнать эти зловредные существа, чем активно их уничтожить в пламени. Однако для нас в настоящий момент эти различия несущественны. Важно здесь то, что огонь бедствия – этот возможный прообраз всех церемониальных огней, занимающих наше внимание, – не является для славян солнечными чарами; его безошибочно можно отнести к числу средств защиты человека и животного от нападок вредоносных существ: крестьянин надеется, что пламя костра сожжет или отпугнет их, как оно отпугивает диких животных.

Более того, существует поверье, будто такого рода костры защищают поля от града, а усадьбу – от грома и молнии. Однако, так как причинами града и грозовых бурь нередко

считаются ведьмы, огонь, который отгоняет ведьм, с необходимостью в то же время служит талисманом от града, грома и молнии. Более того, головни, взятые из костров, часто хранили в домах с целью защиты их от пожара, и хотя делалось это, вероятно, по принципу гомеопатической магии, то есть считалось, что один огонь служит защитой против другого огня, целью этого обычая, по-видимому, было отпугивание поджигательниц-ведьм. Кроме того, люди прыгают через костер, чтобы предохранить себя от колик, и пристально смотрят на огонь, чтобы гарантировать себя от глазных болезней. В Германии, а может быть, и в других странах колики и воспаление глаз относят за счет ведьмовских проделок. Немцы называют такие боли ведьмовскими прострелами и приписывают их колдовству. Кроме того, предполагается, что перепрыгиванье через костры или хождение вокруг них в День святого Иоанна предохраняет от болей в пояснице во время жатвы.

Если рассматривать костры и факелы, используемые на праздниках огня, прежде всего как оружие, направленное против ведьм и колдунов, такое же объяснение применительно не только к бросаемым в воздух горящим дискам, но и к горящим колесам, которые в таких случаях скатывают с холма. Можно предположить, что диски и колеса также предназначались для сожжения ведьм, которые невидимо парят в воздухе или незамеченными проникают в поля, сады и виноградники на склонах холмов. Действительно, принято полагать, что ведьмы летают по воздуху верхом на метлах или на других диковинных предметах. А если это так, то можно ли угодить в летящих в темноте ведьм метанием таких пылающих снарядов, как диски, факелы или метлы? Крестьянин из южных славян верит, что ведьмы передвигаются на грозовых, готовых разразиться градом тучах, поэтому-то, чтобы сбить их оттуда, он стреляет по облакам и при этом заклинает колдуний: «Будь проклята, проклята Иродиада, твоя мать-язычница, проклятая Богом и скованная кровью Спасителя». Кроме того, он выносит горшок с тлеющими углями, в который, для того чтобы вызвать дым, брошено священное масло, лавровые листья и полынь. Считается, что пары поднимаются до облаков и пораженные ими ведьмы падают на землю. Для того чтобы их приземление было не мягким, а как можно более болезненным, крестьянин поспешно выносит стул и переворачивает его ножками вверх, так, чтобы при падении ведьма сломала о них ноги; для пущей острастки он раскладывает на земле вверх острием косы, садовые ножницы и другое грозное оружие, для того чтобы с его помощью порезать и искалечить злосчастных ведьм, когда они внезапно свалятся с облаков.

* * *

Нам остается еще выяснить смысл сожжения чучел на этих праздниках. В свете проведенного исследования ответ на этот вопрос представляется очевидным. Так как часто утверждают, что интересующие нас костры зажигаются для сожжения ведьм и сжигаемое на них чучело иногда прямо называется «ведьмой», мы, естественно, должны прийти к выводу, что все чучела, сжигаемые при подобных обстоятельствах, изображают ведьм или колдунов и что обычай их сожжения заменяет собой сожжение живых ведьм и колдунов, так как, согласно принципу гомеопатической, или имитативной, магии, уничтожив чучело ведьмы, вы уничтожаете и ее саму. Такое объяснение сожжения соломенных чучел в человеческом облике является, по-видимому, наиболее правдоподобным.

Однако в некоторых случаях данное объяснение, видимо, не подходит, и факты допускают – и даже требуют – иной интерпретации. Ибо, как я уже отмечал, сжигаемые подобным образом чучела с трудом можно отличить от изображений Смерти, которые весной сжигаются на кострах или уничтожаются каким-нибудь иным образом. У нас имеются основания рассматривать так называемые изображения Смерти как подлинные олицетворения духа дерева или духа растительности. Возможно ли дать подобное же истолкование другим изображениям, сжигаемым на кострах, раскладываемых весной, и на кострах, зажигаемых в день летнего солнцестояния? По-видимому, возможно. Ибо точно так же, как останки так называемой Смерти закапывали в полях, чтобы вызвать бурный рост

посевов, так и золу сожженного на весенних кострах чучела иногда разбрасывали по полям, веря, что это предохранит посевы от вредителей. Истинная природа этого чучела, олицетворявшего благодатный дух растительности, в иных случаях предавалась забвению. И это понятно, обычай предания огню благодетельного бога слишком чужд для сознания людей позднейших эпох, чтобы не стать предметом неверного истолкования. Вполне естественно, что люди, которые продолжали сжигать олицетворение этого бога, одновременно отождествляли его с образами людей, к которым они по разным причинам питали неприязнь, например с Иудой Искариотом, Лютером или с ведьмами.

Как уже отмечалось, в народных обычаях, связанных с праздниками огня, есть черты, указывающие, по-видимому, на существование в Европе в прежние времена практики человеческих жертвоприношений. Теперь мы имеем все основания предположить, что в Европе живые люди часто играли роль олицетворений духа дерева и духа хлеба и в этом качестве предавались смерти. Да и почему бы не сжигать их, если таким путем предполагалось получить особые выгоды? Первобытные люди вовсе не принимали в соображение человеческое страдание. В рассматриваемых нами праздниках огня инсценировка сожжения людей заходит иногда так далеко, что есть, по-видимому, основания рассматривать ее как пережиток более древнего обычая, требовавшего их действительного сожжения. Так, в Аахене, как мы видели, человек, обвитый гороховой соломой, разыгрывает свою роль столь искусно, что детям кажется, что он действительно сгорает. В Жюмьеже, в Нормандии, человек, получивший титул Зеленого Волка, одевался во все зеленое. Его товарищи преследовали его, а поймав, делали вид, что бросают его в костер. Точно так же в Шотландии при устройстве Бельтановых огней хватали предполагаемую жертву и притворялись, что бросают ее в пламя. В течение некоторого времени после этого люди говорили о таком человеке как о мертвеце. В Эксе избираемый на год Король, который отплясывал вокруг костра первый танец, в прежние времена, вероятно, исполнял менее приятную обязанность, служа топливом для костра (впоследствии он ограничивался тем, что зажигал его). Маннхардт, возможно, прав, обнаруживая следы древнего обычая в сожжении покрытого листьями олицетворения духа растительности. В Вольфеке, в Австрии, в день летнего солнцестояния парень, с головы до ног покрытый зелеными еловыми ветками, переходит из дома в дом в сопровождении шумливой компании, собирая дрова для костра. Принимая дрова, он поет:

Деревьев хочу я лесных.
Не кислого молока,
А пива мне и вина,
Чтоб весел был брат лесной.

В некоторых районах Баварии мальчики, которые ходят из дома в дом, собирая топливо для костра, обертывают одного из своих товарищей с ног до головы зелеными еловыми ветками и на веревке водят его по всей деревне.

* * *

В некоторых случаях участники обрядов заходят, впрочем, еще дальше. Как мы убедились выше, наиболее явные следы человеческих жертв, приносимых в таких случаях, можно найти в церемониях, которые еще доживали свой век в виде Бельтановых огней приблизительно сто лет тому назад в Ирландии и Шотландии, то есть у кельтских народов, живших в этом отдаленном уголке Европы, почти полностью изолированных от внешнего мира и вследствие этого сохранивших свои древние языческие обычаи лучше, чем любой другой западноевропейский народ.

Знаменательно – и мы можем с уверенностью это утверждать, – что кельты систематически сжигали приносимых в жертву людей на кострах. Первое описание этих

жертвоприношений оставил нам Юлий Цезарь. Завоеватель независимых прежде кельтских племен, или галлов. Цезарь имел широкую возможность наблюдать национальную кельтскую религию и обычаи в период, когда те находились в первозданном виде и не подвергались еще нивелирующему влиянию римской цивилизации. Цезарь, по-видимому, включил в свои записки наблюдения греческого исследователя Посидония25, который путешествовал по Галлии приблизительно за 50 лет до того, как Цезарь довел римские легионы до Английского пролива. Греческий географ Страбон26, вероятно, также почерпнул описания кельтских жертвоприношений из труда Посидония, но сделал это независимо от Цезаря. Объединив их, мы можем с некоторой долей достоверности восстановить первоначальное сообщение Посидония и составить, таким образом, детальное представление о жертвоприношениях, совершавшихся галльскими кельтами в конце II века до нашей эры.

Основные черты этого обычая, по-видимому, таковы. Для великого праздника, который проходил один раз в пять лет, кельты сохраняли жизнь осужденным на смерть преступникам, чтобы принести их в жертву богам. Считалось, что чем больше будет подобных жертв, тем плодородней будет земля. Если для жертвоприношений не хватало преступников, для этой цели использовали людей, захваченных в плен на войне. Когда наступало время праздника, друиды, галльские жрецы, приносили этих людей в жертву. Одних убивали с помощью стрел, других сажали на кол, третьих сжигали живьем следующим образом: из веток и травы сооружались огромные плетеные чучела, в которые помещали живых людей и различных животных; затем эти чучела поджигали, и они сгорали вместе со всем содержимым.

Такие грандиозные праздники устраивались один раз в пять лет. Но кроме этих праздников, справлявшихся с таким размахом и сопровождавшихся истреблением многих человеческих жизней, существовали, по-видимому, более скромные праздники подобного рода, которые справляли ежегодно. Именно от этих ежегодных празднеств по прямой линии произошли, по крайней мере, некоторые из праздников огня со следами человеческих жертвоприношений, которые до сих пор год за годом справляют во многих областях Европы. Гигантские изображения, сооруженные из ивняка и покрытые травой, – в них друиды заключали приносимые жертвы – напоминают лиственный наряд, в который по сей день нередко облачают человека, олицетворяющего дух дерева. Исходя из представления о том, что плодородие почвы находится в прямой зависимости от правильного исполнения этих жертвоприношений, Маннхардт истолковал кельтские жертвы, облаченные в ивовые прутья и траву, как представителей духа дерева или духа растительности.

До самого последнего времени, а может быть, и до наших дней потомки этих гигантских плетеных сооружений друидов фигурировали на весенних и летних празднествах в современной Европе. В Дуэ до начала XIX века в ближайшее от 7 июля воскресенье ежегодно устраивалась процессия. Отличительной чертой процессии была сделанная из ивняка колоссальных размеров – приблизительно 20–30 футов – фигура-гигант. По улицам ее передвигали при помощи катков и веревок, приводимых в движение людьми, спрятанными внутри чучела. Фигура была вооружена, как рыцарь, копьем, мечом, шлемом и щитом. За гигантом шагали его жена и трое детей, сооруженные из прутьев ивы по тому же принципу, но поменьше.

В городе Дюнкерке шествие гигантов устраивалось в день летнего солнцестояния (24 июня). Этот праздник, известный под названием «дюнкеркские причуды», привлекал множество зрителей. Гигант представлял собой огромное плетеное чучело чуть ли не 45 футов высотой, одетое в длинную голубую мантию с золотыми лентами, ниспадающими до земли. Внутри чучела находилось с дюжину или более людей, которые заставляли его танцевать и кивать зрителям головой. Это колоссальных размеров чучело носило имя папаши Рейсса и несло в кармане младенца прямо-таки гигантской величины. Шествие замыкала дочь великана, сплетенная из тех же ивовых прутьев, что и ее отец, но чуть-чуть меньше размером.

Большинство городов и даже селений в Брабанте и Фландрии имеют или имели таких же плетеных великанов. Их ежегодно водили по улицам, к радости простого люда, который

любил эти гротескные фигуры, говорил о них с патриотическим воодушевлением и никогда не уставал на них глазеть. В городе Антверпене гигант был столь велик, что не было достаточно больших ворот, в которые он мог бы выйти. Поэтому он был лишен возможности посещать своих собратьев-великанов в соседних городах, как это делали в торжественных случаях другие бельгийские великаны.

В Англии такие великаны были, по-видимому, постоянными спутниками празднования летнего солнцестояния. Один автор XVI столетия пишет о «пышных процессиях в день летнего солнцестояния, во время которых, для того чтобы удивить народ, показывают огромных и ужасных великанов, вооруженных с ног до головы, вышагивающих, как живые, набитых изнутри коричневой бумагой и паклей; заглянув внутрь, хитрые мальчишки выведывают эту его тайну, после чего великана поднимают на смех». Во время ежегодных торжественных процессий, имевших место в канун летнего солнцестояния в Честере, наряду с животными и другими персонажами можно было видеть чучела четырех великанов. В Ковентри рядом с великаном, по-видимому, шагала его жена. В Берфорде, графстве Оксфорд, канун летнего солнцестояния обычно отмечался очень весело: при этом по городу взад и вперед таскали великана и дракона. Последний из породы передвигающихся английских великанов доживал свой век в Солсбери, где один антиквар нашел его полуистлевшие останки в заброшенном зале компании Тэйлора приблизительно в 1844 году. Его каркас состоял из планок и обруча и был похож на тот, который обычно носил в день первого мая «Джек-в-Зеленом».

В приведенных примерах великаны служили просто украшением процессии. Но иногда их сжигали на летних кострах. Так, обитатели Медвежьей улицы в Париже ежегодно изготовляли огромного плетеного великана и одевали его в солдатскую форму. В течение нескольких дней он расхаживал по улицам, а 3 июля его торжественно сжигали. Толпа зрителей пела при этом гимн Salve Regina. Человек, носивший титул Короля, с зажженным факелом в руке председательствовал на церемонии. Горящие останки великана разбрасывались среди толпы, в которой за каждый из этих клочков шла жестокая схватка. Этот обычай был отменен в 1743 году. В Ври, Иль-де-Франс, ежегодно в канун летнего солнцестояния жители сжигали плетеного великана 18 футов ростом.

Соблюдавшийся друидами обычай сжигать живьем животных, помещенных в плетеные сооружения, имеет также свою параллель в весенних и летних праздниках. В Люшоне, в Пиренеях, в канун летнего солнцестояния «полая колонна приблизительно в 60 футов высотой, сооруженная из прочного ивняка, возвышается в центре главного предместья. Она до самой вершины оплетена зеленой листвой, а у ее подножия, образуя нечто вроде фона, искусно расположены прекрасные цветы и кустарники. Изнутри колония заполнена горючими веществами, готовыми тотчас воспламениться. В назначенный час, приблизительное 8 часов вечера, торжественное шествие, состоящее из местного духовенства, сопровождаемого молодыми людьми и девушками в праздничных одеждах, распевая гимны, выходит из города и располагается вокруг колонны. В это самое время, являя великолепное зрелище, вспыхивают костры на соседних холмах. Вслед за этим в колонну бросают такое количество живых змей, какое только удалось поймать. И, наконец, ее поджигают у основания при помощи факелов, которыми вооружены приблизительно полсотни неистово танцующих вокруг нее мальчиков и мужчин. Чтобы спастись от огня, змеи поднимаются до самой вершины колонны, где, выползши из нее, они некоторое время удерживаются почти горизонтально, пока наконец не падают вниз. Борьба несчастных пресмыкающихся за жизнь вызывает большое воодушевление у присутствующих. Таково любимое зрелище жителей Люшона и его пригородов. Местное предание приписывает ему языческое происхождение».

В былые времена в день летнего солнцестояния на кострах, устраивавшихся на Гревской площади в Париже, было в обычае сжигать живых кошек в корзинах, бочках или мешках, которые свисали с высокой мачты, установленной в середине костра. Иногда сжигали лисицу. Угли и золу от костра парижане собирали и уносили по домам, веря, что это

приносит счастье. Французские короли часто присутствовали на этих зрелищах и даже собственноручно зажигали эти костры. В 1648 году Людовик XIV, увенчанный венком из роз, с букетом роз в руках танцевал вокруг зажженного им костра, а потом принял участие в банкете, устроенном в городской ратуше. Однако это был последний случай, когда монарх самолично председательствовал на празднике огня в Париже в день летнего солнцестояния.

В Меце летние костры зажигались с большой пышностью на открытом ровном месте. К удовольствию собравшихся, в них сжигали дюжину живых кошек, заключенных в плетеные клетки. Так же и в Гапе, в районе высоких Альп, на костре летнего солнцестояния жители имели обыкновение поджаривать кошек. В России в летнем костре иногда сжигали белого петуха, а в Мейсене, в Тюрингии, туда бросали лошадиную голову. Иногда животных сжигали на кострах, раскладываемых весной. В Вогезах во вторник на масленой неделе сжигали кошек, в Эльзасе их бросали в пасхальный костер. В Арденнах кошек бросали в костры, зажигавшиеся в первое воскресенье поста.

Существовал и более утонченно-жестокий обычай, по которому кошек подвешивали над костром на конце шеста и поджаривали живьем. Пока эти несчастные создания поджаривались на огне, пастухи, заботясь о сохранности своих стад, заставляли скот прыгать через огонь, что считалось надежным средством против болезней и козней ведьм. Иногда на пасхальном костре сжигали белок.

* * *

Итак, мы видим, что жертвенные обычаи кельтов древней Галлии можно проследить на примере современных народных праздников в Европе. Остается еще вопрос о смысле подобных жертвоприношений. Почему во время праздников сжигались животные и люди? Если мы правы, интерпретируя современные европейские праздники огня как попытку нейтрализовать колдовские чары при помощи сожжения или изгнания ведьм и колдунов, то нельзя ли таким же образом объяснить и человеческие жертвоприношения у кельтов? По-видимому, мы должны предположить, что люди, которых друиды сжигали в плетеных чучелах, были приговорены к смерти на том основании, что их считали ведьмами и колдунами, и этот способ казни был выбран для них потому, что сожжение заживо считалось самым надежным способом избавиться от вредоносных и опасных существ.

То же объяснение было, видимо, приложимо к скоту и диким животным, которых кельты сжигали на кострах вместе с людьми. Мы можем догадываться, что они также считались подпавшими под чары колдовства или же были настоящими ведьмами и колдунами, которые превратились в животных для выполнения своих дьявольских замыслов, направленных против благополучия рода человеческого. Эта догадка подтверждается тем фактом, что животными, чаще всего сжигаемыми на кострах в новое время, были кошки. Считалось, что именно в кошек (и еще в зайцев) наиболее часто превращаются ведьмы. Мы видели также, что иногда на кострах сжигают змей и лисиц. Валлийские и немецкие ведьмы, по имеющимся сведениям, превращаются как в лисиц, так и в змей.

Короче говоря, стоит нам припомнить великое множество животных, в которых по своей прихоти превращаются ведьмы, и мы без труда уясним себе, почему как в Древней Галлии, так и в современной Европе сжигали в праздники такое большое число разных животных. Мы можем предположить, что все эти животные были обречены на сожжение не потому, что они животные, а потому что ведьмы в своих низменных целях превратились в этих животных.

Преимущество подобного объяснения древних кельтских жертвоприношений состоит в том, что оно согласуется с тем отношением к ведьмам, которое существовало в Европе с древнейших времен приблизительно до начала XVIII века, когда растущее влияние рационализма положило конец обычаю их сжигать.

Свидетельство магов27

Огонь всегда играл огромную роль в жизни и верованиях людей. С ним отождествлялись божественные силы, ему поклонялись. В то же время всполохи огня ассоциировались с дуализмом добра и зла в мире: свет постоянно сменяется тенью и наоборот.

Философы Востока утверждали, что первичной энергией мироздания является огненное вещество, которое создает в пространстве токи, проявляющиеся различным способом, а переживание человеком единения с Космосом во время медитации считалось погружением в огненный океан Вселенной. Индийский астрофизик Дж. Нарликар характеризовал это явление как феномен неистовой Вселенной.

Огонь считался очень важным энергетическим фактором у целителей и оккультистов всех времен. Прямое использование его в оздоровительных целях было более ограниченным по сравнению с водой. Однако косвенное влияние огня на жизнедеятельность человека было настолько обширным, что можно говорить о подлинном культе огня.

Наиболее распространено было почитание огня и домашнего очага в семейно-родовых культах многих древних и современных народов. В античном мире греки чтили богиню Гестию – покровительницу неугасимого огня. Целомудренная безбрачная Гестия пребывала на Олимпе, символизирующем незыблемый Космос. Известен подвиг Прометея, передавшего огонь людям. У римлян известна богиня Веста. В посвященном ей храме жрицы-весталки поддерживали вечный огонь— символ государственной и жизненной устойчивости.

В маздеизме, религии древнего Ирана, огонь признавался одной из форм проявления доброго божества Ахурамазды. Считалось, что в его пламени погибает все злое и недостойное. Огонь – Агни – один из главных богов ведической религии. Согласно представлениям древних народов Индии, он олицетворял священный огонь, имеющий очистительную и укрепляющую силу.

Монголы считали огонь покровителем, хранителем и очистителем каждого дома, а очаг – святилищем. Огню, разведенному в очаге дома, придавались качества очищающего, оздоравливающего и даже освящающего средства. Жених и невеста в день свадьбы совершали поклонение огню, приносили ему жертву. Существовал обычай, согласно которому послы и их дары должны были пройти очищение огнем.

Очистительная способность огня широко использовалась и в повседневной жизни. Очищению огнем подвергались люди, животные, жилища, продукты, вещи. Для этого практиковались разные способы: их проводили или проносили между двух огней, держали вещь над костром или окуривали. Дурные вещи просто сжигались. Усиливался эффект использованием растений: вереска, можжевельника, коры пихты и др.

Еще в девятнадцатом столетии в России огнем лечили детские болезни. Больного ребенка либо раскачивали перед горящей печкой, либо прикладывали к нему остывшие угли. При этом использовали лишь чистый огонь, добытый трением или же принесенный в праздники из церкви. Считали, что такой огонь послан с неба, чем и объяснялись его целительные свойства. Такой огонь, по поверьям, предохраняет от козней ведьм, является лучшим средством против злокачественных болезней у людей и скота, а также способен обезвредить самый сильнодействующий яд.

Согласно учению Агни-йога, живой огонь разрушает вредоносные энергоинформационные образования в жилищах, потому что самое маленькое пламя излучает безграничную энергию. При этом считается, что ценнейшую положительную энергетическую среду создает нечетное число огней, так как они дополняют друг друга. При четном количестве огней в помещении они нейтрализуют энергию друг друга и становятся вредными для человека. Предполагается, что частота колебаний пламени свечей, составляющая 8—11 герц, способствует повышению энергетического статуса человека.

Страх Апокалипсиса

Из книги Ж. Делюмо «Ужасы на Западе»28

Апокалипсис является для христиан неизбежной и реальной возможностью. Св. Августин в XX книге «Города Бога» убеждает в неотвратимости этих событий – многие священные тексты возвещают о них, хотя время их свершения непредсказуемо. В Средневековье Церковь размышляла о конце человеческой истории в свете апокалипсических пророчеств. Свидетельством этому могут служить около двадцати испанских рукописей X–XIII вв., донесших до нас сочинения монаха Беатуса, составившего в конце VIII в. «Комментарий Апокалипсиса». Известный Апокалипсис Сен-Севера (XI в.), поражающий фантастическими чудовищами, тоже является иллюстрированной рукописью «Комментариев» Беатуса. Великолепные украшения многих французских церквей XII–XIII вв. – в Отэне, Конке, Париже, Шартре – воспроизводят сцены Страшного суда. Тема Страшного суда фигурирует также в латинских поэмах Коммодьена из Газа (III в.), св. Иллариона из Пуатье (IV в.), св. Пьера Дамьена (XI в.), Петра Диакона (XI в.), св. Бернара (XIII в.) и пр.

Историки единодушны в том, что в Европе начиная с XIV в. нарастает и распространяется страх конца света. В обстановке общего пессимизма, как физического, так и морального, в 1508 г. в Страсбургском соборе проповедник Гейлер обратился к народу с призывом «спасайся кто может»:

«Лучшее, что можно сейчас сделать, это забиться в щель, спрятаться в своем углу, следовать заповедям Господа и творить добро, чтобы обрести вечное спасение».

Он не питал никакой надежды, что люди станут лучше, поэтому конец этого прогнившего мира был близок…

С точки зрения методологии важно установить различия в интерпретации христианских пророчеств относительно конца света, поскольку в одних говорится о Судном дне, тогда как другие обещают тысячу лет счастья. Число «1000 лет» пришло в христианство из израильских религиозных текстов: пророки после исхода возвещали о пришествии мессии и наступлении мира и благополучия на Земле. В еврейской религиозной литературе существовало также понятие промежуточного царства, земного рая, который продлится от настоящего времени до вечного царства.

Вера в мессию перешла к христианам через «Апокалипсис» св. Иоанна, который считал, что Сатана будет закован в течение тысячи лет. Тогда Христос и праведники воскреснут и будут пребывать тысячу лет в счастии. Примерно те же пророчества высказаны в посланиях Варнавы (II в.), св. Юстина (около 150 г.), Св. Иеренея (ок. 180 г.) и др., включая христианского Цицерона – св. Августина. Он воспринял сначала тезис о тысячелетнем периоде, но затем в «Городе Бога» опровергает его. Возрождение этого тезиса приходится на период религиозных бунтов на севере и северо-западе Европы в XI и начале XII века. Новый импульс ему был придан в трудах Иоахима де Флора (скончался в 1202 г.). Он пророчествует, что после царства Бога-отца (Старозаветные времена) и Бога-сына (времена Нового завета) в 1260 г. наступит царство Святого духа. Правление перейдет к монахам, а человечество обратится к евангелической бедности. Это будет субботой, временем покоя и мира. Земля станет одним большим монастырем, а люди – святыми, которые будут славить Господа Бога. Это царство продлится до Судного дня.

Среди мирно настроенных ожидающих мессию по-прежнему находятся адвентисты и приверженцы бога Яхве, все же продолжающие надеяться на тысячелетие мира и спокойствия и усмирение Сатаны.

Иное прочтение пророчеств конца человеческой истории выявляют страх людей перед Судным днем. В Писании есть много предупреждений об этом страшном дне, особенно многочисленны они у Матфея (гл. 24–25):

«И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются;

Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена

земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великой… И поставит овец по правую Свою сторону, а козлов – по левую;

Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: «Приидите, благословенные Отца моего, наследуйте Царство, уготованное Вам от создания мира»…

Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его».

Именно эти строки Евангелия вдохновляли иконописцев XII–XIII вв. Кроме того, они черпали темы из подобных евангелических текстов Марка (XII и XIII); Луки (XII), а также Исайи (XXIV–XXVII), Даниила (II, VII, XII), из многочисленных псалмов (например, псалом I, близкий по тематике к главе XXV Писания от Матфея), из Послания к Коринфянам (XV, 52) и Первого послания к Тимофею (IV, 13–17). Но основная роль принадлежит, конечно, Откровению Иоанна, произведению сложному и противоречивому, не сулящему с приходом Христа никакого мирного времени перед Страшным судом.

С приближением XVI в. из веры в эти пророчества и их иллюстрации рождалось все более трагическое и обогащенное деталями представление о последней драме человеческой истории. Акцент делается на следующие моменты: подчеркиваются разнообразие и устрашающий характер испытаний, которые обрушатся на человечество (пятнадцать знамений конца света); Высший Судия отличается суровостью; адские муки обрисовываются с устрашающими подробностями.

* * *

Европейцы оказались в окружении апокалипсических угроз. Все люди прониклись ощущением конца света. Прекрасный знаток Германии XVI в. Лебо пишет: «Апокалипсические пророчества были известны всем. Эпоха, отмеченная столькими открытиями и завоеваниями, никогда не догадывалась, что является зарей Нового времени. Напротив, охваченная предчувствием заката и предстоящего Страшного суда за прегрешения, она пребывала в уверенности, что ею закончится история человечества».

Феррье29 повторял, что Страшный суд свершится «скоро, без промедления, в ближайшем будущем» (это было его любимое выражение).

В Италии Фра Франческо во время проповеди устрашает флорентийцев: «Повсюду прольется кровь, улицы будут затоплены реками крови, люди будут погружены в потоки, озера крови… Два миллиона демонов будут освобождены на небе… потому что за последние 18 лет было совершено больше грехов, чем за предшествующие пять тысяч лет».

Среди друзей Кальвина был Вире, проповедовавший в Швейцарии, затем Лангедоке. В его любопытном произведении «Мир царства и мир демонов», составленном в форме диалогов, он говорит читателям: «Мир близится к концу… Он подобен человеку, который изо всех сил цепляется за жизнь. Так обустрой свой дом… откажись от коррупции, оставь вредные созерцания и постарайся уйти от этого мира. Его ждут еще более худшие бедствия, чем те, которые тебе пришлось пережить».

Бюллингер (умер в 1575 г.), в течение многих лет возглавлявший церковь в Цюрихе, тоже считал, что время истории истекло, хотя и не называл точной даты ее конца: «Учение Господа нашего Иисуса Христа, недвусмысленные высказывания святых пророков, толкования избранных Богом апостолов, наконец, стечение событий, которые либо сбылись, либо свершаются на наших глазах, – все говорит о том, что сбылись пророчества о конце света и уже близок день Божьего гнева».

Каноник Лангр пишет в «Книге состояния и течения времен», опубликованной в 1550 г.: «Мы находимся в преддверии обновления мира или его изменения и раскола…»

В России XV–XVI вв. страх конца света, по-видимому, тоже усилился, о чем говорят росписи церквей сценами Страшного суда, фрески расположены таким образом, что при входе в церковь нельзя не заметить чашу весов в руках у Всевышнего Судии и огненно-черный ад с выползающим из него огромным змием.

На другом конце христианского мира – в Мексике – тоже можно увидеть сцены Страшного суда, украшающие стены августинского монастыря XVI в. Так что страх второго пришествия был вездесущим…

Собственно, мысль о том, что Бог карает виновных, стара как мир. В общественном сознании укоренилась, как неизбежная, связь между преступлением и Божьим наказанием. Таким образом, идея отмщения заложена в самой природе божественности. В «Молоте ведьм», со ссылкой на св. Августина, говорится о дозволенности греха, поскольку Бог оставляет за собой право кары того, чтобы «свершить отмщение за зло и упрочить красоту мироздания… чтобы стыд за содеянное был украшен отмщением». Тема отмщения, и в частности кары Божьей, настойчиво подчеркивается во всех французских трагедиях от Жоделя до Корнеля (можно, конечно, в качестве примера привести авторов других национальностей).

Во время Религиозных войн, когда происходили массовые убийства, в образе Бога были воплощены черты разгневанного человека. В период правления Генриха IV тема кары небесной звучит не только в драме, но и в поэзии. Согласно Агриппе д Обинье, Высший Судия вершит суд строго и по справедливости (Трагическое, VI, около 1075–1079 гг.):

Страхом трепещет сердце храбреца;
Вшами кишит кафтан гордеца;
Тот, кто строптив, Бога гневит,
Душа его в адском огне сгорит.

Имела хождение также идея о долготерпении Бога, Агнца, готового к всепрощению, помышляющего не о каре, а о пособничестве Церкви. Но когда терпению приходит конец, Бог приходит карать, а не помогать: «Пришло лихолетье, и пробил час кары Господней, ниспосланной на нас». Дешан – современник Столетней войны, наблюдавший повсюду гордыню, подкуп, разнузданность и несправедливость, – верил, что надругательствам должен прийти конец:

Время придет, и Бог мироздания
От наших грехов в гневном сиянии
Ниспошлет на все свои создания
Кровавые слезы и чашу страдания.
Неведомы нам Господни желания,
Агнца, идущего на заклание,
И каждый получит воздаяние:
Кровавые слезы и чашу страдания.

Если Бог не карает за грехи, то он недостоин своего августейшего имени, он просто марионетка. Такое мнение высказано Лютером в «Воззвании к молитве против турка» (1541 г.) в момент особого обострения турецкой опасности, нависшей над центральной частью Европы. Так же, как и Дешан, реформатор склонен полагать, что христианский мир настолько погряз в грехах (предрассудках и многобожии) и презрел божественное слово, что Всевышний не может более взирать на все это, скрестя руки. В силу своей природы он должен покарать людей за их дерзость, следовательно, нетрудно предположить, что погрязший в грязи мир скоро будет уничтожен:

«Когда придет конец терпению Господа Бога? В конце концов он должен защитить истину и справедливость, наказать зло и творящих его, гнусных хулителей и тиранов. Иначе бы он лишился своей божественности и не был бы почитаем как Бог. И каждый был бы волен делать, что ему заблагорассудится, без стыда и совести презирать Бога, его слово и заповеди, считать его безумцем или куклой и не принимать всерьез его угрозы и приказы. При таком раскладе вещей мне остается уповать лишь на Страшный суд, которого не

миновать. Дело зашло так далеко, что терпению Бога придет конец».

Это справедливо также для всех протестантских проповедников. Они ждали, объявляли и желали уничтожения погрязшего в грехе враждебного им мира, где царствует Антихрист (папа для Савонаролы и Лютера). Так, в проповедях светопреставления люди выражали надежду на то, что Бог отомстит за них.

* * *

Французские протестантские апологеты XVII в. возвращаются к теме оскудения природы и физического упадка человечества. Такое мнение высказывается дю Муленом30:

«Времена года смешались, земля устала, горы истощились, продолжительность человеческой жизни уменьшилась, равно как и добродетель, природная сила, честь и набожность. Можно сказать, что наступает закат мира и его конец».

Другие реформаторы, в частности Полло и Каппель, подхватывают эти стенания. Нет ничего удивительного в том, что набожность и честь убывают вместе с физической силой. Со старостью приходит привязанность к земному и отчуждение от небесного; определяется эта логика так:

«Мир подходит к своему завершению. Подобно старцу он тянет со смертью, сколько может. Поэтому его мысли и сердце обращены не к небу, а находятся всецело на земле и заняты земными смертными делами. Чем ближе люди к своей могиле, тем более они озабочены приобретением земных благ, которые так же, как и они сами, всего лишь прах. И чем меньше у людей благ, тем больше они их хотят иметь».

Так, по мере продвижения человечества от юности к зрелым годам добродетели стареют, а пороки набирают силу – таков непреложный закон угасания. Отсюда ясно, почему мир «блуждает в потемках» и люди живут «без озарения светом». Но следует быть готовым к худшим временам, поскольку человечество одряхлело душой и телом и оно не сможет им противостоять:

«Наступят еще более страшные беды, чем те, свидетелем которых ты уже был. По причине старческой слабости нашего века на нас обрушатся многие бедствия. Потому что истина отступает под натиском лжи».

В том же духе:

«Мне видится мир как старый разваливающийся дом, у которого постоянно осыпается песок, известковый раствор или целая часть стены. Не лучше ли будет, если дом рухнет сразу, в час, когда меньше всего этого ожидаешь?»

Те, кто возвещал о скором светопреставлении или о начале тысячелетнего царства, основывались на изобилующих цифрами библейских текстах. В «Книге Даниила» говорится, что пятому нерушимому царству будут предшествовать четыре первых, и что четвертый правитель будет притеснять святых в течение времени, времен и полувремени, что соответствует хронологии, приведенной в XII главе «Апокалипсиса»: «И родила она сына мужского пола, которому надлежит пасти все народы посохом железным; и было восхищено дитя ее к Богу и к престолу Его. И жена убежала в пустыню, где она имеет место, уготованное Богом, чтобы там питали ее тысячу двести шестьдесят дней».

У Даниила время печали продлится 1290 дней. В «Апокалипсисе» (XI глава) говорится: «И двор, что вне храма, оставь вне, и не измеряй его, потому что он дан был язычникам, и они будут попирать город святой сорок два месяца. И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, одетые во вретище». В XIII главе «Апокалипсиса» зверь имеет число имени 666. Наконец, там же, в XX главе: «И он охватил дракона, змея древнего, который есть Диавол и Сатана, и связал его на тысячу лет».

Богословы, математики и астрологи немало потрудились, чтобы уложить эти цифры в общую схему, упрощенный вариант которой выглядит так: от сотворения до закона мир прожил 2000 лет и еще 2000 лет по закону. Срок правления Мессии тоже равен 2000 годам. Правда, некоторые, например Колумб, получали при подсчете 7000 лет, так как к шести дням

сотворения мира они прибавляли седьмой день, когда Бог отдыхал. Некоторые наиболее смелые подсчеты переступали грань 7000 лет. Однако много было также сторонников более точного подсчета, а не упрощенного разделения истории человечества на три ранних периода по 2000 лет. При более подробном подсчете Мальведа в «Антихристе» получает разные цифры от наивысшей – 6310 лет до 3760 лет. Меркатор насчитывает 3928 лет, Янсениус – 3970 лет, Беллармэн – 3984 года со дня сотворения мира. Эти подсчеты, несмотря на небольшие расхождения, ниже привычного нам летосчисления мира.

Итак, несмотря на различие в подсчетах и рассуждениях о возрасте мира, все они не слишком щедры в отношении срока, оставшегося до светопреставления. Среди друзей Кальвина был теолог Вирэ. Он пишет:

«Молодость вечности прошла, и дело идет к старости. Вечность разделена на двенадцать частей; десять частей и еще половина десятой части (следует понимать: одиннадцатой) уже прожиты. Предстоит прожить то немногое, что осталось после половины десятой (т. е. одиннадцатой) части».

Согласно этому подсчету, 21 из 24 частей времени, отпущенного человечеству, прошли.

Свидетельство священнослужителя31

Апокалипсис всегда привлекал к себе внимание христиан, между тем, образность и таинственность этой книги делают ее весьма трудной для понимания, а потому для неосторожных толкователей всегда есть риск увлечений за границы истины и повод к несбыточным надеждам и верованиям. Так, например, буквалистическое понимание образов этой книги давало повод и теперь еще продолжает давать к ложному учению о так называемом «хилиазме» – тысячелетнем царстве Христовом на земле. Ужасы гонений, переживавшиеся христианами в I веке и толкуемые в свете Апокалипсиса, давали повод некоторым верить в наступление «последних времен» и скорого второго Пришествия Христова, еще тогда же, в I веке.

За истекшие века явилось множество толкований Апокалипсиса самого разнообразного характера. Всех этих толкователей можно подразделить на четыре разряда. Одни из них относят все видения и символы Апокалипсиса к «последним временам» – кончине мира, явлению антихриста и второму Пришествию Христову; другие придают Апокалипсису чисто историческое значение, относя все видения к историческим событиям I века – ко временам гонений, воздвигнутых на Церковь языческими императорами. Третьи стараются найти осуществление апокалипсических предсказаний в исторических событиях позднейшего времени. По мнению их, например, папа римский есть антихрист и все апокалипсические бедствия возвещаются собственно для Римской церкви, и т. п. Четвертые, наконец, видят в Апокалипсисе только аллегорию, считая, что описываемые в нем видения имеют не столько пророческий, сколько нравственный смысл, аллегория же введена только для усиления впечатления с целью поразить воображение читателей.

Более правильным надо признать то толкование, которое объединяет все эти направления, причем не следует упускать из вида, что, как ясно учили об этом древние толкователи и отцы Церкви, содержание Апокалипсиса в итоге своем направлено к последним судьбам мира. Не может быть, однако, сомнений, что в течение всей минувшей христианской истории исполнилось уже немало предсказаний св. Иоанна о грядущих судьбах Церкви и мира, но нужна большая осторожность в применении апокалипсического содержания к историческим событиям, и нельзя слишком злоупотреблять этим.

Справедливо замечание одного толкователя, что содержание Апокалипсиса только постепенно будет становиться понятным, по мере наступления событий и исполнения пророчеств, в нем предреченных. Исторические события и лица переживаемого нами ныне времени, которое, по всей справедливости, многие уже называют «апокалипсическим», убеждают нас в том, что видеть в Апокалипсисе одну аллегорию поистине значит быть

духовно слепым, настолько все теперь происходящее в мире напоминает страшные образы и видения Апокалипсиса.

Дополнительная часть. Танцы мертвецов и пляски смерти Из книги Ж. Делюмо «Грех и страх»32

Свою «Пляску смерти» Гюйо Маршан33 озаглавил: «Спасительное зерцало». Таким образом, он также понимал пляску смерти как еще один, особенно убедительный способ призвать к memento mori. Подобно «Рассказу о трех мертвецах и трех живых», пляски смерти ведут свое начало все от того же вывода – суета сует и всяческая суета – и от того же умаления земных ценностей. Если феррарский текст, посвященный трем мертвецам и трем живым, действительно относится к XII веку, что кажется мне правдоподобным, – многие из его 45 удачно ритмизованных строф можно рассматривать как предвестие плясок смерти. В таком случае это было бы доказательством единого – монастырского – происхождения двух этих великих тем. Действительно, в этом стихотворении мы читаем:

Слабых или могучих,
Смерть не щадит никого,
Глупых так же, как мудрых,
Всех – и до одного…
Она не пропустит ни старость,
Ни юность во цвете лет.
Ни честных, ни негодяев,
Все, что видит, она берет.
Она не оставит миру
Ни богатого, ни бедняка,
Ни митру и ни порфиру,
Ни епископа, ни царя…
Вот тление, смрад и черви.
Вот труп, наводящий страх.
Хочешь или не хочешь,
Единый конец для всех.

В предыстории плясок смерти и слова «макабр», появившегося в XIV веке, еще много неясного. Наиболее правдоподобная гипотеза связывает это слово с именем Иуды Маккавея, научившего иудеев молиться за души умерших. В эпоху, когда Церковь стремилась утвердить веру в чистилище, Иуда Маккавей сделался популярной фигурой в церковном дискурсе и – рикошетом – в разговорном языке, где его образ был сближен с персонажами преданий о привидениях. В области Блуа «маккавейской охотой» некогда называлась «дикая охота», которую ведут неупокоенные души, жаждущие захватить в плен кого-нибудь из живых. Таким образом, несомненно существовала связь между плясками смерти и народными верованиями в танцующих мертвецов, охотящихся за живыми. Нидерландский монах, около 1350 года переводивший французский роман «Можис д’Эгремон», добавил к исходному тексту показательное сравнение: взяв в плен своего врага, короля Антенора, и многих его рыцарей, герой привязал их к центральному столбу своей палатки, так что они, замечает переводчик, образовали как бы «хоровод мертвецов». Этот хоровод воспринимался не как игра, а как принуждение. Подобным образом жители Нижней Германии в Средние века верили, что в День св. Фомы (21 декабря) можно увидеть, как фигуры тех, кому предстоит умереть в следующем году, танцуют вместе с покойниками.

С XVI века и до наших дней швейцарские и немецкие эрудиты усматривают связь между плясками смерти и верой в привидения, которые играют на музыкальных инструментах, водят по ночам хороводы и завлекают в свой круг живых. Эта связь кажется

вероятной. Но Дж. Вирт справедливо замечает что в Средние века и эпоху Возрождения не только простые люди, но и высшие слои общества верили в привидения: следовательно, пляски мертвецов могли представлять собой учено-церковное преобразование чрезвычайно давних обычаев и чрезвычайно широко распространенной концепции жизни после смерти.

Э. Маль полагал, что наиболее ранняя пляска мертвецов представляла собой иллюстрацию в жанре пантомимы к какой-нибудь проповеди на тему смерти. Первоначально исполнявшаяся в церкви, она вышла за ее стены, чтобы разыгрываться на подмостках: в качестве моралите, что и имело место в 1449 году в Брюгге в «резиденции» герцога Бургундского. Затем – в виде рисунков, гравюр и миниатюр – она стала популярным «комиксом», который донесли до нас многочисленные иконографические свидетельства. В том, что эволюция протекала именно так, нет практически никаких сомнений.

Но, быть может, следует подняться еще выше и обнаружить у истоков театрализованных проповедей древние пляски, христианизированные и переосмысленные проповедниками. Осуществить эти изменения было тем легче, что вера в хороводы мертвецов имела чрезвычайно широкое распространение. Во всяком случае, достоверно известно, что в Средние века танцевали в церквах и особенно на кладбищах, причем не только по случаю дней дураков, невинноубиенных и т. п. – против этого «соблазна» ополчился Базельский собор (сессия XXI, 1435 год). Было бы полезным собрать досье по этой теме. Хорошо известна легенда о плясунах из Кельбика, изложенная в Нюрнбергской хронике. В Кельбике, в Магдебургской епархии, некий священник служил рождественскую мессу. Группа из восемнадцати мужчин и десяти женщин устроила переполох, затеяв песни и пляски на близлежащем кладбище. Священник обратился к ним с увещеваниями. Но они лишь посмеялись над ним и продолжали. Тогда он воззвал к небу, чтобы они были обречены так танцевать в течение целого года. По истечении этого срока архиепископ Магдебургский освободил их от наложенного наказания. Трое из плясунов умерли сразу же, остальные ненадолго их пережили.

Таким образом, правдоподобная гипотеза состоит в том, что церковь нашла новое применение старинным пляскам и христианизировала их, как это произошло с мирскими песнями, которые она превратила в гимны, заменив слова, но сохранив мелодии. Иоганн Бишофф, францисканец из Вены, писавший около 1400 года, сообщает, что в его время танцы по случаю Пасхи были очень популярны во всех слоях общества и их насчитывалось до двадцати. К несчастью, он описывает лишь два из них: в первом Христос вел избранных в рай, во втором дьявол уносил в ад тех, кто не соблюдал десять заповедей. Вполне вероятно, что один из остальных восемнадцати танцев имел отношение к смерти. Впрочем, Э. Маль утверждает, основываясь на одном документе 1393 года, что в этот год пляска мертвецов была исполнена прямо в церкви Кодбека.

* * *

А в исторической перспективе не следует ли вспомнить о похоронных плясках, известных множеству культур и угадываемых в арагонской Испании, где в Средние века сохранялись традиции макабра, унаследованные от морисков? В начале XV века на пиршествах в честь коронации королей Арагона давались представления на тему смерти, сопровождаемые пантомимой. Еще и в наши дни в Вержесе, провинция Жерона, молодые люди, изображающие скелеты, на Страстной неделе исполняют пляску смерти под аккомпанемент тамбуринов. К этому можно добавить то, что нам теперь известно о каталанской «Dansa de la mort», которую не следует путать ни с кастильской «Dança general de la muerte», о которой речь впереди, ни с каталанским переводом 1497 года текста на ту же тему с кладбища Невинноубиенных.

«Dansa de la mort» позволяет непосредственно проследить христианизацию церковью (а в данном случае – конкретно монахами) похоронных обрядов, несомненно, восходящих к глубокой древности. Текст и музыка этой пляски дошли до нас благодаря рукописи «Алая

книга» (XIV век), сохранившейся в Монтсеррате и пережившей наполеоновское опустошение. Будучи недавно заново исследованы, они приобрели актуальность: в 1973 и 1978 годах эта пляска была исполнена в церкви Монтсеррата, а в 1978 году – в Барселоне, Сенте, Этампе, Кельне, Кирхенхайме и Берлине в рамках «недель Каталонии». Вот ее суровые наставления в переводе с латыни (Ad mortem festinamus…):

ПРИПЕВ:

Все мы к смерти спешим,
Перестанем же грешить, перестанем же грешить.

СТРОФА:

Я хочу говорить о презрении к миру,
Чтобы люди не прельстились мирской суетой,
Пришло время восстать от коварного смертного сна.
от коварного смертного сна.
Все мы к смерти спешим…
Скоро закончится краткая жизнь:
Придет быстрая смерть и не пощадит никого.
Смерть убивает всех. Не жалеет она никого,
не жалеет она никого.
Все мы к смерти спешим…
Если не обратишься ты, если не будешь смиренным,
Если ты не изменишь жизнь, чтобы делать добрые дела,
Ты не сможешь войти, подобно блаженным,
в царство Божие,
подобно блаженным, в царство Божие.
Все мы к смерти спешим…
Когда – в последний день – затрубит труба,
Когда придет Судия,
Он призовет избранных на их вечную родину,
а проклятых ввергнет в ад,
а проклятых ввергнет в ад.
Все мы к смерти спешим…
Сколь счастливы будут те, кто будет царствовать
вместе с Христом!
Они увидят его лицом к лицу.
Они будут петь: Да святится имя твое, Бог сил,
имя твое, Бог сил.
Все мы к смерти спешим…
Сколь печальны будут обреченные на вечные муки!
Их страдания не закончатся и не истребят их.
Увы, увы! О, несчастные! Никогда им не выйти оттуда,
никогда им не выйти оттуда.
Все мы к смерти спешим…
Пусть все правители нашего времени и сильные мира сего,
И священники, и все вельможи
Станут совсем маленькими. Пусть они отбросят гордыню,
пусть они отбросят гордыню.
Все мы к смерти спешим…
Братья мои, если мы будем, как подобает,
созерцать Страсти Господни

И горько плакать,
Он будет беречь нас как зеницу ока и отвратит нас от греха,
и отвратит нас от греха.
Все мы к смерти спешим…
Святая Дева дев, увенчанная на Небесах,
Будь нашей заступницей перед Сыном,
И стань той посредницей, что примет нас
после здешнего изгнания,
примет нас после здешнего изгнания.
Все мы к смерти спешим…

«Dansa de la mort» из Монтсеррата не является пляской смерти в точном смысле слова, потому что она не включает в себя диалога между кем-то из живущих, обычно имеющим четко очерченный социальный статус, и Смертью (или, чаще, выступающим от ее имени скелетом), но она проливает свет на этапы ее формирования. Было замечено, что рукопись из Эскуриала, содержащая первый из известных нам текстов настоящей кастильской пляски смерти («Dança general»), изобилует каталанизмами, арагонизмами и даже арабизмами. Отсюда вполне естественно предположить ее связь с предшествовавшей ей каталанской «Dansa de la mort». Таким образом, в Арагонском королевстве (но, без сомнения, не только там) имело местосоединение педагогических приемов проповедников с древними похоронными плясками и включение последних в церковную культуру.

В том виде, как она известна нам, «Dansa de la mort» предназначалась для паломников, прибывавших в Монтсеррат. Она исполнялась вечером в церкви, напротив алтаря, вне рамок литургической службы и выступала в качестве приготовления к завтрашней исповеди. Певцы, как кажется, не танцевали, но танцующие подхватывали вместе с ними последнее полустишие каждой строфы, и все – поющие, танцующие и толпа паломников – хором исполняли припев. В «Алой книге» из Монтсеррата встречаются самые ранние из известных ныне в Европе хореографических знаков – хрупкое и драгоценное свидетельство очень древней культуры. Они предназначены для ball rodo, или круговой пляски (не случайно напоминающей о готической капители Монтсерратского монастыря), с выходами на шаг вперед и назад из круга, сменой направления вправо и влево, подпрыгиваниями, переменами положения тела, короткими остановками и т. д. Музыкальное сопровождение включало в себя, в первую очередь, волынку, роту (разновидность лиры) и самфойну (флейту Пана).

После процитированных выше строф в «Алой книге» приводится изображение скелета в открытой могиле с подписью: «О Смерть, как горько думать о тебе». Далее следуют семь суждений, по поводу которых возникает вопрос: не исполнялись ли они совместно всеми участниками, которые в таком случае делились на два полухора, бросавших друг другу жестокие упреки такого рода:

Ты станешь гниющим трупом.
Почему ты греха не боишься?
Ты станешь гниющим трупом.
Почему ты раздут от гордыни?
Ты станешь гниющим трупом.
Почему же ты жаждешь богатства?
Ты станешь гниющим трупом.
Почему ты одет, словно щеголь?
Ты станешь гниющим трупом.
Почему ты стремишься за славой?
Ты станешь гниющим трупом.
Почему ты забыл покаянье и исповедь?
Ты станешь гниющим трупом.

Так не радуйся горю чужому.

Итак, «Dansa de la mort» соединяла народную традицию с григорианским стилем и может служить примером использования погребального обряда (несомненно, имевшего многовековую историю) в рамках морального урока, направленного к спасению души. Действительно, мы можем отметить в тексте непосредственное упоминание «презрения к миру», обращение к теме Страшного суда и, в конце, к теме трупа.

* * *

Теперь следует обратиться к пастырским назиданиям о страхе Божием, которые воплощались в подлинных плясках смерти. Я не буду детально излагать историю последних, но остановлюсь на тесных связях, неизменно существовавших между ними и учительствующей церковью. В XIII веке был основан монашеский орден, называвшийся орденом св. Павла, члены которого получили общее наименование «Братьев смерти». На их одеянии была изображена мертвая голова; друг друга они приветствовали формулой: «Думайте о смерти, брат мой». Входя в трапезную, они целовали мертвую голову у ног распятия и говорили друг другу: «Помните о вашем последнем часе, и вы не согрешите». Многие из них ели, сидя напротив черепа, и каждый обязан был иметь его у себя в келье. На печати ордена была оттиснута мертвая голова и слова: Sanctus Paulus, ermitarum primus pater; memento mori34.

Это напоминание помогает понять утверждение Венсана де Бовэ, свидетельствующего, что поэма монаха Элинана «Стихи о смерти», сочиненная около 1190 года, имела большой успех и специально зачитывалась в монастырях. Фактически она уже представляет собой набросок пляски смерти. Сеньор и трубадур, ставший цистерцианцем, Элинан стремится внушить своим современникам спасительную боязнь кончины. Он поручает самой Смерти – персонифицированной – передать им привет от него и наполнить их души трепетом. Сначала он посылает ее к друзьям, затем к правителям, потом к римским кардиналам. По пути в Вечный город Смерть наносит визит архиепископу Реймса, епископам Бовэ, Нуайона, Орлеана и т. д. Элинан, как и позднейшие авторы плясок смерти, следует земной иерархии, но лишь для того, чтобы подчеркнуть: могила уравнивает всех:

Смерть ждет богатых и убогих —
Хоть короля в его чертоге,
Хоть бедняка на чердаке.

Черви и ад ожидают тех, кто злоупотреблял богатством и радостями плоти:

Ухоженная плоть, раскормленное тело —
Их съел ужасный червь, и пламя их одело.

Из этого следует вывод, который мог бы быть сделан в какой-нибудь проповеди: «Прочь, наслажденье! Роскошь, прочь!.. Гороховая каша мне милее».

В середине XIII века Робер Леклерк, в свою очередь, написал поэму под тем же заглавием, что и Элинан, – «Стихи о смерти». Две поэмы весьма близки и по сути. Теперь поэт посылает смерть сначала в Аррас, где она посещает простых людей и вельмож, а потом – к папе и королю, чтобы призвать их к покаянию. Однако еще лучше панорама человеческих судеб – один из характерных признаков плясок смерти – представлена в латинских поэмах, известных под общим названием «Vado mori»35, наиболее ранняя сохранившаяся версия которых относится к XIII веку. Драматическая формула «я иду умирать» произносится поочередно королем, папой, епископом, солдатом, врачом и логиком, богачом и бедняком, мудрецом и безумцем и т. д. Следует отметить, что ирония, зачастую

присущая пляскам смерти и особенно ярко проявившаяся к концу их истории, угадывается уже и здесь: врачу не помогает ни одно снадобье; логик научил других строить заключения, но приход смерти становится заключением для него; сладострастник обнаруживает, что роскошь не увеличивает продолжительность жизни.

* * *

В структурном отношении пляска смерти представляет собой шествие – следовало бы даже сказать «процессию» – различных людских судеб, идущих к смерти. Каждый из живых людей, принимающих участие в этом шествии, против своей воли увлекаем одушевленной мумией, зачастую обозначающей танцевальные па. Эта общая схема, естественно, допускала различные вариации в зависимости от места, времени и даже пространства, которым можно было располагать. Количество персонажей, приглашенных мертвецом или самой Смертью вступить в мрачную процессию, в целом увеличивалось по мере того, как росла популярность темы. В Кер-Мария их только 23. Впрочем, первоначальный (?) латинский текст и его немецкое переложение также ограничивались лишь 24: именно это число обнаруживается в Любеке и Лашез-Дье. В Берлине их 28. На кладбище Невинноубиенных, согласно Гюйо Маршану, их было 30. Количество сцен, изображающих лицом к лицу живого и мертвеца, достигает 33 в «Dança general» и 38 в двух Blockbuch'ах конца XV века. На базельских фресках, созданных несколько раньше только что названных произведений, их было даже 39.

Вполне понятно, что Гюйо Маршан, окрыленный успехом своего издания 1485 года, через год повторил его, увеличив дозу за счет добавления пляски женщин и введения десяти новых персонажей в пляску мужчин. В первом издании «Образов…» Гольбейна (1538) насчитывается в общей сложности 40 небольших гравюр. Правда, на семи из них (изображающих сотворение мира, Страшный суд, герб Смерти и др.) нет традиционного диалога между живым и его собеседником с того света. Зато в издании 1545 года появляются восемь новых персонажей. Пик инфляции пришелся, кажется, на «Dança general», вышедшую в 1520 году в Севилье и представляющую собой расширенную переработку «Dança general»: здесь в бесплодную дискуссию со Смертью вовлечены 58 человек.

Соблюдая достаточно строгий иерархический порядок, пляски смерти, которые нужно читать слева направо, обыкновенно начинаются с папы и отправляют в конец танцующей процессии или по крайней мере поближе к последним местам, во-первых, крестьянина, а во-вторых, мать и дитя: недвусмысленное изображение социальной лестницы. Служители церкви, как правило, либо в полном составе располагаются впереди, либо предшествуют мирянам, чередуясь с ними. Первый вариант иллюстрируется берлинской «Пляской» и двумя немецкими Blockbuch'ами конца XV века: в них все духовные особы помещены перед представителями светского общества. Второй вариант встречается чаще: священнослужитель и труп, с которым он танцует нечто вроде «полонеза», предшествуют паре, состоящей из мирянина и одушевленной мумии. Так, папа идет впереди императора, архиепископ – впереди рыцаря, епископ – впереди оруженосца.

Но это правило строго соблюдается лишь на самых верхних уровнях иерархии. По мере отдаления от знатнейших представителей сутаны и меча начинаются отступления: вступает в свои права воображение. На кладбище Невинноубиенных между монахом (№ 20) и кюре (№ 26) втиснуты ростовщик, врач, влюбленный, адвокат и менестрель. На доминиканском кладбище в Базеле только девять персонажей из 39 представляли церковь. В рамках неизменной общей схемы допускалось немалое разнообразие: только в берлинской пляске участвует супруга трактирщика; еврей, турок, язычник и язычница появляются только в Базеле; повар, присутствующий в латинском тексте из Вюрцбурга и его немецкой вариации, также участвует в базельских процессиях. Что касается «Dança general», то она включает троих персонажей, привычных для тогдашней Испании: раввина, врача-мусульманина (alfaqui) и хранителя святилища (santero).

Будучи отражением своей эпохи и ее социальных представлений, пляски смерти, как правило, не удостаивали вниманием селян и ремесленников. С этой точки зрения «Dança de la muerte» с ее 58 персонажами выглядит скорее исключением, подтверждающим правило. Действительно, по сравнению с «Dança general» в ней присутствуют 25 новичков, набранных из числа простых людей – торговцев, ремесленников, странников: портной, речник, сапожник, булочница, торговка пирожными, бродяга и т. д. Кроме того, в конце «Dança de la muerte» (и «Dança general») упомянуты «все остальные», которых невозможно перечислить. Эта оговорка, отсутствующая в большинстве плясок смерти, представлена также в Blockbuch'ах 1490-х годов: 38-я сценка оставлена в них для всех забытых, к какому бы слою общества они ни относились, – весьма уместная предосторожность, ибо уж смерть-то не забывает никого…

Женщины, подобно ремесленникам и крестьянам, занимают более чем скромное место в плясках смерти, за исключением, естественно, той, которую им специально посвятил Гюйо Маршан, основываясь на вполне заурядном стихотворении Марциала Овернского (†1508). Иногда их даже нет вообще, как на кладбище Невинноубиенных, в Кер-Мария и в «Dança general». Их присутствие едва заметно в Любеке (два женских персонажа из 24), Лондоне (три из 35), Лашез-Дье (три из 24), в Blockbuch'ах (три из 38). Напротив, оно несколько значительнее в тех произведениях, которые, как кажется, основаны на текстах из Южной Германии (Вюрцбург) – латинском и немецком. Сами эти тексты отводят женщинам четыре места из 24. На доминиканском кладбище в Базеле их восемь из 39, в «Образах…» Гольбейна – восемь из 34. Наоборот, в «Dança de la muerte» на 58 персонажей только три женских имени. Впрочем, анонимный автор этой поэмы также испытывал по этому поводу угрызения совести, поэтому прямо перед описанием танца папы со Смертью он поместил торжественную речь, с которой та обращается к двум чересчур нарумяненным молодым девушкам, силой вовлекая их в хоровод.

Если женщины и включались в число персонажей, то либо им отводилась второстепенная роль в социальной иерархии (императрица – в Германии, королева, герцогиня, графиня, супруга буржуа или трактирщика), либо подчеркивалось, насколько их женская сущность предрасполагает к смерти (юная девушка, старуха, мать, которую кончина отрывает от детей).

* * *

Столь важная для христиан идея воскресения также подкреплялась макабрическими ужасами. Историки, занимающиеся проблемой смерти в XV веке, часто и справедливо приводят в пример карманный полиптих из Страсбурга (ок. 1494 года) с особенно впечатляющими изображениями. Он состоит из шести маленьких картин одного размера, на которых мы видим соответственно Христа во славе во время Страшного суда, ад, стоящие фигуры – Гордыню и труп, череп, а также герб дарителя. Дарителем был житель Болоньи, заказавший это произведение, несомненно, по случаю своей свадьбы с некой фламандкой. Символическое изображение покойника дано в полный рост, он стоит победоносно улыбающийся, с животом, вспоротым бальзамировщиком, и жабой на половом органе, возвышается над могильной плитой, окруженной костями. С помощью вьющейся ленты – вновь предвосхищение техники нынешних комиксов – он провозглашает: «Таков конец человека. Я словно бы стал грязью; я подобен пыли и праху». Гордыня – обнаженная юная девушка – выступает как воплощение греха. Композиция в целом, должно быть, представляла собой на редкость мучительное зрелище. Но ее общий смысл не вызывает сомнений. Под черепом мы читаем написанный чрезвычайно разборчиво латинский перевод из книги Иова (19:25–26), гласящий: «Я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, И я во плоти моей узрю Бога». Символическое усиление этого утверждения: глазницы черепа не совсем пусты. Две узких щели посреди них показывают, что в день воскресения эти глаза вновь узрят.

Ту же фразу из книги Иова находим и на погребальном одеянии из черного бархата из собора в Эвре. Вышивка изображает труп (может быть, тело Адама?), пожираемый червями и лежащий у подножия креста. На могиле Рене Шалонского, принца Оранского-Нассау, убитого при осаде Сен-Дизье в 1544 году, возвышается тело, уже почти лишившееся кожи: она исчезла с головы и большей части груди. В остальных местах она зияет дырами, как прорванная ветхая одежда. В завещании принц просил изваять его таким, каким он будет спустя три года после смерти. Но здесь усопший, вверяющий свое сердце Богу, стоит, устремив череп и левую руку к свету вечной жизни.

Подобным же образом именно надежда на конечное возрождение человеческого существа в его целостности придает осмысленность многочисленным двойным надгробиям этой эпохи – с более или менее разложившимся мертвым телом внизу и изображением того же человека живым, с молитвенно сложенными руками и глазами, обращенными к небу, вверху.

Весьма примечателен находящийся в окрестностях Лозанны надгробный памятник бальи Франциска Сарразского, умершего в 1363 году. Голова трупа покоится на подушке. Две жабы пожирают глаза, две другие принялись за рот, пятая – за половые органы. Все тело усеяно длинными червями, которые его пожирают. На подушке и на груди виднеются морские гребешки. Жабы, как кажется, символизируют грехи, черви изображают угрызения совести, а гребешки означают веру в воскресение. Такой символический смысл, приписывавшийся гребешкам с глубокой древности, объясняет их присутствие в нишах с молящимися монахами по сторонам саркофага Жана де Бово (1479). Так в надгробии Франциска Сарразского были соединены смирение грешника, раскаяние христианина и надежда на конечное воскресение возрожденного человека. Те же чувства – смирения и надежды – служат ключом для понимания двойных портретов, где одно из двух панно представляет жениха и невесту в расцвете юности, соединяющихся для жизни, а другое – тех же персонажей, ставших отвратительными полуразложившимися телами, пожираемыми червями и жабами.

*** * ***

Даже в беглом обзоре макабра того времени нельзя не сказать о многочисленнейших упоминаниях мучеников и избиений в литературе. Освобождение от психических травм, нанесенных зрелищем массового насилия, давали лишь творческие «выплески». Если бы мы могли сосчитать все сцены мученической кончины святых обоего пола, которые были нарисованы, изваяны и выгравированы в Европе с 1350 по 1650 год, получится ошеломляющая цифра, свидетельствующая, что, по крайней мере, в этом отношении между готикой, маньеризмом и барокко существовала преемственность. Разумеется, видное место в этом музее ужаса занимает Изенгеймское распятие – «бледно-зеленый Христос, уже словно разъятый пыткой, с изъязвленной ранами кожей, скрюченными от боли пальцами и лицом, искаженным мучительной агонией».

Произведениям живописи, литературы и театра вторят описания казней, которыми изобилуют тогдашние хроники и газеты. Хейзинга напоминает со слов Молине, что жители Монса за большие деньги выкупили некоего разбойника, чтобы только полюбоваться, как он будет четвертован, «и была оттого людям радость большая, нежели бы новый святой во плоти воскрес». Подхватив эстафету у Хейзинги, Мишель Вовель обнаружил в аугсбургских анналах XV века упоминание о двух погребенных заживо служанках и о пяти священниках, приговоренных к голодной смерти в железной клетке, выставленной на всеобщее обозрение.

Казни, сопровождаемые пытками, воспринимались как те же уроки морали: на них приводили детей, чтобы те хорошенько их запомнили. Феликс Платтер сообщает:

«Некий преступник, изнасиловавший семидесятилетнюю женщину, был живым подвергнут сдиранию кожи раскаленными щипцами. Я своими глазами видел густой дым, который шел от тела при прикосновении этих раскаленных щипцов; пытал его мэтр Николас,

бернский палач, прибывший специально по этому случаю. Приговоренный был человеком сильным и крепким; на мосту через Рейн, совсем рядом, ему вырвали одну грудь, затем он был препровожден на эшафот. Он был очень слаб, по его рукам обильно текла кровь. Он не мог стоять и все время падал. Наконец, ему отрубили голову, вбили в тело кол и бросили в ров. Я сам был свидетелем его казни, держась за отцовскую руку».

В 1603 году немецкая газета, повествуя о казни двух «дьяволят», от силы четырнадцати и пятнадцати лет, виновных в отравлении своих отца и дяди, которые были пьяны, уточняет: «Вся молодежь в сопровождении наставников собралась, чтобы присутствовать на ней, ибо для юношества подобные примеры весьма полезны». Далее следует рассказ о наказании:

«Сначала обоих мальчиков раздели, затем стали наносить им удары бичом, так что немало их крови пролилось на землю. Затем палач вонзил им в раны раскаленное железо, отчего они начали испускать такие крики, какие невозможно себе вообразить. Затем каждому из них отрубили обе руки… Экзекуция продолжалась около двадцати минут; за ней наблюдали мальчики и девочки, а также большая толпа народу. Во время этой казни все восхищались справедливостью Божьего суда и воспитывались на этом примере».

Вполне естественно, что литература эхом отзывалась на трагические события повседневной жизни. Это доказывает, например, совершенно садистская сцена, приведенная Томасом Нэшем в конце его «Злополучного скитальца» (1594). Сцена эта якобы разыгрывается в Риме: в ту пору англичане считали Италию средоточием всех мыслимых пороков и ужасов. Чудовищные выдумки, приведенные ниже, автор характеризует как «итальянизмы»:

«Его [еврея Цадока] привезли на место казни, раздели догола, затем посадили на острый железный стержень, врытый в землю, который вошел в его тело, как вертел, подмышки его прокололи еще двумя такими же стержнями. Вокруг него подожгли хворост, и запылал огромный костер, однако его лишь поджаривали, но не сжигали. Когда кожа его вздулась пузырями, огонь отодвинули в сторону и влили ему в глотку смесь из азотной кислоты, соляной кислоты и раствора сулемы, которая прожгла все его нутро, и он стал корчиться от нестерпимой боли. Потом принялись стегать его по задней части, обожженной и покрытой пузырями, докрасна раскаленным бичом, скрученным из железной проволоки. Ему обмазали голову смолой и дегтем, которую и подожгли. К его половым частям привязали разбрасывающие искры шутихи. Потом стали его скоблить раскаленными щипцами и сдирать кожу с плеч, с локтей, с бедер и с лодыжек; грудь и живот ему натирали тюленьей кожей и, расцарапав до крови, тут же смачивали раствором Смита и спиртом; ногти у него наполовину вырвали и всунули под них острые шипы; отставшие от тела ногти стали напоминать окна в портняжном заведении, приоткрытые в праздничный день. Потом рассекли кисти рук вдоль пальцев до самого запястья. Пальцы на ногах вырвали с корнем и оставили висеть на клочках кожи. В довершение всех пыток стали медленно водить по всему его телу, с ног до головы, пламенем масляной лампы, над которой выдувают пузыри из стекла, постепенно сжигая за членом член. Наконец сердце его не выдержало, и он умер».

Можно было бы надеяться, что автор и читатели удовлетворятся таким нагромождением кровавых подробностей. Ничуть не бывало. Через несколько страниц повествование вновь обращается к описанию казни, так что последние страницы «Злополучного скитальца» представляют собой не что иное, как череду изощренных умерщвлений.

После этих впечатляющих отрывков уже нет необходимости долго говорить о большой роли макабра в английской литературе и особенно театре эпохи царствования Елизаветы и Якова I. Им прямо-таки пронизаны четыре пьесы, упоминаемые здесь исключительно в качестве образцов: «Трагедия о мстителе» (1607) и «Трагедия об атеисте» (1611) Сирила Турнера, «Герцогиня Амальфи» Джона Уэбстера (1616?), «Вторая трагедия о невесте» (анонимная) начала XVII века. В течение девяти лет Мститель хранит череп своей невесты, отравленной старым герцогом. Его месть заключается в том, чтобы, в свою очередь, нанести яд на этот череп, который герцог целует в темноте, думая, что касается губами лица юной

девы. Атеист – французский вельможа, велевший побить камнями своего брата, чтобы завладеть его богатствами. После множества сцен убийств, самоубийств и изнасилований (на кладбище) преступнику является призрак его брата. Он убивает себя, пытаясь убить племянника. Герцогиня Амальфи – вдова, которой ее братья, герцог и кардинал, хотят помешать снова вступить в брак. Но она выходит замуж за своего управляющего Антонио. Фердинанд сводит сестру с ума, принося ей в темноте руку мертвеца и говоря, что это рука Антонио. Кроме того, он показывает ей манекены, изображающие ее детей и Антонио, внушая ей, что они мертвы. Потом он посылает к ней всех больничных сумасшедших «с тем, чтобы они предавались своим песням, танцам и прыжкам». Наконец, он приказывает ее задушить. Последний акт представляет собой всеобщую резню. Во «Второй трагедии о невесте» рассказывается о безумной любви тирана Джованни к умершей королеве, тело которой, уже начавшее разлагаться, он велит выкопать из земли. Он хочет любить ее так, как если бы она не была трупом.

Эти бегло перечисленные примеры, сколь бы жестокими они ни казались, дают лишь слабое представление о всех тех убийствах, самоубийствах, призраках, изнасилованиях и кровосмешениях, которые на излете Возрождения составляли хлеб насущный английского Гран-Гиньоля. Повсюду царили макабр и насилие.

* * *

Возникает вопрос: откуда этот всплеск эстетики болезненного в XIV–XV веках? Ответ содержится в самой же европейской истории. Это была эпоха великих бедствий и разорения: множились городские и крестьянские восстания, турки усиливали натиск, Великая схизма разрывала христианство, гражданские и межгосударственные войны разоряли Францию, Испанию, Англию, Чехию и т. д. Таким образом, хронология макабра встраивается в объяснение, в котором сливаются внушение чувства вины, страх перед участившимися бедствиями и царящее повсюду насилие.

И разве наша эпоха не способствует пониманию истоков европейского Нового времени? Массовые бойни XX века, угроза ядерного конфликта, постоянно учащающееся применение пыток, рост неуверенности, стремительный и вызывающий все большее беспокойство технический прогресс, опасность, которую несет в себе слишком интенсивная разработка природных ресурсов, манипуляции в области генетики и неконтролируемая информационная глобализация, – множество факторов, которые, накладываясь друг на друга, порождают в нашей цивилизации атмосферу тревоги, в некоторых аспектах сравнимую с той, в которой жили наши предки между нашествием Черной смерти и концом религиозных войн.

В соответствии с классическим принципом «вытеснения» мы неустанно воспроизводим то «царство страха», где мы оказались, в словах и образах. Смешивая настоящее и гипотетическое будущее, науку и вымысел, наш страх перед грядущим и опыт столкновения с повседневными опасностями, садизм и эротику, завоевание космоса и дешевые палеонтологические сенсации, мы создаем все больше и больше яростных, варварских, бесчеловечных, бешеных рассказов и рисунков. Мы соединяем в невыносимой какофонии футуризм и архаизм, допотопные существа или камни и космические корабли.

Таков привычный хлам комиксов для подростков. Болезненный бред, кишащий вампирами и псами-призраками, находит выражение в многочисленных книгах с броскими заголовками: «Пришествие сверхлюдей», «Черная галактика», «Сады Апокалипсиса», «Антимиры», «Терминатор», «Распавшийся человек», «Бесхребетное время», «Будущее без грядущего», «Макабрические миры Ричарда Матисона» и «Все мы боимся».

Вчера, как и сегодня, страх перед насилием материализовался в картины насилия, а страх смерти – в макабрические видения. Они говорят о страхе людям, живущим в страхе, и в конечном итоге их страх говорит голосом макабрических видений.

Анализ фобии пятилетнего мальчика
Зигмунд Фрейд

Введение

Болезнь и излечение весьма юного пациента, о которых я буду говорить ниже, строго говоря, наблюдались не мной. Хотя в общем я и руководил лечением и даже раз лично принимал участие в разговоре с мальчиком, но само лечение проводилось отцом ребенка, которому я и приношу свою благодарность за заметки, переданные им мне для опубликования. Заслуга отца идет еще дальше; я думаю, что другому лицу вообще не удалось бы побудить ребенка к таким признаниям; без знаний, благодаря которым отец мог истолковывать показания своего пятилетнего сына, нельзя было бы никак обойтись, и технические трудности психоанализа в столь юном возрасте остались бы непреодолимыми. Только совмещение в одном лице родительского и врачебного авторитета, совпадение нежных чувств с научным интересом сделало здесь возможным использовать метод, который в подобных случаях вообще вряд ли мог бы быть применим. Но особенное значение этого наблюдения заключается в следующем. Врач, занимающийся психоанализом взрослого невротика, раскрывающий слой за слоем психические образования, приходит, наконец, к известным предположениям о детской сексуальности, в компонентах которой он видит движущую силу для всех невротических симптомов последующей жизни. Я изложил эти предположения в опубликованных мною в 1905 году «Трех очерках по теории сексуальности». И я знаю, что для незнакомого с психоанализом они покажутся настолько же чуждыми, насколько для психоаналитика неопровержимыми. Но и психоаналитик должен сознаться в своем желании получить более прямым и коротким путем доказательства этих основных положений. Разве невозможно изучить у ребенка, во всей свежести, те его сексуальные побуждения и желания, которые мы у взрослого с таким трудом должны извлекать из-под многочисленных наслоений? Тем более что по нашему убеждению, они составляют конституциональное достояние всех людей и только у невротика оказываются усиленными или искаженными.

С этой целью я уже давно побуждаю своих друзей и учеников собирать наблюдения над половой жизнью детей, которая обыкновенно по тем или другим причинам остается незамеченной или скрытой. Среди материала, который, благодаря моему предложению, попадал в мои руки, сведения о маленьком Гансе заняли выдающееся место. Его родители, оба мои ближайшие приверженцы, решили воспитать своего первенца с минимальным принуждением, какое безусловно требуется для сохранения добрых нравов. И так как дитя развилось в веселого, славного и бойкого мальчишку, попытки воспитать его без строгостей, дать ему возможность свободно расти и проявлять себя привели к хорошим результатам. Я здесь воспроизвожу записки отца о маленьком Гансе, и, конечно, я всячески воздержусь от искажения наивности и искренности, столь обычных для детской, не соблюдая ненужные условности.

Первые сведения о Гансе относятся ко времени, когда ему еще не было полных трех лет. Уже тогда его различные разговоры и вопросы обнаруживали особенно живой интерес к той части своего тела, которую он на своем языке обычно называл Wiwimacher. Так, однажды он задал своей матери вопрос:

Ганс: «Мама, у тебя есть Wiwimacher?»

Мать: «Само собой разумеется. Почему ты спрашиваешь?»

Ганс: «Я только подумал».

В этом же возрасте он входит в коровник и видит, как доят корову. «Смотри, – говорит он, – из Wiwimacher’а течет молоко».

Уже эти первые наблюдения позволяют ожидать, что многое, если не большая часть из того, что проявляет маленький Ганс, окажется типичным для сексуального развития ребенка. Я уже однажды указывал, что не нужно приходить в ужас, когда находишь у женщины

представление о сосании полового члена. Это непристойное побуждение довольно безобидно по своему происхождению, так как представление о сосании связано в нем с материнской грудью, причем вымя коровы выступает здесь опосредствующим звеном, ибо по природе это – грудная железа, а по виду и положению своему – пенис. Открытие маленького Ганса подтверждает последнюю часть моего предположения.

В то же время его интерес к Wiwimacher'у не исключительно теоретический. Как можно предполагать, у него также имеется стремление прикасаться к своему половому органу. В возрасте 0 /2 года мать застала его держащим руку на пенисе. Мать грозит ему: «Если ты это будешь делать, я позову д-ра А., и он отрежет тебе твой Wiwimacher. Чем же ты тогда будешь делать wiwi?»

Ганс: «Моим роро». Тут он отвечает еще без сознания вины, не приобретает ори этом «кастрационный комплекс», который так часто можно найти при анализе невротиков, в то время как они все протестуют против этого. О значении этого элемента в истории развития ребенка можно было бы сказать много весьма существенного. Кастрационный комплекс оставил заметные следы в мифологии (и не только в греческой).

Я уже говорил о роли его в «Толковании сновидений» и в других работах.

Почти в том же возрасте (31/2 года) он возбужденно и с радостью кричит: «Я видел у льва Wiwimacher».

Большую часть значения, которое имеют животные в мифах и сказках, нужно, вероятно, приписать той откровенности, с которой они показывают любознательному младенцу свои половые органы и их сексуальные функции. Сексуальное любопытство нашего Ганса не знает сомнений, но оно делает его исследователем и дает ему возможность правильного познания.

В 3/4 года он видит на вокзале, как из локомотива выпускается вода. «Локомотив делает wiwi. А где его Wiwimacher?»

Через минутку он глубокомысленно прибавляет: «У собаки, у лошади есть Wiwimacher, а у стола и стула – нет». Таким образом, он установил существенный признак для различия одушевленного и неодушевленного.

Любознательность и сексуальное любопытство, по-видимому, тесно связаны между собой. Любопытство Ганса направлено преимущественно на родителей.

Ганс, 33/4 года: «Папа, и у тебя есть Wiwimacher?»

Отец: «Да, конечно».

Ганс: «Но я его никогда не видел, когда ты раздевался».

В другой раз он напряженно смотрит на мать, когда та раздевается на ночь. Она спрашивает: «Чего ты так смотришь?»

Ганс: «Я смотрю только, есть ли у тебя Wiwimacher?»

Мать: «Конечно. Разве ты этого не знал?»

Ганс: «Нет, я думал, что так как ты большая, то и Wiwimacher у тебя как у лошади».

Заметим себе это ожидание маленького Ганса. Позже оно получит свое значение.

Большое событие в жизни Ганса – рождение его маленькой сестры Анны – имело место, когда Гансу было как раз 31/2 года (апрель 1903 – октябрь 1906 г.). Его поведение при этом непосредственно отмечено отцом: «В 5 ч утра, при начале родовых болей, постель Ганса переносят в соседнюю комнату. Здесь он в 7 ч просыпается, слышит стоны жены и спрашивает: „Чего это мама кашляет?» – И после паузы: „Сегодня, наверно, придет аист».

Конечно же, ему в последние дни часто говорили, что аист принесет мальчика или девочку, и он совершенно правильно ассоциирует необычные стоны с приходом аиста.

Позже его приводят на кухню. В передней он видит сумку врача и спрашивает: «Что это такое?» Ему отвечают: «Сумка». Тогда он убежденно заявляет: «Сегодня придет аист». После родов акушерка входит на кухню и заказывает чай. Ганс обращает на это внимание и говорит: «Ага, когда мамочка кашляет, она получает чай». Затем его зовут в комнату, но он смотрит не на мать, а на сосуды с окрашенной кровью водой и с некоторым смущением говорит: «А у меня из Wiwimacher'а никогда кровь не течет».

Все его замечания показывают, что он приводит в связь необычное в окружающей обстановке с приходом аиста. На все он смотрит с усиленным вниманием и с гримасой недоверия. Без сомнения, в нем прочно засело первое недоверие по отношению к аисту.

Ганс относится весьма ревниво к новому пришельцу, и, когда последнего хвалят, находят красивым и т. д., он тут же презрительно замечает: «А у нее зато нет зубов»36. Дело в том, что, когда он ее в первый раз увидел, он был поражен, что она не говорит, и объяснил это тем, что у нее нет зубов. Само собой разумеется, что в первые дни на него меньше обращали внимания, и он заболел ангиной. В лихорадочном бреду он говорил: «А я не хочу никакой сестрички!»

Приблизительно через полгода ревность его прошла и он стал нежным, но уверенным в своем превосходстве братом37.

«Несколько позже (через неделю) Ганс смотрит, как купают его сестрицу, и замечает: „А Wiwimacher у нее еще мал», – и как бы утешительно прибавляет: „Ну, когда она вырастет – он станет больше»38.

Для реабилитации нашего маленького Ганса мы сделаем еще больше. Собственно говоря, он поступает не хуже философа Вундтовской школы, который считает сознание никогда не отсутствующим признаком психической живни, как Ганс считает Wiwimacher неотъемлемым признаком всего живого. Когда философ наталкивается на психические явления, в которых сознание совершенно не участвует, он называет их не бессознательными, а смутно сознаваемыми. Wiwimacher еще очень мал! И при этом сравнении преимущество все-таки на стороне нашего маленького Ганса, потому что, как это часто бывает при сексуальных исследованиях детей, за их заблуждениями всегда кроется частица правды. Ведь у маленькой девочки все-таки есть маленький Wiwimacher, который мы называем клитором, но который не растет, а остается недоразвитым. Ср. мою небольшую работу: Uber infantile Sexualtheorien // Sexualprobleme, 1903.

В этом же возрасте (33/4 года) Ганс в первый раз рассказывает свой сон: «Сегодня, когда я спал, я думал, что я в Гмундене с Марикой».

Марика – это 13-летняя дочь домохозяина, которая часто играла с ним».

Когда отец в его присутствии рассказывает про этот сон матери, Ганс поправляет его: «Не с Марикой, а совсем один с Марикой».

Здесь нужно отметить следующее: «Летом 1906 г. Ганс находился в Гмундене, где он целые дни возился с детьми домохозяина. Когда мы уехали из Гмундена, мы думали, что для Ганса прощанье и переезд в город окажутся тяжелыми. К удивлению, ничего подобного не было. Он, по-видимому, радовался перемене и несколько недель о Гмундене говорил очень мало. Только через несколько недель у него начали появляться довольно живые воспоминания о времени, проведенном в Гмундене. Уже 4 недели как он эти воспоминания перерабатывает в фантазии. В своих фантазиях он играет с детьми Олей, Бертой и Фрицем, разговаривает с ними, как будто они тут же находятся, и способен развлекаться таким образом целые часы. Теперь, когда у него появилась сестра, его, по-видимому, занимает проблема появления на свет детей; он называет Берту и Ольгу „своими детьми» и один раз заявляет: „И моих детей Берту и Олю принес аист». Теперешний сон его после 6-месячного отсутствия из Гмундена нужно, по-видимому, понимать как выражение желания поехать в Гмунден».

Так пишет отец; я тут же отмечу, что Ганс своим последним заявлением о «своих детях», которых ему как будто бы принес аист, громко противоречит скрытому в нем сомнению.

К счастью, отец отметил здесь кое-что, оказавшееся в будущем необыкновенно значимым.

«Я рисую Гансу, который в последнее время часто бывал в Шенбрунне, жирафа. Он говорит мне: „Нарисуй же и Wiwimacher». Я: „Пририсуй его сам». Тогда он пририсовывает посредине живота маленькую палочку, которую сейчас же удлиняет, замечая: „Wiwimacher длиннее».

Я прохожу с Гансом мимо лошади, которая уринирует. Он замечает: «У лошади Wiwimacher внизу, как и у меня».

Он смотрит, как купается его 3-месячная сестра, и сожалеюще говорит: «У нее совсем, совсем маленький Wiwimacher».

Он раздевает куклу, которую ему подарили, внимательно осматривает ее и говорит: «А у этой совсем маленький Wiwimacher».

Мы уже знаем, что благодаря этой формуле ему удается поддержать правильность своего открытия.

Всякий исследователь рискует иной раз впасть в ошибку. Утешением ему послужит то обстоятельство, что в ее основе может лежать смешение понятий, имеющееся в разговорном языке. Такого же оправдания заслуживает и Ганс. Так, он видит в своей книжке обезьяну, показывает на ее закрученный кверху хвост и говорит: «Смотри, папа, Wiwimacher39».

Из-за своего интереса к Wiwimacher'у он выдумал себе совершенно своеобразную игру. В передней помещается клозет и кладовая. С некоторого времени Ганс ходит в эту кладовую и говорит: «Я иду в мой клозет». Однажды я заглядываю туда, чтобы посмотреть, что он там делает. Оказывается, он обнажает свой пенис и говорит: «Я делаю wiwi», – это означает, что он играет в клозет. Характер игры виден не только в том, что он на самом деле не уринирует, но и в том, что вместо того, чтобы идти в клозет, он предпочитает кладовую, которую он называет «своим клозетом».

Мы будем несправедливы к Гансу, если проследим только аутоэротические черты его сексуальной жизни. Его отец может нам сообщить свои подробные наблюдения над его любовными отношениями с другими детьми, в которых можно констатировать «выбор объекта», как у взрослого. И здесь мы имеем дело с весьма замечательной подвижностью и полигамическими склонностями.

«Зимой (33/4 года) я беру с собой Ганса на каток и знакомлю его там с двумя дочурками моего коллеги в возрасте приблизительно около 10 лет. Ганс присаживается к ним. Они, в сознании своего зрелого возраста, смотрят с презрением на малыша. А он глядит на них с обожанием во взгляде, и, хотя это не производит на них никакого впечатления, он называет их уже „своими девочками»: „Где же мои девочки? Когда же придут мои девочки?» А дома несколько недель он пристает ко мне с вопросом: „А когда я опять пойду на каток к моим девочкам?»

5-летний кузен находится в гостях у Ганса (которому теперь 4 года). Ганс много раз обнимает его и однажды при таком нежном объятии говорит: «Как я тебя люблю».

Это первая, но не последняя черта гомосексуальности, с которой мы встретимся у Ганса. Наш маленький Ганс начинает казаться образцом испорченности.

«Мы переехали на новую квартиру (Гансу 4 года). Из кухни дверь ведет на балкончик, с которого видна находящаяся напротив во дворе квартира. Здесь Ганс открыл девочку 7–8 лет. Теперь он, чтобы глядеть на нее, садится на ступеньку, ведущую к балкончику, и остается там часами. Особенно в 4 часа пополудни, когда девочка приходит из школы, его нельзя удержать в комнатах или увести с его наблюдательного поста. Однажды, когда девочка в обычное время не показывается у окна, Ганс начинает волноваться и приставать ко всем с вопросами: „Когда придет девочка? Где девочка?» и т. д., а затем, когда она появляется, Ганс счастлив и уже не отводит глаз от ее квартиры. Сила, с которой проявляется эта „любовь на расстоянии», объясняется тем, что у Ганса нет товарищей и подруг. Для нормального развития ребенка, по-видимому, необходимо постоянное общение с другими детьми.

Такое общение выпало на долю Ганса, когда мы на лето (4'/2 года) переехали в Гмунден. В нашем доме с ним играют дети домохозяина: Франц (12 лет), Фриц (8 лет), Ольга (7 лет) и Берта (5 лет) и, кроме того, дети соседей: Анна (10 лет) и еще две девочки 9 и 7 лет, имен которых я не знаю. Его любимец – Фриц, которого он часто обнимает и уверяет в своей любви. Однажды на вопрос, какая из девочек ему больше всего нравится, он отвечает: «Фриц». В то же время он по отношению к девочкам очень агрессивен, держится мужчиной,

завоевателем, обнимает и целует их, что Берте, например, очень нравится. Вечером, когда Берта выходит из комнаты, Ганс обнимает ее и самым нежным тоном говорит: «Берта, и милая же ты!» Но это ему не мешает целовать и других девочек и уверять в своей любви. Ему нравится и Марика – 14-летняя дочь домохозяина, которая с ним играет. Вечером, когда его укладывают в постель, он говорит: «Пусть Марика спит со мной». Когда ему указывают, что это невозможно, он говорит: «Тогда пусть она спит с папой или с мамой». Когда ему возражают, что и это невозможно, так как она должна спать у своих родителей, завязывается следующий диалог:

Ганс: «Тогда я пойду вниз спать к Марике».

Мама: «Ты действительно хочешь уйти от мамы и спать внизу?»

Ганс: «Но я ведь утром к кофе опять приду наверх».

Мама: «Если ты действительно хочешь уйти от папы и мамы, забери свою куртку, штанишки и— с богом!»

Ганс забирает свои вещи и идет спать к Марике, но его, конечно, возвращают обратно».

(За желанием «пусть Марика спит у нас» скрыто иное: пусть Марика, в обществе которой он так охотно бывает, войдет в наш дом. Но несомненно и другое. Так как отец и мать Ганса, хотя и не часто, брали его к себе в кровать и при лежании с ними у него пробуждались эротические ощущения, то, вероятно, и желание спать с Марикой имеет свой эротический смысл. Для Ганса, как и для всех детей, лежать в постели с отцом или матерью есть источник эротических возбуждений.)

Наш Ганс, несмотря на его гомосексуальные склонности, при расспросах матери ведет себя как настоящий мужчина.

И в нижеследующем случае Ганс говорит матери: «Слушай, я ужасно хотел бы один раз поспать с этой девочкой». Этот случай весьма забавляет нас, так как Ганс держится как взрослый влюбленный. В ресторан, где мы обедаем уже несколько дней, приходит хорошенькая 8-летняя девочка, в которую Ганс, конечно, сейчас же влюбляется. Он все время вертится на своем стуле, чтобы одним глазком поглядеть на нее; после обеда он становится около нее, чтобы пококетничать с ней, но жестоко краснеет, если замечает, что за ним наблюдают. Когда взгляд его встречается со взглядом девочки, он стыдливо отворачивается в противоположную сторону. Его поведение, конечно, развлекает всех посетителей ресторана. Каждый день, когда его ведут в ресторан, он спрашивает:

«Как ты думаешь, девочка будет там сегодня?» Когда она, наконец приходит, он краснеет, как взрослый в той же ситуации. Однажды он приходит ко мне сияющий и шепчет мне на ухо: «Слушай, я уже знаю, где живет девочка. Я видел, где она подымалась по лестнице». В то время как у себя он агрессивен по отношению к девочкам, здесь он держится как платонически вздыхающий поклонник. Быть может, это связано и с тем, что девочки в доме – деревенские дети, а это – культурная дама. Выше уже было упомянуто что он высказывал желание спать с этой девочкой.

Так как я не хочу оставить Ганса в том состоянии душевного напряжения, в котором он находится из-за любви к девочке, я знакомлю его с ней и приглашаю ее прийти к нам в сад к тому времени, когда он выспится после обеда. Ганс так возбуждается ожиданием прихода девочки, что он в первый раз не может после обеда заснуть и беспокойно вертится в постели. Мать его спрашивает: «Почему ты не спишь? Быть может, ты думаешь о девочке?» На что Ганс, счастливый, отвечает: «Да». Кроме этого, когда он пришел домой, он всем рассказал: «Сегодня ко мне придет девочка», – и все время приставал к Марике: «Послушай, как ты думаешь, будет она со мной мила, поцелует она меня, когда я ее поцелую», и т. п.

После обеда шел дождь, и посещение не состоялось, а Ганс утешился с Бертой и Ольгой».

Дальнейшие наблюдения все еще из периода пребывания в деревне заставляют думать, что у мальчика появляется и кое-что новое.

«Ганс (4 1/4 года). Сегодня утром мать, как каждый день, купает Ганса и после купанья вытирает его и припудривает. Когда мать очень осторожно припудривает пенис, чтобы его

не коснуться, Ганс говорит: „Почему ты здесь не трогаешь пальцем?»

Мать: «Потому что это свинство».

Ганс: «Что это значит – свинство? Почему?»

Мать: «Потому что это неприлично».

Ганс (смеясь): «Но приятно»40.

Почти в то же время сновидение Ганса по содержанию своему резко отличается от той смелости, которую он проявил по отношению к матери. Это первый искаженный до неузнаваемости сон мальчика. Только благодаря проницаемости отца удается истолковать его.

«Гансу 41/4 года. Сон. Сегодня утром Ганс просыпается и рассказывает: „Слушай, сегодня ночью я думал: „Один говорит: кто хочет ко мне прийти? Тогда кто-то говорит: «Я». Тогда он должен его заставить сделать wiwi».

Из дальнейших вопросов становится ясно, что в этом сне зрительные впечатления отсутствуют и он принадлежит к чисто слуховому типу. Несколько дней назад Ганс играл с детьми домохозяина, своими приятельницами Бертой (7 лет) и Ольгой (5 лет), в разные игры и между прочим в фанты (А: «Чей фант в моей руке?» В: «Мой». Тогда В назначают, что он должен сделать). Сон Ганса есть подражание игре в фанты, только Ганс хочет, чтобы тот, кому принадлежит фант, был присужден не к обычным поцелуям или пощечинам, а к уринированию, или, точнее говоря, кто-то должен его (Ганса) заставить делать wiwi.

Я прошу его еще раз рассказать свой сон; он рассказывает его теми же словами, но вместо «тогда кто-то говорит» произносит: «тогда она говорит». Эта «она», вероятно, Берта или Ольга, с которыми он играл. Следовательно, в переводе сон означает следующее: я играю с девочками в фанты и спрашиваю, кто хочет ко мне прийти? Она (Берта или Ольга) отвечает: «Я». Тогда она должна меня заставить делать wiwi (т. е. помочь при этом, что, по-видимому, для Ганса приятно).

Ясно, что этот процесс, когда Гансу расстегивают штанишки и вынимают его пенис, окрашен для него приятным чувством. Во время прогулок эту помощь Гансу оказывает отец, что и дает повод фиксировать гомосексуальную склонность к отцу.

Два дня назад он, как я уже сообщал, спрашивал мать, почему она не прикасается к его пенису пальцами. Вчера, когда я его отвел в сторонку для уринирования, он впервые попросил меня отвести к задней стороне дома, чтобы никто не мог видеть, и заметил: «В прошлом году, когда я делал wiwi, Берта и Ольга смотрели на меня». Это, по моему мнению, должно означать, что в прошлом году это любопытство девиц было для него приятно, а теперь – нет. Эксгибиционистское удовольствие (от обнажения половых органов) теперь подвергается вытеснению. Вытеснение желания, чтобы Берта или Ольга смотрели, как он делает wiwi (или заставляли его делать wiwi), объясняет появление этого желания во сне, которому он придал красивую форму игры в фанты. С этого времени я несколько раз наблюдал, что он хочет делать wiwi незаметно для всех».

Я тут же отмечу, что и этот сон подчиняется закону, который я привел в своем «Толковании сновидений». Разговоры, которые имеют место во сне, происходят от собственных или слышанных разговоров в течение ближайших ко сну дней.

Вскоре после переезда в Вену отец фиксирует еще одно наблюдение: «Ганс, 4 1/2 года, еще раз смотрит, как купают его маленькую сестру, и начинает смеяться. Его спрашивают, почему он смеется.

Ганс: «Я смеюсь над Wiwimacher'ом у Анны». – «Почему?» – «Потому что Wiwimacher у нее такой красивый»..

Ответ, конечно, ложный. Wiwimacher ему показался комичным. Но, между прочим, теперь он впервые в такой форме признает разницу между мужским и женским половым органом вместо того, чтобы отрицать ее.

История болезни и анализ

«Уважаемый г-н профессор! Я посылаю вам опять частицу Ганса, да этот раз, к сожалению, материал к истории болезни. Как вы увидите из прочитанного, у Ганса в последние дни развилось нервное расстройство, которое меня с женой беспокоит, так как мы не можем найти средства устранить его. Прошу разрешить мне прийти к вам завтра, а пока посылаю вам имеющийся у меня материал в записях.

Сексуальное возбуждение, вызванное нежностью матери, вероятно, является причиной нервного расстройства, но вызывающего повода я указать не в состоянии. Боязнь, что его на улице укусит лошадь, быть может, связана с тем, что он был где-нибудь испуган видом большого пениса. Как вы знаете, он уже раньше заметил большой пенис лошади, и тогда он пришел к заключению, что у матери, так как она большая, Wiwimacher должен быть как у лошади.

Как взяться за то, чтобы извлечь полезное из этих предположений, я не знаю. Быть может, он где-нибудь видел эксгибициониста? Или все это имеет отношение только к матери? Нам весьма неприятно, что он уже теперь начинает нам задавать загадки.

Если не считать страха выйти на улицу и дурного настроения по вечерам, то Ганс и теперь все такой же бойкий и веселый мальчик».

Оставим пока в стороне и вполне понятное беспокойство отца, и его первые попытки объяснения и попробуем раньше разобраться в материале. В нашу задачу вовсе не входит сразу «понять» болезнь. Это может удаться только позже, когда мы получим достаточно впечатлений о ней. Пока мы оставим в стороне и наше мнение и с одинаковым вниманием отнесемся ко всем данным наблюдения.

Первые сведения, которые относятся к первым числам января 1908 г., гласят: «Ганс (43/4 года) утром входит к матери с плачем и на вопрос, почему он плачет, говорит: „Когда я спал, я думал, что ты ушла и у меня нет мамы, чтобы ласкаться к ней».

Итак – страшное сновидение. Нечто подобное я уже заметил летом в Гмундене. Вечером в постели он большею частью бывал нежно настроен, и однажды он выразился приблизительно так: «А если у меня не будет мамы, если ты уйдешь», или что-то в этом роде, я не могу вспомнить слов. Когда он приходил в такое элегическое настроение, мать брала его к себе в постель.

Примерно 5-го января Ганс пришел к матери в кровать и по этому поводу рассказал ей следующее: «Ты знаешь, что тетя М сказала: „А у него славная птичечка»41. (Тетка М. 4 недели тому назад жила у нас; однажды при купании мальчика она, действительно, сказала тихо вышеприведенные слова моей жене. Ганс слышал это и постарался это использовать.)

7 января он идет, как обычно, с няней в городской парк; на улице он начинает плакать и требует, чтобы его вели домой, так как он хочет приласкаться к матери. Дома на вопрос, почему он не хотел идти дальше и плакал, он ответа дать не хочет. Вплоть до вечера он, как обыкновенно, весел, вечером становится, по-видимому, тревожен, плачет, и его никак нельзя увести от матери, он опять хочет «ласкаться». Потом он становится весел и ночь спит хорошо.

8 января жена хочет сама с ним пойти гулять, чтобы видеть, что с ним происходит, и именно в Шенбрунн, куда он обыкновенно охотно ходит. Он опять начинает плакать, не хочет отойти от матери, боится. Наконец он все-таки идет, но на улице на него находит, по-видимому, страх. По возвращении из Шенбрунна Ганс после долгого запирательства заявляет матери: «Я боялся, что меня укусит лошадь». (Действительно, в Шенбрунне он волновался, когда видел лошадь.) Вечером у него опять был припадок вроде вчерашнего с требованием материнских ласк. Его успокаивают. Он со слезами говорит: «Я знаю, завтра я должен опять пойти гулять», – и позже: «Л ошадь придет в комнату».

В тот же день его спрашивает мать: «Ты, может, трогаешь рукой Wiwimacher?» На это он отвечает: «Да, каждый вечер, когда я в кровати». В следующий день, 9 января, его перед послеобеденным сном предупреждают не трогать рукой Wiwimacher’а. После пробуждения он на соответствующий вопрос отвечает, что он все-таки на короткое время клал туда руку».

Все это могло быть началом и страха и фобии. Мы видим, что у нас есть достаточное

основание отделить их друг от друга. В общем материала кажется нам вполне достаточно для ориентировки, и никакой другой момент не является столь благоприятным для понимания, как эта, к сожалению, обычно пропускаемая или замалчиваемая начальная стадия. Расстройство начинается с тревожно-нежных мыслей, а затем со страшного сновидения. Содержание последнего: потерять мать, так что к ней нельзя будет приласкаться. Итак, нежность к матери должна быть ненормально повышена. Это – основной феномен болезненного состояния. Вспомним еще обе попытки совращения, которые Ганс предпринимал по отношению к матери. Первая из них имела место летом, вторая непосредственно перед появлением боязни улицы и представляла собой просто рекомендацию своего полового органа. Эта повышенная нежность к матери превращается в страх, или, как мы говорим, она подвергается вытеснению. Мы не знаем еще, откуда идет толчок к вытеснению; быть может, здесь играет роль интенсивность возбуждения, которая не по силам ребенку, быть может, здесь принимают участие другие силы, которых мы еще не знаем.

Мы узнаем все это позже. Этот страх, соответствующий вытесненному эротическому влечению, как и всякий детский страх, не имеет объекта; это еще страх (Angst), а не боязнь (Furcht). Дитя не может знать, чего оно боится, и когда Ганс на прогулке с няней не хочет сказать, чего он боится, то это потому, что он этого еще не знает. Он говорит то, что знает: ему на улице не хватает мамы, с которой он мог бы понежничать и от которой он не хочет уйти. Тут он со всей своей искренностью выдает первый смысл своего отвращения к улице.

Кроме этого, его тревожные состояния перед сном, отчетливо окрашенные нежностью, следовавшие одно за другим два вечера подряд, доказывают, что в начале болезни у него еще не было фобии улиц, прогулок или даже лошадей, в противном случае его вечернее состояние было бы необъяснимо: кто перед тем, как идти спать, думает об улице или прогулке? Напротив, весьма легко себе представить, что на него вечером нападает страх потому, что его перед тем, как лечь в постель, с особенной силой охватывает либидо, объектом которого является мать, а цель которого – спать у матери. Он уже из опыта знает, что при подобных настроениях в Гмунде-не мать брала его к себе в постель, и ему хотелось бы добиться этого и в Вене. При этом не надо забывать, что в Гмундене он одно время был с матерью один, так как отец не мог там находиться в продолжение всего каникулярного времени, а кроме того, там нежность Ганса была распределена между рядом товарищей, друзей и приятельниц, которых здесь не было, и либидо могло нераздельно направляться на мать.

Итак, страх соответствует вытесненному желанию (Sehnsucht). Но он далеко не эквивалентен этому желанию, и вытеснение кое в чем оказывает свое влияние. Желание может целиком вылиться в удовлетворение, когда к нему допускают желаемый объект. При страхе это лечение уже бесполезно. Страх остается даже тогда, когда желание могло бы быть удовлетворенным. Страх уже больше нельзя обратно превратить в либидо, которое чем-то удерживается в состоянии вытеснения. Это обнаруживается на первой же прогулке с матерью. Ганс теперь с матерью и все-таки одержим страхом, иначе говоря, неудовлетворенным стремлением к ней. Конечно, страх слабее, – он все-таки гуляет, в то время как няню он заставил вернуться; к тому же улица не совсем подходящее место Для ласк и для всего того, чего хочется маленькому влюбленному. Но страх уже выдержал испытание, и теперь он должен найти объект. На этой прогулке он в первый раз высказывает опасение, что его укусит лошадь. Откуда взялся материал для этой фобии? Вероятно, из тех еще неизвестных комплексов, которые повели к вытеснению и удержали в вытесненном состоянии либидо к матери. Некоторые опорные пункты для понимания дал нам уже отец, а именно – что Ганс с интересом наблюдал лошадей из-за их большого Wiwimacher'а, что, по его мнению, у матери должен быть такой же Wiwimacher, как у лошадей, и т. п. На основании этого можно было бы думать, что лошадь – это только заместительница матери. Но почему Ганс выказывает вечером страх, что лошадь придет в комнату? Скажут, что это глупая тревожная мысль маленького ребенка. Но невроз, как и сон, не говорит ничего

глупого. Мы всегда бранимся тогда, когда ничего не понимаем. Это значит облегчить себе задачу.

От этого искушения мы должны удержаться еще и в другом отношении. Ганс сознавался, что для удовольствия перед засыпанием возится со своим пенисом. Ну, скажет практический врач, теперь все ясно. Ребенок мастурбирует, и отсюда страх. Пусть так! То, что дитя вызывало у себя мастурбацией ощущения удовольствия, никак не объясняет нам его страха, а, наоборот, делает его загадочным. Состояния страха не вызываются ни мастурбацией, ни удовлетворением. При этом мы должны иметь в виду, что наш Ганс, которому теперь 43/4 года, доставляет себе ежевечерне это удовольствие уже примерно с год, и мы позже узнаем, что он как раз теперь борется с этой привычкой, что уже скорее вяжется с вытеснением и образованием страха.

Мы должны стать и на сторону доброй и, конечно, весьма заботливой матери. Отец обвиняет ее, и не совсем без основания, что она своей преувеличенной нежностью и слишком частой готовностью взять мальчика к себе в кровать вызвала появление невроза; мы могли бы также сделать ей упрек в том, что она ускорила наступление вытеснения своим энергичным отказом в ответ на его домогательства («это – свинство»).

Но ее положение затруднительно, и она только исполняет веление судьбы.

Я условливаюсь с отцом, чтобы тот сказал мальчику, что история с лошадьми – это глупость и больше ничего. На самом деле он болен оттого, что слишком нежен с матерью и хочет, чтобы она брала его к себе в кровать. Он теперь боится лошадей потому, что его так заинтересовал Wiwimacher у лошадей. Он сам заметил, что неправильно так сильно интересоваться Wiwimacher'ом, даже своим собственным, и это совершенно верно. Далее я предложил отцу взяться за сексуальное просвещение Ганса. Так как мы из записей отца знаем, что либидо Ганса связана с желанием видеть Wiwimacher матери, то нужна отвлечь его от этой цели, сообщив ему, что у матери и у всех других женщин, как это он уже видел у Анны, Wiwimacher'а вообще не имеется. Последнее объяснение следует дать при удобном случае, после какого-нибудь вопроса со стороны Ганса.

Следующие известия, касающиеся нашего маленького Ганса, обнимают период с 1 до 17 марта. Месячная пауза вскоре получит свое объяснение.

«После разъяснения42 следует более спокойный период, когда Ганса можно ежедневно без особенного труда вести гулять в городской парк. Его страх перед лошадьми все больше превращается в навязчивое стремление смотреть на лошадей. Он говорит: «Я должен смотреть на лошадей, и тогда я их боюсь».

После инфлюэнцы, которая его на 2 недели приковала к постели, фобия его опять настолько усилилась, что его никак нельзя было заставить выйти на улицу; в крайнем случае он выходит на балкон. Еженедельно он ездит со мной в Лайнц43 по воскресеньям, так как в эти дни на улицах мало экипажей и ему нужно пройти очень короткое расстояние до станции. В Лайнце он однажды отказывается выйти из сада на улицу гулять, так как перед садом стоит экипаж. Еще через неделю, которую ему пришлось оставаться дома, так как у него вырезали миндалины, фобия опять усилилась. Он хотя все еще выходит на балкон, но не идет гулять; он быстро возвращается, когда подходит к воротам.

В воскресенье 1 марта по дороге на вокзал у меня завязывается с ним следующий разговор. Я опять стараюсь ему объяснить, что лошади не кусаются. Он: «Но белые лошади кусаются. В Гмундене есть белая лошадь, которая кусается. Когда перед ней держат палец, она кусает». (Меня удивляет, что он говорит «палец» вместо «руку».) Затем он рассказывает следующую историю, которую я здесь передаю более связно.

Когда Лицци должна была уезжать, перед ее домом стоял экипаж с белой лошадью, чтобы отвезти вещи на вокзал. (Лицци, как он мне рассказывает, это девочка, жившая в соседнем доме.) Ее отец стоял близко около лошади; лошадь повернула голову (чтобы его тронуть), а он и говорит Лицци: «Не давай пальцев белой лошади, а то она тебя укусит». Я говорю на это: «Слушай, мне кажется, что то, что ты думаешь, вовсе не лошадь, а Wiwimacher, которого нельзя трогать руками».

Он: «Но ведь Wiwimacher не кусается?»

Я: «Все может быть!» На что он мне весьма оживленно старается доказать, что там действительно была белая лошадь44.

2-го марта, когда он опять выказывает страх, я говорю ему: «Знаешь что? Глупость (так называет он свою фобию) пропадет, если ты будешь чаще ходить гулять. Теперь она так сильна, потому что ты из-за болезни не выходил из дому».

Он: «О нет, она сильна потому, что я начал каждую ночь трогать рукой свой Wiwimacher».

Врач и пациент, отец и сын сходятся на том, что приписывают отвыканию от онанизма главную роль в патогенезе нынешнего состояния. Но имеются указания и на значение других моментов.

«3 марта к нам поступила новая прислуга, которая возбудила в Гансе особую симпатию. Так как она при уборке комнат сажает его на себя, он называет ее „моя лошадь» и всегда держит ее за юбку, понукая ее. 10 марта он говорит ей: «Когда вы сделаете то-то и то-то, вы должны будете совершенно раздеться, даже снять рубашку. (Он думает – в наказание, но за этими словами легко видеть и желание.)

Она: «Ну что же из этого: я себе подумаю, что у меня нет денег на платье».

Он: «Но это же стыд, ведь все увидят Wiwimacher». Старое любопытство направлено на новый объект, и, как это бывает в периоды вытеснения, оно прикрывается морализирующей тенденцией!

Утром 13 марта я говорю Гансу: «Знаешь, когда ты перестанешь трогать свой Wiwimacher, твоя глупость начнет проходить».

Ганс: «Я ведь теперь больше не трогаю Wiwimacher».

Я: «Но ты этого всегда хотел бы».

Ганс: «Да, это так, но „хотеть» не значит делать, а „делать» – это не „хотеть»(!!).

Я: «Для того чтобы ты не хотел, на тебя сегодня на ночь наденут мешок».

После этого мы выходим за ворота. Он хотя еще и испытывает страх, но благодаря надежде на облегчение своей борьбы говорит заметно храбрее: «Ну, завтра, когда я получу мешок, глупости больше не будет». В самом деле, он пугается лошадей значительно меньше и довольно спокойно пропускает мимо себя проезжающие кареты.

В следующее воскресенье, 15 марта, Ганс обещал поехать со мной в Лайнц. Сначала он капризничает, наконец он все-таки идет со мной. На улице, где мало экипажей, он чувствует себя заметно лучше и говорит: «Это умно, что боженька уже выпустил лошадь». По дороге я объясняю ему, что у его сестры нет такого же Wiwimacher'а, как у него. Девочки и женщины не имеют совсем Wiwmiacher'а. У мамы нет, у Анны нет и т. д.

Ганс: «У тебя есть Wiwimacher?»

Я: «Конечно, а ты что думал?»

Ганс (после паузы): «Как же девочки делают wiwi, когда у них нет Wiwimacher'а?»

Я: «У них нет такого Wiwimacher'а, как у тебя, разве ты не видел, когда Анну купали?»

В продолжение всего дня он весел, катается на санях и т. д. Только к вечеру он становится печальным и, по-видимому, опять боится лошадей.

Вечером нервный припадок и нужда в нежничании выражены слабее, чем в прежние дни. На следующий день мать берет его с собой в город, и на улице он испытывает большой страх. На другой день он остается дома – и очень весел. На следующее утро около 6 ч он входит к нам с выражением страха на лице. На вопрос что с ним, он рассказывает: «Я чуть-чуть трогал пальцем Wiwimacher. Потом я видел маму совсем голой в сорочке, и она показала мне свой Wiwimacher. Я показал Грете45, моей Грете, что мама делает, и показал ей мой Wiwimacher. Тут я скоро и отнял руку от Wiwimacher'а». На мое замечание, что может быть только одно из двух: или в сорочке, или совершенно голая, Ганс говорит: «Она была в сорочке, но сорочка была такая короткая, что я видел Wiwimacher».

Все это в целом – не сон, но эквивалентная сну онанистическая фантазия. То, что он заставляет делать мать, служит, по-видимому, для его собственного оправдания: раз мама

показывает Wiwimacher, можно и мне».

Из этой фантазии мы можем отметить следующее: во-первых, что замечание матери в свое время имело на него сильное влияние, и, во-вторых, что разъяснение об отсутствии у женщин Wiwimacher'а еще не было им принято. Он сожалеет, что на самом деле это так, и в своей фантазии прочно держится за свою точку зрения. Быть может, у него есть свои основания отказывать отцу в доверии.

Недельный отчет отца: «Уважаемый г-н профессор! Ниже следует продолжение истории нашего Ганса, интереснейший отрывок. Быть может, я позволю себе посетить вас в понедельник, в приемные часы и, если удастся, приведу с собой Ганса, конечно, если он пойдет. Сегодня я его спросил: „Хочешь пойти со мной в понедельник к профессору, который у тебя отнимет глупость?»

Он: «Нет».

Я: «Но у него есть очень хорошенькая девочка». После этого он охотно и с удовольствием дает свое согласие.

Воскресенье, 22 марта. Чтобы несколько расширить воскресную программу дня, я предлагаю Гансу поехать сначала в Шенбрунн и только оттуда к обеду – в Лайнц. Таким образом, ему приходится не только пройти пешком от квартиры до станции у таможни, но еще от станции Гитцинг в, Шенбрунн, а оттуда к станции парового трамвая Гитцинг. Все это он и проделывает, причем он, когда видит лошадей, быстро отворачивается, так как ему делается, по-видимому, страшно. Отворачивается он по совету матери.

В Шенбрунне он проявляет страх перед животными. Так, он ни за что не хочет войти в помещение, в котором находится жираф, не хочет войти к слону, который обыкновенно его весьма развлекает. Он боится всех крупных животных, а у маленьких чувствует себя хорошо. Среди птиц на этот раз он боится пеликана чего раньше никогда не было, вероятно, из-за его величины.

Я ему на это говорю: «Знаешь, почему ты боишься больших животных? У больших животных большой Wiwimacher, а ты на самом деле испытываешь страх перед большим Wiwimacher'ом».

Ганс: «Но я ведь никогда не видел Wiwimacher у больших животных»46.

Я: «У лошади ты видел, а ведь лошадь тоже большое животное».

Ганс: «Да, у лошади – часто. Один раз в Гмундене, когда перед домом стоял экипаж, один раз перед таможней».

Я: «Когда ты был маленьким, ты, вероятно, в Гмундене пошел в конюшню…»

Ганс (прерывая): «Да каждый день в Гмундене, когда лошади приходили домой, я заходил в конюшню».

Я: «…и ты, вероятно, начал бояться, когда однажды увидел у лошади большой Wiwimacher. Но тебе этого нечего пугаться. У больших животных большой Wiwimacher, у маленьких – маленький».

Ганс: «И у всех людей есть Wiwimacher, и Wiwimacher вырастет вместе со мной, когда я стану больше; ведь он уже вырос».

На этом разговор прекращается; в следующие дни страх как будто опять увеличился. Он не решается выйти за ворота, куда его обыкновенно водят после обеда».

Последняя утешительная речь Ганса проливает свет на положение вещей и дает нам возможность внести некоторую поправку в утверждения отца. Верно, что он боится больших животных, потому что он должен думать об их большом Wiwimacher'е, но, собственно, нельзя еще говорить, что он испытывает перед самим большим Wiwimacher'ом. Представление о таковом было у него раньше безусловно окрашено чувством удовольствия, и он всячески старался Как-нибудь увидеть этот Wiwimacher. С того времени это удовольствие было испорчено превращением его в неудовольствие, которое, непонятным еще для нас образом, охватило все его сексуальное исследование и, что для нас более ясно, после известного опыта и размышлений привело его к мучительным выводам. Из его самоутешения: Wiwimacher вырастет вместе со мною – можно заключить, что он при своих

наблюдениях всегда занимался сравнениями и остался весьма неудовлетворенным величиной своего собственного Wiwimacher'а. Об этом дефекте напоминают ему большие животные, которые для него по этой причине неприятны. Но так как весь ход мыслей, вероятно, никак не может стать ясно сознаваемым, то это тягостное ощущение превращается в страх; таким образом, страх его построен как на прежнем удовольствии, так и на теперешнем неудовольствии. После того как состояние страха уже установилось, страх поглощает все остальные ощущения. Когда процесс вытеснения прогрессирует, когда представления, связанные с аффектом и уже бывшие осознанными все больше отодвигаются в бессознательное, – все аффекты могут превратиться в страх.

Курьезное замечание Ганса «он ведь уже вырос» дает дам возможность в связи с его самоутешением угадать многое, что он не может высказать и чего он не высказал при настоящем анализе.

Я заполняю этот пробел моими предположениями, составленными на основании опыта с анализами взрослых. Но я надеюсь, что мои дополнения не покажутся включенными насильственно и произвольно. «Ведь он уже вырос». Об этом Ганс думает назло и для самоутешения; но это напоминает нам и старую угрозу матери: что ему отрежут Wiwimacher, если он будет продолжать возиться с ним. Эта угроза тогда, когда ему было 3'/2 года, не произвела впечатления. Он с невозмутимостью ответил, что он тогда будет делать wiwi своим роро. Можно считать вполне типичным, что угроза кастрацией оказала свое влияние только через большой промежуток времени, и он теперь – через 1 '/4 года – находится в страхе лишиться дорогой частички своего Я. Подобные проявляющиеся лишь впоследствии влияния приказаний и угроз, сделанных в детстве, можно наблюдать и в других случаях болезни, где интервал охватывает десятилетия и больше. Я даже знаю случаи, когда «запоздалое послушание» вытеснения оказывало существенное влияние на детерминирование болезненных симптомов.

Разъяснение, которое Ганс недавно получил об отсутствии Wiwimacher'а у женщин, могло только поколебать его доверие к себе и пробудить кастрационный комплекс. Поэтому он и протестовал против него, и поэтому не получилось лечебного эффекта от этого сообщения: раз действительно имеются живые существа, у которых нет никакого Wiwimacher'а, тогда уже нет ничего невероятного в том, что у него могут отнять Wiwimacher и таким образом сделают его женщиной47.

«Ночью с 27-го на 28-е Ганс неожиданно для нас в темноте встает со своей кровати и влезает в нашу кровать. Его комната отделена от нашей спальни кабинетом. Мы спрашиваем его, зачем он пришел, не боялся ли он чего-нибудь. Он говорит: „Нет, я это скажу завтра», засыпает в нашей кровати, и затем уже его относят в его кровать.

На следующее утро я начинаю его усовещивать, чтобы узнать, зачем он ночью пришел к нам. После некоторого сопротивления развивается следующий диалог, который я сейчас же стенографически записываю.

Он: «Ночью в комнате был один большой и другой измятый жираф, и большой поднял крик, потому что я отнял у него измятого. Потом он перестал кричать, а потом я сел на измятого жирафа».

Я, с удивлением: «Что? Измятый жираф? Как это было?»

Он: «Да». Быстро приносит бумагу, быстро мнет и говорит мне: «Вот так был он измят».

Я: «И ты сел на измятого жирафа? Как?» Он это мне опять показывает и садится на пол.

Я: «Зачем же ты пришел в комнату?»

Он: «Этого я сам не знаю».

Я: «Ты боялся?»

Он: «Нет, как будто нет».

Я: «Тебе снились жирафы?»

Он: «Нет, не снились; я себе это думал, все это я себе думал, проснулся я уже раньше».

Я: «Что это должно значить: измятый жираф? Ведь ты знаешь, что жирафа нельзя

смять, как кусок бумаги».

Он: «Это я знаю. Я себе так думал. Этого даже не бывает на свете48. Измятый жираф совсем лежал на полу, а я его взял себе, взял руками».

Я: «Что, разве можно такого большого жирафа взять руками?»

Он: «Я взял руками измятого».

Я: «А где в это время был большой?»

Он: «Большой-то стоял дальше, в сторонке».

Я: «А что ты сделал с измятым?»

Он: «Я его немножко подержал в руках, пока большой перестал кричать, а потом сел на него».

Я: «А зачем большой кричал?»

Он: «Потому что я у него отнял маленького». Замечает, что я все записываю, и спрашивает: «Зачем ты все записываешь?»

Я: «Потому что я это пошлю одному профессору, который у тебя отнимет глупость».

Он: «Ага, а ты ведь написал и то, что мама сняла рубашку, ты это тоже дашь профессору?»

Я: «Да, и ты можешь поверить, что он не поймет, как можно измять жирафа».

Он: «А ты ему скажи, что я сам этого не знаю, и тогда он не будет спрашивать, а когда он спросит, что такое измятый жираф, пусть он нам напишет, и мы ему ответим или сейчас напишем, что я сам этого не знаю».

Я: «Почему же ты пришел ночью?»

Он: «Я этого не знаю».

Я: «Скажи-ка мне быстро, о чем ты теперь думаешь?»

Он (с юмором): «О малиновом соке».

Я: «О чем еще?»

Его желания:

Он: «О настоящем ружье для убивания насмерть»49.

Я: «Тебе ведь это не снилось?»

Он: «Наверно, нет; нет – я знаю совершенно определенно».

Он продолжает рассказывать: «Мама меня так долго просила, чтобы я ей сказал, зачем я приходил ночью. А я этого не хотел сказать, потому что мне было стыдно перед мамой».

Я: «Почему?»

Он: «Я этого не знаю».

В действительности жена моя расспрашивала его все утро, пока он не рассказал ей историю с жирафами.

В тот же день находит разгадку фантазия с жирафами.

Большой жираф – это я (большой пенис – длинная шея), измятый жираф – моя жена (ее половые органы), и все это – результат моего разъяснения.

Жираф: см. поездку в Шенбрунн.

Кроме того, изображения жирафа и слона висят над его кроватью.

Все вместе есть репродукция сцены, повторяющейся в последнее время почти каждое утро. Ганс приходит утром к нам, и моя жена не может удержаться, чтобы не взять его на несколько минут к себе в кровать. Тут я обыкновенно начинаю ее убеждать не делать этого («большой жираф кричал, потому что я отнял у него измятого»), а она с раздражением мне отвечает, что это бессмысленно, что одна минута не может иметь последствий и т. д. После этого Ганс остается у нее на короткое время (тогда большой жираф перестал кричать и тогда я сел на измятого жирафа).

Разрешение этой семейной сцены, транспонированной на жизнь жирафов, сводится к следующему: ночью у него появилось сильное стремление к матери, к ее ласкам, ее половому органу, и поэтому он Пришел в спальню. Все это – продолжение его боязни лошадей».

Я мог бы к остроумному толкованию отца прибавить только следующее: «сесть (Das

Drauf s e t z e n) на что-нибудь» у Ганса, вероятно, соответствует представлению об обладании (B e s i t zergreifen). Все вместе – это фантазия упрямства, которая с чувством удовлетворения связана с победой над сопротивлением отца: «Кричи сколько хочешь, а мама все-таки возьмет меня в кровать и мама принадлежит мне». Таким образом, за этой фантазией скрывается все то, что предполагает отец: страх, что его не любит мать потому что его Wiwimacher несравненно меньше, чем у отца.

На следующее утро отец находит подтверждение своего толкования.

«В воскресенье, 28 марта, я еду с Гансом в Лайнц. В дверях прощаясь, я шутя говорю жене: „Прощай, большой жираф». Ганс спрашивает: „Почему жираф?» Я: „Большой жираф – это мама». Ганс: „Неправда, а разве Анна – это измятый жираф?»

В вагоне я разъясняю ему фантазию с жирафами. Он сначала говорит: «Да, это верно», а затем, когда я ему указал, что большой жираф – это я, так как длинная шея напомнила ему Wiwimacher, он говорит: «У мамы тоже шея как у жирафа – я это видел, когда мама мыла свою белую шею»50.

В понедельник 30 марта утром Ганс приходит ко мне и говорит: «Слушай, сегодня я себе подумал две вещи. Первая? Я был с тобой в Шенбрунне у овец, и там мы пролезли под веревки, потом мы это сказали сторожу у входа, а он нас и сцапал». Вторую он забыл.

По поводу этого я могу заметить следующее: когда мы в воскресенье в зоологическом саду хотели подойти к овцам, оказалось, что это место было огорожено веревкой, так что мы не могли попасть туда. Ганс был весьма удивлен, что ограждение сделано только веревкой, под которую легко пролезть. Я сказал ему, что приличные люди не пролезают под веревку. Ганс заметил, что ведь это так легко сделать. На это я ему сказал, что тогда придет сторож, который такого человека и уведет. У входа в Шенбрунн стоит гвардеец, о котором я говорил Гансу, что он арестовывает дурных детей.

В этот же день, по возвращении от вас, Ганс сознался еще в нескольких желаниях сделать что-нибудь запрещенное. «Слушай, сегодня рано утром я опять о чем-то думал». – «О чем?» – «Я ехал с тобой в вагоне, мы разбили стекло, и полицейский нас забрал».

Правильное продолжение фантазии с жирафами. Он чувствует, что нельзя стремиться к обладанию матерью; он натолкнулся на границу, за которой следует кровосмешение. Но он считает это запретным только для себя. При всех запретных шалостях, которые он воспроизводит в своей фантазии, всегда присутствует отец, который вместе с ним подвергается аресту. Отец, как он думает, ведь тоже проделывает с матерью загадочное и запретное, как он себе представляет, что-то насильственное вроде разбивания стекла или проникания в загражденное пространство.

В этот же день в мои приемные часы меня посетили отец с сыном. Я уже раньше знал этого забавного малыша, милого в своей самоуверенности, которого мне всегда приятно было видеть. Не знаю, вспомнил ли он меня, но он вел себя безупречно, как вполне разумный член человеческого общества. Консультация была коротка. Отец начал с того, что страх Ганса перед лошадьми, несмотря на все разъяснения, не уменьшился. Мы должны были сознаться и в том, что связь между лошадьми, перед которыми он чувствовал страх, и между вскрытыми нежными влечениями к матери довольно слабая. Детали, которые я теперь узнал (Ганса больше всего смущает то, что лошади имеют над глазами и нечто черное у их рта), никак нельзя было объяснить теми данными, которые у нас имелись. Но когда я смотрел на них обоих и выслушивал рассказ о страхе, у меня блеснула мысль о следующей части толкования, которая, как я мог понять, должна была ускользнуть от отца. Я шутя спросил Ганса: не носят ли его лошади очков? Он отрицает это. Носит ли его отец очки? Это он опять отрицает, даже вопреки очевидности. Не называет ли он «черным у рта» усы? Затем я объясняю ему, что он чувствует страх перед отцом, потому что он так любит мать. Он мог бы думать, что отец за это на него зол. Но это неправда. Отец его все-таки сильно любит, и он может без страха во всем ему сознаваться. Уже давно, когда Ганса не было на свете, я уже знал, что появится маленький Ганс, который будет так любить свою маму и поэтому будет чувствовать страх перед отцом. И я об этом даже рассказывал его отцу. Тут отец прерывает

меня. «Почему ты думаешь, что я сержусь на тебя? Разве я тебя ругал или бил?» – «Да, ты меня бил», – заявляет Ганс. «Это неправда. Когда?» – «Сегодня перед обедом». И отец вспоминает, что Ганс его совершенно неожиданно толкнул в живот, после чего он его рефлекторно шлепнул рукой. Замечательно, что эту деталь отец не привел в связь с неврозом, и только теперь он усмотрел в этом поступке выражение враждебного отношения мальчика, а также, быть может, проявление стремления получить за это наказание51.

На обратном пути Ганс спрашивает у отца: «Разве профессор разговаривает с богом, что он все может знать раньше?» Я мог бы очень гордиться этим признанием из детских уст, если бы я сам не вызвал его своим шутливым хвастовством. После этой консультации я почти ежедневно получал сведения об изменениях в состоянии маленького пациента. Нельзя было, конечно, ожидать, что он после моего сообщения сразу освободится от страхов, но оказалось, что ему теперь дана уже была возможность обнаружить свою бессознательную продукцию и расплести свою фобию. С этого времени он проделал программу, которую я уже заранее мог бы изложить его отцу.

«2 апреля можно констатировать первое существенное улучшение. В то время как до сих пор его никак нельзя было заставить выйти за ворота на сколько-нибудь продолжительное время и он со всеми признаками ужаса мчался домой, когда появлялись лошади, теперь он остается перед воротами целый час и даже тогда, когда проезжают мимо экипажи, что у нас случается довольно часто. Время от времени он бежит в дом, когда видит вдали лошадей, но сейчас же, как бы передумав, возвращается обратно. Но от страха осталась уже только частица, и нельзя не констатировать улучшения с момента разъяснения.

Вечером он говорит: «Раз мы уже идем за ворота, мы поедем и в парк».

3 апреля он рано утром приходит ко мне в кровать, в то время как за последние дни он больше не приходил ко мне и как бы гордился своим воздержанием. Я спрашиваю: «Почему же ты сегодня пришел?»

Ганс: «Пока я не перестану бояться, я больше не приду».

Я: «Значит, ты приходишь ко мне потому, что ты боишься?»

Ганс: «Когда я не у тебя – я боюсь; когда я не у тебя в кровати – я боюсь. Когда я больше не буду бояться, я больше не приду».

Я: «Значит, ты меня любишь, и на тебя находит страх, когда ты утром находишься в своей постели; поэтому ты приходишь ко мне?»

Ганс: «Да. А почему ты сказал мне, что я люблю маму и на меня находит страх, потому что я люблю тебя?»

Мальчик теперь в своих выражениях достигает необыкновенной ясности. Он дает понять, что в нем борется любовь к отцу с враждебностью к нему же из-за соперничества у матери, и он делает отцу упрек за то, что тот до сих пор не обратил его внимания на эту игру сил, которая превращалась в страх. Отец еще его не вполне понимает, потому что он только после этого разговора убеждается во враждебности мальчика, на которой я настаивал уже при нашей консультации. Нижеследующее, которое я привожу в неизмененном виде, собственно говоря, более важно в смысле разъяснения для отца, чем для маленького пациента.

«Это возражение я, к сожалению, не сразу понял во всем его значении. Так как Ганс любит мать, он, очевидно, хочет, чтобы меня не было, и он был бы тогда на месте отца. Это подавленное враждебное желание становится страхом за отца, и он приходит рано утром ко мне, чтобы видеть, не ушел ли я. К сожалению, я в этот момент всего этого не понимал и говорю ему:

«Когда ты один, тебе жутко, что меня нет, и ты приходишь сюда».

Ганс: «Когда тебя нет, я боюсь, что ты не придешь домой».

Я: «Разве я когда-нибудь грозил тебе тем, что не приду домой?»

Ганс: «Ты – нет, но мама – да. Мама говорила мне, что она больше не приедет». (Вероятно, он дурно вел себя, и она пригрозила ему своим уходом.)

Я: «Она это сказала тебе, потому что ты себя дурно вел».

Ганс: «Да».

Я: «Значит, ты боишься, что я уйду, потому что ты себя дурно вел, и из-за этого ты приходишь ко мне?»

За завтраком я встаю из-за стола, и Ганс говорит мне: «Папа, не убегай отсюда!» Я обращаю внимание на то, что он говорит «убегай» вместо «уходи», и отвечаю ему: «Ага, ты боишься, что лошадь убежит отсюда?» Он смеется».

Мы знаем, что эта часть страха Ганса носит двойственный характер: страх перед отцом и страх за отца. Первое происходит от враждебности по отношению к отцу, второе – от конфликта между нежностью, которая здесь реактивно увеличена, и враждебностью.

Отец продолжает: «Это, несомненно, начало важной части анализа. То, что он решается в крайнем случае только выйти за ворота, но от ворот не отходит, что он при первом приступе страха возвращается с половины пути, – мотивировано страхом не застать родителей дома, потому что они ушли. Он не отходит от дома из любви к матери, и он боится, что я уйду вследствие его враждебных желаний (по отношению ко мне) занять место отца.

Летом я несколько раз по своим делам ездил из Гмундена в Вену; тогда отцом был он. Напоминаю, что страх перед лошадьми связан с переживанием в Гмундене, когда лошадь должна была отвезти багаж Лицци на вокзал. Вытесненное желание, чтобы я поехал на вокзал и он остался один с матерью («чтобы лошадь уехала»), превращается в страх перед отъездом лошадей. И действительно, ничто не наводит на него большего страха, как отъезд экипажей со двора таможни, находящейся против нас.

Эта новая часть (враждебные помыслы против отца) обнаруживается только после того, как он узнает, что я не сержусь на него за то, что он так любит маму.

После обеда я опять выхожу с ним за ворота, он опять ходит перед домом и остается там даже тогда, когда проезжают экипажи. Только при проезде некоторых экипажей он испытывает страх и бежит во двор. Он даже мне объясняет: «Не все белые лошади кусаются». Это значит: после анализа в некоторых белых лошадях он узнал отца, и они больше не кусаются, но остаются еще другие лошади, которые кусаются.

План улицы перед нашими воротами следующий: напротив находится склад таможни с платформой, к которой в течение всего Дня подъезжают возы, чтобы забрать ящики и т. п. От улицы этот двор отделяется решеткой. Как раз против нашей квартиры находятся ворота этого двора. Я уже несколько дней замечаю, что Ганс испытывает особенно сильный страх, когда розы въезжают и выезжают из этих ворот и при этом должны поворачивать. В свое время я его спросил, чего он так боится, на что он сказал мне: «Я боюсь, Что лошади упадут во время поворота» (А). Так же сильно волнуется он, когда возы, стоящие перед платформой для выгрузки, неожиданно приходят в движение, чтобы отъехать (В). Далее (С) он больше боится больших ломовых лошадей, чем маленьких, крестьянских лошадей – больше, чем элегантных (как например, в экипажах). Он также испытывает больший страх, когда воз проезжает мимо очень быстро (D), чем когда лошади плетутся медленно. Все эти различия выступили отчетливо только в последние дни».

Я позволил бы себе сказать, что благодаря анализу стал смелее не только пациент, но и его фобия, которая решается выступать с большей ясностью.

«5 апреля Ганс опять приходит в спальню и направляется нами обратно в свою кровать. Я говорю ему: „До тех пор, пока ты будешь рано утром приходить в спальню, страх перед лошадьми не исчезнет». Но он упорствует и отвечает: „Я все-таки буду приходить, когда у меня страх». Итак, он не хочет, чтобы ему запретили визиты к маме.

После завтрака мы должны сойти вниз. Ганс очень радуется этому и собирается вместо того, чтобы остаться, как обыкновенно, у ворот, перейти через улицу во двор, где, как он часто наблюдал, играет много мальчиков. Я говорю ему, что мне доставит удовольствие, когда он перейдет улицу, и, пользуясь случаем, спрашиваю его, почему он испытывает страх, когда нагруженные возы отъезжают от платформы (В).

Ганс: «Я боюсь, когда я стою у воза, а воз быстро отъезжает, и я стою на нем, хочу

оттуда влезть на доски (платформу), и я отъезжаю вместе с возом».

Я: «А когда воз стоит, тогда ты не боишься? Почему?»

Ганс: «Когда воз стоит, я быстро вхожу на него и перехожу на доски».

(Ганс, таким образом, собирается перелезть через воз на платформу и боится, что воз тронется, когда он будет стоять на нем.)

Я: «Может быть, ты боишься, что, когда ты уедешь с возом, ты не придешь больше домой?»

Ганс: «О, нет, я всегда могу еще прийти к маме на возу или на извозчике; я ему даже могу сказать номер дома».

Я: «Чего же ты тогда боишься?»

Ганс: «Я этого не знаю, но профессор это будет знать».

Я: «Так ты думаешь, что он узнает? Почему тебе хочется перебраться через воз на доски?»

Ганс: «Потому, что я еще никогда там наверху не был, а мне так хотелось бы быть там, и знаешь почему? Потому, что я хотел бы нагружать и разгружать тюки и лазать по ним. Мне ужасно хотелось бы лазать по тюкам. А знаешь, от кого я научился лазать? Я видел, что мальчишки лазают по тюкам, и мне тоже хотелось бы это делать».

Его желание не осуществилось потому, что когда Ганс решился выйти за ворота, несколько шагов по улице вызвали в нем слишком большое сопротивление, так как во дворе все время проезжали возы».

Профессор знает также только то, что эта предполагаемая игра Ганса с нагруженными возами должна иметь символическое, замещающее отношение к другому желанию, которое еще не высказано. Но это желание можно было бы сконструировать и теперь, как бы это ни показалось смелым.

«После обеда мы опять идем за ворота, и по возвращении я спрашиваю Ганса:

«Каких лошадей ты, собственно, больше всего боишься?»

Ганс: «Всех».

Я: «Это неверно».

Ганс: «Больше всего я боюсь лошадей, которые имеют что-то у рта».

Я: «О чем ты говоришь? О железе, которое они носят во рту?»

Ганс: «Нет, у них есть что-то черное у рта» (прикрывает свой рот рукой).

Я: «Может быть, усы?»

Ганс (смеется): «О, нет!»

Я: «Это имеется у всех лошадей?»

Ганс: «Нет, только у некоторых».

Я: «Что же это у них у рта?»

Ганс: «Что-то черное». (Я думаю, что на самом деле это – ремень, который ломовые лошади носят поперек головы.) «Я боюсь тоже больше всего мебельных фургонов».

Я: «Почему?»

Ганс: «Я думаю, что когда ломовые лошади тянут тяжелый фургон, они могут упасть».

Я: «Значит, маленьких возов ты не боишься?»

Ганс: «Нет, маленьких и почтовых я не боюсь. Я еще больше всего боюсь, когда проезжает омнибус».

Я: «Почему? Потому что он такой большой?»

Ганс: «Нет, потому что однажды в таком омнибусе упала лошадь».

Я: «Когда?»

Ганс: «Однажды, когда я шел с мамой, несмотря на глупость, когда я купил жилетку».

(Это потом подтверждается матерью.)

Я: «Что ты себе думал, когда упала лошадь?»

Ганс: «Что теперь всегда будет так – все лошади в омнибусах будут падать».

Я: «В каждом омнибусе?»

Ганс: «Да, и в мебельных фургонах. В мебельных не так часто».

Я: «Тогда уже у тебя была твоя глупость?»

Ганс: «Нет, я получил ее позже. Когда лошадь в мебельном фургоне опрокинулась, я так сильно испугался! Потом уже, когда я пошел, я получил свою глупость».

Я: «Ведь глупость была в том, что ты себе думал, что тебя укусит лошадь. А теперь, как оказывается, ты боялся, что упадет лошадь?»

Ганс: «Опрокинется и укусит»52.

Я: «Почему же ты так испугался?»

Ганс: «Потому что лошадь делала ногами так (ложится на землю и начинает барахтаться). Я испугался, потому что она ногами производила шум».

Я: «Где ты тогда был с мамой?»

Ганс: «Сначала на катке, потом в кафе, потом покупали жилетку, потом в кондитерской, а потом вечером домой мы проходили через парк».

(Моя жена подтверждает все это, а также и те, что непосредственно за этим появился страх.)

Я: «Лошадь умерла после того, как упала?»

Ганс: «Да».

Я: «Откуда ты это знаешь?»

Ганс: «Потому что я это видел (смеется). Нет, она совсем не умерла».

Я: «Быть может, ты себе думал, что она умерла?»

Ганс: «Нет, наверное, нет. Я это сказал только в шутку». (Выражение лица его тогда было серьезным.)

Так как он уже устал, я оставляю его в покое. Он успевает еще мне рассказать, что он сначала боялся лошадей, впряженных в омнибус, а позже всяких других и только недавно – лошадей, впряженных в мебельные фургоны.

На обратном пути из Лайнца еще несколько вопросов:

Я: «Когда лошадь в омнибусе упала, какого цвета она была? Белого, красного, коричневого, серого?»

Ганс: «Черного, обе лошади были черные».

Я: «Была она велика или мала?»

Ганс: «Велика».

Я: «Толстая или худая?»

Ганс: «Толстая, очень большая и толстая».

Я: «Когда лошадь упала, ты думал о папе?»

Ганс: «Может быть. Да, это возможно».

Отец, быть может, во многих пунктах производит свои исследования без успеха; но во всяком случае нисколько не вредно ближе познакомиться с подобной фобией, которой мы охотно давали бы названия по ее новым объектам. Мы таким образом узнаем, насколько, собственно говоря, эта фобия универсальна. Она направлена на лошадей и на экипажи, на то, что лошади падают и кусаются, на лошадей с особенными признаками, на возы, которые сильно нагружены. Как нам удается узнать, все эти особенности происходят оттого, что страх первоначально относился не к лошадям и только вторично был перенесен (транспонирован) на них и фиксировался в тех местах комплекса лошадей, которые оказывались подходящими для известного переноса. Мы должны особенно высоко оценить один существенный факт, добытый исследованием отца. Мы узнали действительный повод, вызвавший появление фобии. Это – момент, когда мальчик видел, как упала большая ломовая лошадь, и во всяком случае одно из толкований этого впечатления, подчеркнутое отцом, указывает на то, что Ганс тогда ощущал желание, чтобы его отец также упал – умер. Серьезное выражение во время рассказа как бы соответствует этой бессознательной идее. Не скрывается ли за этим и другая мысль? И что же означает этот шум, производимый ногами?

«С некоторого времени Ганс играет в комнате в лошадки, бегает, падает, топает ногами, ржет. Один раз он подвязывает себе мешочек, как бы мешок для корма. Несколько раз он подбегает ко мне и кусает».

Таким образом, он принимает последние толкования более решительно, чем он может сделать это на словах. Но при этом меняются роли, так как эта игра служит фантазии, основанной на желании. Следовательно, он – лошадь, он кусает отца, а в остальном он отождествляет себя с отцом.

«В последние два дня я замечаю, что Ганс самым решительным образом выступает против меня, хотя без дерзости, а скорее шаловливо. Не оттого ли это, что он больше не боится меня – лошади?

6 апреля. После обеда я и Ганс находимся перед домом. При появлении лошадей я каждый раз спрашиваю, не видит ли он у них «черного у рта». Он каждый раз отвечает на это отрицательно. Я спрашиваю, как именно выглядит это черное; он говорит, что это черное железо. Таким образом, мое первое предположение, что это толстый ремень в упряжи ломовых лошадей, не подтверждается. Я спрашиваю, не напоминает ли это «черное» усы; он говорит: только цветом. Итак, я до сих пор не знаю, что это на самом деле.

Страх становится меньше. Он решается на этот раз подойти к соседнему дому, но он быстро возвращается, когда слышит издали приближение лошадей. Если воз проезжает и останавливается у нашего дома, он в страхе бежит домой, так как лошадь топает ногой. Я спрашиваю его, почему он боится, быть может, его пугает то, что лошадь так делает (при этом я топаю ногой). Он говорит:

«Не делай же такого шума ногами!» Сравни с его словами по поводу падения лошади в омнибусе.

Особенно пугается он, когда проезжает мебельный фургон. Он тогда вбегает в комнаты. Я равнодушно спрашиваю его: «Разве мебельный фургон не выглядит точно так же, как омнибус?»

Он ничего не отвечает. Я повторяю вопрос. Тогда он говорит: «Ну конечно, иначе я не боялся бы мебельного фургона».

7 апреля. Сегодня я опять спрашиваю, как выглядит «черное у рта» лошади. Ганс говорит: «Как намордник». Удивительно то, что за последние три дня ни разу не проезжала лошадь, у которой имелся бы подобный «намордник». Я сам ни разу не видел подобной лошади во время прогулок, хотя Ганс настаивал на том, что такие лошади существуют. Я подозреваю, что ему действительно толстый ремень у рта напомнил усы и что после моего толкования и этот страх исчез.

Улучшение состояния Ганса становится более прочным, радиус круга его деятельности, считая наши ворота центром, становится все больше. Он решается даже на то, что до сих пор было невозможно, – перебежать на противоположный тротуар. Весь страх, который остался, связан только с омнибусом, и смысл этого страха мне во всяком случае еще не ясен.

9 апреля. Сегодня утром Ганс входит, когда я, обнаженный до пояса, умываюсь.

Ганс: «Папа, ведь ты красивый, такой белый!»

Я: «Не правда ли, как белая лошадь?»

Ганс: «Только усы черные. Или, может быть, это черный намордник?»

Я рассказываю ему, что я вчера вечером был у профессора, и говорю: «Он хотел бы еще кое-что узнать», – на что Ганс замечает: «Это мне ужасно любопытно».

Я говорю ему, что знаю, при каких обстоятельствах он подымает шум ногами. Он прерывает меня: «Не правда ли, когда я сержусь или когда мне нужно делать Lumpf, а хочется лучше играть». (Когда он злится, он обыкновенно топает ногами. Делать Lumpf означает акт дефекации. Когда Ганс был маленьким, он однажды, вставая с горшочка, сказал: «Смотри – Lumpf». Он хотел сказать Strumpf (чулок), имея в виду сходство по форме и по цвету. Это обозначение осталось и до сих пор. Раньше, когда его нужно было сажать на горшок, а ему не хотелось прекратить игру, он обыкновенно топал ногами, начинал дрожать и иногда бросался на землю.)

«Ты подергиваешь ногами и тогда, когда тебе нужно сделать wiwi, а ты удерживаешься, потому что предпочитаешь играть».

Он: «Слушай, мне нужно сделать wiwi», – и он как бы для подтверждения выходит».

Отец во время его визита ко мне спрашивал меня, что должно было напоминать Гансу подергивание ногами лошади. Я указал ему на то, что это может напоминать Гансу его собственную реакцию задерживаемого позыва к мочеиспусканию. Ганс подтверждает это тем, что у него во время разговора появляется позыв, и он указывает еще и другие значения «шума, производимого ногами».

«Затем мы идем за ворота. Когда проезжает воз с углем, он говорит мне: „Слушай, угольный воз тоже наводит на меня страх».

Я: «Быть может, потому, что он такой же большой, как омнибус?»

Ганс: «Да, и потому, что он сильно нагружен, и лошадям приходится так много тянуть, и они легко могут упасть. Когда воз пустой, я не боюсь». Все это соответствует действительности».

И все же ситуация довольно неясна. Анализ мало подвигается вперед, и я боюсь, что изложение его скоро может показаться скучным для читателя. Но такие темные периоды бывают в каждом психоанализе. Вскоре Ганс, совершенно неожиданно для нас, переходит в другую область.

«Я прихожу домой и беседую с женой, которая сделала разные покупки и показывает их мне. Между ними – желтые дамские панталоны. Ганс много раз говорит „пфуй», бросается на землю и отплевывается. Жена говорит, что он так делал уже несколько раз, когда видел панталоны.

Я спрашиваю: «Почему ты говоришь „пфуй»?»

Ганс: «Из-за панталон».

Я: «Почему? Из-за цвета, потому что они желтые и напоминают тебе wiwi или Lumpf?»

Ганс: «Lumpf ведь не желтый, он белый или черный». Непосредственно за этим: «Слушай, легко делать Lumpf, когда ешь сыр?» (Это я ему раз сказал, когда он меня спросил, почему я ем сыр.)

Я: «Да».

Ганс: «Поэтому ты всегда рано утром уже идешь делать Lumpf. Мне хотелось бы съесть бутерброд с сыром».

Уже вчера, когда он играл на улице, он спрашивал меня: «Слушай, не правда ли, после того как много прыгаешь, легко делаешь Lumpf?» Уже давно действие его кишечника связано с некоторыми затруднениями, часто приходится прибегать к детскому меду и к клистирам. Один раз его привычные запоры настолько усилились, что жена обращалась за советом к доктору Л. Доктор высказал мнение, что Ганса перекармливают, что соответствует действительности, и посоветовал сократить количество принимаемой им пищи, что сейчас же вызвало заметное улучшение. В последние дни запоры опять стали чаще.

После обеда я говорю ему: «Будем опять писать профессору», – и он мне диктует: «Когда я видел желтые панталоны, я сказал „пфуй», плюнул, бросился на пол, зажмурил глаза и не смотрел».

Я: «Почему?»

Ганс: «Потому что я увидел желтые панталоны, и когда я увидел черные53 панталоны, я тоже сделал что-то в этом роде. Черные это тоже панталоны, только они черные (прерывает себя). Слушай, я очень рад; когда я могу писать профессору, я всегда очень рад».

Я: «Почему ты сказал „пфуй»? Тебе было противно?»

Ганс: «Да, потому что я их увидел. Я подумал, что мне нужно делать Lumpf».

Я: «Почему?»

Ганс: «Я не знаю».

Я: «Когда ты видел черные панталоны?»

Ганс: «Однажды давно, когда у нас была Анна (прислуга), у мамы, она только что принесла их после покупки домой».

(Это подтверждается моей женой.)

Я: «И тебе было противно?»

Ганс: «Да».

Я: «Ты маму видел в таких панталонах?»
Ганс: «Нет».
Я: «А когда она раздевалась?»
Ганс: «Желтые я уже раз видел, когда она их купила» (противоречие! – желтые он увидел впервые, когда она их купила). «В черных она ходит сегодня (верно!), потому что я видел, как она их утром снимала».
Я: «Как? Утром она снимала черные панталоны?»
Ганс: «Утром, когда она уходила, она сняла черные панталоны, а когда вернулась, она еще раз одела себе черные панталоны».
Мне это кажется бессмыслицей, и я расспрашиваю жену. И она говорит, что все это неверно. Она, конечно, не переодевала панталон перед уходом.
Я тут же спрашиваю Ганса: «Ведь мама говорит, что все это неверно».
Ганс: «Мне так кажется. Быть может, я забыл, что она не сняла панталон. (С неудовольствием.) Оставь меня, наконец, в покое».
К разъяснению этой истории с панталонами я тут же должен заметить следующее: Ганс, очевидно, лицемерит, когда притворяется довольным, собираясь говорить на эти темы. К концу он отбрасывает свою маску и становится дерзким по отношению к отцу. Разговор идет о вещах, которые раньше доставляли ему много удовольствия и которые теперь, после наступившего вытеснения, вызывают в нем стыд и даже отвращение. Он даже в этом случае лжет, придумывая для наблюдавшейся им перемены панталон у матери другие поводы. На самом деле снимание и одевание панталон находится в связи с комплексом дефекации. Отец в точности знает, в чем здесь дело и что Ганс старается скрыть.
«Я спрашиваю свою жену, часто ли Ганс присутствовал, когда она отправлялась в клозет. Она говорит: „Да, часто он хнычет до тех пор, пока ему это не разрешат; это делали все дети».
Запомним себе хорошо это вытесненное уже теперь удовольствие видеть мать при акте дефекации.
«Мы идем за ворота. Ганс очень весел, и когда он бегает, изображая лошадь, я спрашиваю: „Послушай, кто, собственно говоря, вьючная лошадь? Я, ты или мама?»
Ганс (сразу): «Я, я – молодая лошадь».
В период сильнейшего страха, когда страх находил на него при виде скачущих лошадей, я, чтобы успокоить его, сказал: «Знаешь, это молодые лошади – они скачут, как мальчишки. – Ведь ты тоже скачешь, а ты мальчик». С того времени он при виде скачущих лошадей говорит: «Это верно – это молодые лошади!»
Когда мы возвращаемся домой, я на лестнице, почти ничего до думая, спрашиваю: «В Гмундене ты играл с детьми в лошадки?»
Он: «Да! (Задумывается.) Мне кажется, что я там приобрел мою глупость».
Я: «Кто был лошадкой?»
Он: «Я, а Берта была кучером».
Я: «Не упал ли ты, когда был лошадкой?»
Ганс: «Нет! Когда Берта погоняла меня – но! – я быстро бегал, почти вскачь»54.
Я: «А в омнибус вы никогда не играли?»
Ганс: «Нет – в обыкновенные возы и в лошадки без воза. Ведь когда у лошадки есть воз, он может оставаться дома, а лошадь бегает без воза».
Я: «Вы часто играли в лошадки?»
Ганс: «Очень часто. Фриц (тоже сын домохозяина) был тоже однажды лошадью, а Франц кучером, и Фриц так скоро бежал, что вдруг наступил на камень, и у него пошла кровь».
Я: «Может быть, он упал?»
Ганс: «Нет, он опустил ногу в воду и потом обернул ее платком»55.
Я: «Ты часто был лошадью?»
Ганс: «О, да».

Я: «И ты там приобрел глупость?»

Ганс: «Потому что они там всегда говорили „из-за лошади» и „из-за лошади» (он подчеркивает это „из-за» – wegen); поэтому я и заполучил свою глупость»56.

Некоторое время отец бесплодно производит исследования по другим путям.

Я: «Дети тогда рассказывали что-нибудь о лошади?»

Ганс: «Да!»

Я: «А что?»

Ганс: «Я это забыл».

Я: «Может быть, они что-нибудь рассказывали о ее Wiwimacher'е?»

Ганс: «О, нет!»

Я: «Там ты уже боялся лошадей?»

Ганс: «О, нет, я совсем не боялся».

Я: «Может быть, Берта говорила о том, что лошадь…»

Ганс (прерывая): «Делает wiwi? Нет!»

10 апреля я стараюсь продолжить вчерашний разговор и хочу узнать, что означает «из-за лошади». Ганс не может этого вспомнить; он знает только, что утром несколько детей стояли перед воротами и выкрикивали: «из-за лошади», «из-за лошади». Он сам тоже стоял там. Когда я становлюсь настойчивее, он заявляет, что дети вовсе не говорили «из-за лошади» и что он неправильно вспомнил.

Я: «Ведь вы часто бывали также в конюшне и, наверное, говорили о лошади?» – «Мы ничего не говорили». – «А о чем же вы разговаривали?» – «Ни о чем». – «Вас было столько детей, и вы ни о чем не говорили?» – «Кое о чем мы уже говорили, но не о лошади». – «А о чем?» – «Я теперь уже этого не знаю».

Я оставляю эту тему, так как очевидно, что сопротивление слишком велико57, и спрашиваю: «С Бертой ты охотно играл?»

Он: «Да, очень охотно, а с Ольгой – нет; знаешь, что сделала Ольга? Грета наверху подарила мне раз бумажный мяч, а Ольга его разорвала на куски. Берта бы мне никогда его не разорвала. С Бертой я очень охотно играл».

Я: «Ты видел, как выглядит Wiwimacher Берты?»

Он: «Нет, я видел Wiwimacher лошади, потому что я всегда бывал в стойле».

Я: «И тут тебе стало интересно знать, как выглядит Wiwimacher у Берты и у мамы?»

Он: «Да».

Я напоминаю ему его жалобы на то, что девочка всегда хотела смотреть, как он делает wiwi.

Он: «Берта тоже всегда смотрела (без обиды, с большим удовольствием), очень часто. В маленьком саду, там, где посажена редиска, я делал wiwi, а она стояла у ворот и смотрела».

Я: «А когда она делала wiwi, смотрел ты?»

Он: «Она ходила в клозет».

Я: «А тебе становилось интересно?»

Он: «Ведь я был внутри, в клозете, когда она там была».

(Это соответствует действительности: хозяева нам это раз рассказали, и я припоминаю, что мы запретили Гансу делать это.)

Я: «Ты ей говорил, что хочешь пойти?»

Он: «Я входил сам и потому, что Берта мне это разрешила. Это ведь не стыдно».

Я: «И тебе было бы приятно увидеть Wiwimacher?»

Он: «Да, но я его не видел».

Я напоминаю ему сон в Гмундене относительно фантов и спрашиваю: «Тебе в Гмундене хотелось, чтобы Берта помогла тебе сделать wiwi?»

Он: «Я ей никогда этого не говорил».

Я: «А почему ты этого ей не говорил?»

Он: «Потому что я об этом никогда не думал (прерывает себя). Когда я обо всем этом напишу профессору, глупость скоро пройдет, не правда ли?»

Я: «Почему тебе хотелось, чтобы Берта помогла тебе делать wiwi?»
Он: «Я не знаю. Потому что она смотрела».
Я: «Ты думал о том, что она положит руку на Wiwimacher?» Он: «Да. (Отклоняется.) В Гмундене было очень весело. В маленьком саду, где растет редиска, есть маленькая куча песку, там я играл с лопаткой». (Это сад, где он делал wiwi.)
Я: «А когда ты в Гмундене ложился в постель, ты трогал рукой Wiwimacher?»
Он: «Нет, еще нет. В Гмундене я так хорошо спал, что об этом еще не думал. Только на прежней квартире и теперь я это делал».
Я: «А Берта никогда не трогала руками твоего Wiwimacher'a?»
Он: «Она этого никогда не делала, потому что я ей об этом никогда не говорил».
Я: «А когда тебе этого хотелось?»
Он: «Кажется, однажды в Гмундене».
Я: «Только один раз?»
Он: «Да, чаще».
Я: «Всегда, когда ты делал wiwi, она подглядывала, – может, ей было любопытно видеть, как ты делаешь wiwi?»
Он: «Может быть, ей было любопытно видеть, как выглядит мой Wiwimacher?»
Я: «Но и тебе это было любопытно, только по отношению к Берте?»
Он: «К Берте и к Ольге».
Я: «К кому еще?»
Он: «Больше ни к кому».
Я: «Ведь это неправда. Ведь и по отношению к маме?»
Он: «Ну, к маме, конечно».
Я: «Но теперь тебе больше уже не любопытно. Ведь ты знаешь, как выглядит Wiwimacher Анны?»
Он: «Но он ведь будет расти, не правда ли?»58
Я: «Да, конечно… Но когда он вырастет, он все-таки не будет походить на твой».
Он: «Это я знаю. Он будет такой, как теперь, только больше».
Я: «В Гмундене тебе было любопытно видеть, как мама раздевается?»
Он: «Да, и у Анны, когда ее купали, я видел маленький Wiwiniacher».
Я: «И у мамы?»
Он: «Нет!»
Я: «Тебе было противно видеть мамины панталоны?»
Он: «Только черные, когда она их купила, и я их увидел и плюнул. А когда она их надевала и снимала, я тогда не плевал. Я плевал тогда потому, что черные панталоны черны, как Lumpf, а желтые – как wiwi, и когда я смотрю на них, мне кажется, что нужно делать wiwi. Когда мама носит панталоны, я их не вижу, потому что сверху она носит платье».
Я: «А когда она раздевается?»
Он: «Тогда я не плюю. Но когда панталоны новые, они выглядят как Lumpf. А когда они старые, краска сходит с них, и они становятся грязными. Когда их покупают, они новые, а когда их не покупают, они старые».
Я: «Значит, старые панталоны не вызывают в тебе отвращение?»
Он: «Когда они старые, они ведь немного чернее, чем Lumpf, не правда ли? Немножечко чернее»59.
Я: «Ты часто бывал с мамой в клозете?»
Он: «Очень часто».
Я: «Тебе там было противно?»
Он: «Да… Нет!»
Я: «Ты охотно присутствуешь при том, когда мама делает wiwi или Lumpf?»
Он: «Очень охотно».
Я: «Почему так охотно?»
Он: «Я этого не знаю».

Я: «Потому что ты думаешь, что увидишь Wiwimacher?»

Он: «Да, я тоже так думаю».

Я: «Почему ты в Лайнце никогда не хочешь идти в клозет?» (В Лайнце он всегда просит, чтобы я его не водил в клозет. Он один раз испугался шума воды, спущенной для промывания клозета.)

Он: «Потому что там, когда тянут ручку вниз, получается большой шум».

Я: «Этого ты боишься?»

Он: «Да!»

Я: «А здесь, в нашем клозете?»

Он: «Здесь – нет. В Лайнце я пугаюсь, когда ты спускаешь воду. И когда я нахожусь в клозете и вода стекает вниз, я тоже пугаюсь».

Чтобы показать мне, что в нашей квартире он не боится, он заставляет меня пойти в клозет и спустить воду. Затем он мне объясняет: «Сначала делается большой шум, а потом поменьше. Когда большой шум, я лучше остаюсь внутри клозета, а когда слабый шум, я предпочитаю выйти из клозета».

Я: «Потому что ты боишься?»

Он: «Потому что мне всегда ужасно хочется видеть большой шум (он поправляет себя), слышать, и я предпочитаю оставаться внутри, чтобы хорошо слышать его».

Я: «Что же напоминает тебе большой шум?»

Он: «Что мне в клозете нужно делать Lumpf» (то же самое, что при виде черных панталон).

Я: «Почему?»

Он: «Не знаю. Нет, я знаю, что большой шум напоминает мне шум, который слышен, когда делаешь Lumpf. Большой шум напоминает Lumpf, маленький – wiwi» (ср. черные и желтые панталоны).

Я: «Слушай, а не был ли омнибус такого же цвета, как Lumpf?» (По его словам – черного цвета.)

Он (пораженный): «Да!»

Я должен здесь вставить несколько слов. Отец расспрашивает слишком много и исследует по готовому плану вместо того, чтобы дать мальчику высказаться. Вследствие этого анализ становится неясным и сомнительным. Ганс идет по своему пути, и когда его хотят свести с него, он умолкает. Очевидно, его интерес, неизвестно почему, направлен теперь на Lumpf и на wiwi. История с шумом выяснена так же мало, как и история с черными и желтыми панталонами. Я готов думать, что его тонкий слух отметил разницу в шуме, который производят при мочеиспускании мужчины и женщины. Анализ искусственно сжал материал и свел его к разнице между мочеиспусканием и дефекацией. Читателю, который сам еще не производил психоанализа, я могу посоветовать не стремиться понимать все сразу. Необходимо ко всему отнестись с беспристрастным вниманием и ждать дальнейшего.

«11 апреля. Сегодня утром Ганс опять приходит в спальню и, как всегда в последние дни, его сейчас же выводят вон.

После он рассказывает: «Слушай, я кое о чем подумал. Я сижу в ванне[60], тут приходит слесарь и отвинчивает ее[61]. Затем берет большой бурав и ударяет меня в живот».

Отец переводит для себя эту фантазию: «Я – в кровати у мамы. Приходит папа и выгоняет меня. Своим большим пенисом он отталкивает меня от мамы».

Оставим пока наше заключение невысказанным.

«Далее он рассказывает еще нечто другое, что он себе придумал: „Мы едем в поезде, идущем в Гмунден. На станции мы начинаем надевать верхнее платье, но не успеваем этого сделать, и поезд уходит вместе с нами».

Позже я спрашиваю: «Видел ли ты, как лошадь делает Lumpf?»

Ганс: «Да, очень часто».

Я: «Что же, она при этом производит сильный шум?»

Ганс: «Да!»

Я: «Что же напоминает тебе этот шум?»

Ганс: «Такой же шум бывает, когда Lumpf падает в горшочек».

Вьючная лошадь, которая падает и производит шум ногами, вероятно, и есть Lumpf, который при падении производит шум. Страх перед дефекацией, страх перед перегруженным возом главным образом соответствует страху перед перегруженным животом».

По этим окольным путям начинает для отца выясняться истинное положение вещей.

«11 апреля за обедом Ганс говорит: „Хорошо, если бы мы в Гмундене имели ванну, чтобы мне не нужно было ходить в баню». Дело в том, что в Гмундене его, чтобы вымыть, водили всегда в соседнюю баню, против чего он обыкновенно с плачем протестовал. И в Вене он всегда подымает крик, когда его, чтобы выкупать, сажают или кладут в большую ванну. Он должен купаться стоя или на коленях».

Эти слова Ганса, который теперь начинает своими самостоятельными показаниями давать пищу для психоанализа, устанавливают связь между обеими последними фантазиями (о слесаре, отвинчивающем ванну, и о неудавшейся поездке в Гмунден). Из последней фантазии отец совершенно справедливо сделал вывод об отвращении к Гмундену. Кроме того, мы имеем здесь опять хороший пример того, как выплывающее из области бессознательного становится понятным не при помощи предыдущего, а при помощи последующего.

«Я спрашиваю его, чего и почему он боится в большой ванне.

Ганс: «Потому, что я упаду туда».

Я: «Почему же ты раньше никогда не боялся, когда тебя купали в маленькой ванне?»

Ганс: «Ведь я в ней сидел, ведь я в ней не мог лечь, потому что она была слишком мала».

Я: «А когда ты в Гмундене катался на лодке, ты не боялся, что упадешь в воду?»

Ганс: «Нет, потому что я удерживался руками, и тогда я не мог упасть. Я боюсь, что упаду, только тогда, когда купаюсь в большой ванне».

Я: «Тебя ведь купает мама. Разве ты боишься, что мама тебя бросит в ванну?»

Ганс: «Что она отнимет свои руки и я упаду в воду с головой».

Я: «Ты же знаешь, что мама любит тебя, ведь она не отнимет рук».

Ганс: «Я так подумал».

Я: «Почему?»

Ганс: «Этого я точно не знаю»

Я: «Быть может, потому, что ты шалил и поэтому думал, что она тебя больше не любит?»

Ганс: «Да».

Я: «А когда ты присутствовал при купании Анны, тебе не хотелось, чтобы мама отняла руки и уронила Анну в воду?»

Ганс: «Да».

Мы думаем, что отец угадал это совершенно верно. «12 апреля. На обратном пути из Лайнца в вагоне 2-го класса Ганс при виде черной кожаной обивки говорит: „Пфуй, я плюю, когда я вижу черные панталоны и черных лошадей, я тоже плюю, потому что я должен делать Lumpf».

Я: «Быть может, ты у мамы видел что-нибудь черное, что тебя испугало?»

Ганс: «Да».

Я: «А что?»

Ганс: «Я не знаю, черную блузку или черные чулки».

Я: «Быть может, ты увидел черные волосы на Wiwimacher'е, когда ты был любопытным и подглядывал?»

Ганс (оправдываясь): «Но Wiwimacher'а я не видел».

Когда он однажды снова обнаружил страх при виде воза, выезжавшего из противоположных ворот, я спросил его: «Не похожи ли эти ворота на роро?»

Он: «А лошади на Lumpf?» После этого каждый раз при виде выезжающего из ворот

воза он говорит: «Смотри, идет Lumpfi». Выражение Lumpfi он употребляет в первый раз; оно звучит как ласкательное имя. Моя свояченица называет своего ребенка Wumpfi.

13 апреля при виде куска печенки в супе он говорит: «Пфуй, Lumpf». Он ест, по-видимому, неохотно и рубленое мясо, которое ему по форме и цвету напоминает Lumpf.

Вечером моя жена рассказывает, что Ганс был на балконе и сказал ей: «Я думал, что Анна была на балконе и упала вниз». Я ему часто говорил, что когда Анна на балконе, он должен следить за ней, чтобы она не подошла к барьеру, который слесарь-сецессионист62 сконструировал весьма нелепо, с большими отверстиями. Здесь вытесненное желание Ганса весьма прозрачно. Мать спросила его, не было ли бы ему приятнее, если бы Анна совсем не существовала. На это он ответил утвердительно.

14 апреля. Тема, касающаяся Анны, все еще на первом плане. Мы можем вспомнить из прежних записей, что он почувствовал антипатию к новорожденной, отнявшей у него часть родительской любви; эта антипатия и теперь еще не исчезла и только отчасти компенсируется преувеличенной нежностью. Он уже часто поговаривал, чтобы аист больше не приносил детей, чтобы мы дали аисту денег, чтобы тот больше не приносил детей из большого ящика, в котором находятся дети. (Ср. страх перед мебельным фургоном. Не выглядит ли омнибус как большой ящик?) Анна так кричит, это ему тяжело.

Однажды он неожиданно заявляет: «Ты можешь вспомнить, как пришла Анна? Она лежала на кровати у мамы такая милая и славная (эта похвала звучит подозрительно фальшиво).

Затем мы внизу перед домом. Можно опять отметить большое улучшение. Даже ломовики вызывают в нем более слабый страх. Один раз он с радостью кричит: «Вот едет лошадь с черным у рта» – и я, наконец, могу констатировать, что это лошадь с кожаным намордником. Но Ганс не испытывает никакого страха перед этой лошадью.

Однажды он стучит своей палочкой о мостовую и спрашивает: «Слушай, тут лежит человек… который похоронен… или это бывает только на кладбище?» Таким образом, его занимает теперь не только загадка жизни, но и смерти.

По возвращении я вижу в передней ящик, и Ганс говорит63: «Анна ехала с нами в Гмунден в таком ящике. Каждый раз, когда мы ехали в Гмунден, она ехала с нами в ящике. Ты мне уже опять не веришь? Это, папа, уже на самом деле. Поверь мне, мы достали большой ящик, полный детей, и они сидели там, в ванне. (В этот ящик упаковывалась ванна.) Я их посадил туда, верно. Я хорошо припоминаю это»64.

Я: «Что ты можешь припомнить?»

Ганс: «Что Анна ездила в ящике, потому что я этого не забыл. Честное слово!»

Я: «Но ведь в прошлом году Анна ехала с нами в купе».

Ганс: «Но раньше она всегда ездила с нами в ящике».

Я: «Не маме ли принадлежал ящик?»

Ганс: «Да, он был у мамы».

Я: «Где же?»

Ганс: «Дома на полу».

Я: «Может быть, она его носила с собой?»65

Ганс: «Нет! Когда мы теперь поедем в Гмунден, Анна опять поедет в ящике».

Я: «Как же она вылезла из ящика?»

Ганс: «Ее вытащили».

Я: «Мама?»

Ганс: «Я и мама. Потом мы сел и в экипаж. Анна ехала верхом на лошади, а кучер погонял. Кучер сидел на козлах. Ты был с нами. Даже мама это знает. Мама этого не знает, потому что она опять это забыла, но не нужно ей ничего говорить».

Я заставляю его все повторить.

Ганс: «Потом Анна вылезла».

Я: «Она ведь еще и ходить не могла!»

Ганс: «Мы ее тогда снесли на руках».

Я: «Как же она могла сидеть на лошади, ведь в прошлом году
она еще совсем не умела сидеть».

Ганс: «О, да, она уже сидела и кричала: но! но! И щелкала кнутом который раньше был у меня. Стремян у лошади не было, а Анна ехала верхом; папа, а может быть, это не шутка».

Что должна означать эта настойчиво повторяемая и удерживаемая бессмыслица? О, это ничуть не бессмыслица; это пародия – месть Ганса отцу. Она должна означать приблизительно следующее: если ты в состоянии думать, что я могу поверить в аиста, который в октябре будто бы принес Анн у, тогда как я уже летом, когда мы ехали в Гмунден, заметил у матери большой живот, то я могу требовать, чтобы и ты верил моим вымыслам. Что другое может означать его утверждение, что Анна уже в прошлое лето ездила в ящике в Гмунден, как не его осведомленность о беременности матери? То, что он и для следующего года предполагает эту поездку в ящике, соответствует обычному появлению из прошлого бессознательных мыслей. Или у него есть особые основания для страха, что к ближайшей летней поездке мать опять будет беременна. Тут уже мы узнали, что именно испортило ему поездку в Гмунден, – это видно из его второй фантазии. «Позже я спрашиваю его, как, собственно говоря, Анна после рождения пришла к маме, в постель».

Тут он уже имеет возможность развернуться и подразнить отца. Ганс: «Пришла Анна. Госпожа Краус (акушерка) уложила ее в кровать. Ведь она еще не умела ходить. А аист нес ее в своем клюве. Ведь ходить она еще не могла (не останавливаясь, продолжает). Аист подошел к дверям и постучал; здесь все спали, а у него был подходящий ключ; он отпер двери и уложил Анну в твою66 кровать, а мама спала; нет, аист уложил Анну в мамину кровать. Уже была ночь, и аист совершенно спокойно уложил ее в кровать и совсем без шума, а потом взял себе шляпу и ушел обратно. Нет, шляпы у него не было».

Я: «Кто взял себе шляпу? Может быть, доктор?»

Ганс: «А потом аист ушел к себе домой и потом позвонил, и все в доме уже больше не спали. Но ты этого не рассказывай ни маме, ни Тине (кухарка). Это тайна!»

Я: «Ты любишь Анну?»

Ганс: «Да, очень».

Я: «Было бы тебе приятнее, если бы Анны не было, или ты рад, что она есть?»

Ганс: «Мне было бы приятнее, если бы она не появилась на свет».

Я: «Почему?»

Ганс: «По крайней мере она не кричала бы так, а я не могу переносить крика».

Я: Ведь ты и сам кричишь?»

Ганс: «А ведь Анна тоже кричит».

Я: «Почему ты этого не переносишь?»

Ганс: «Потому что она так сильно кричит».

Я: «Но ведь она совсем не кричит».

Ганс: «Когда ее шлепают по голому роро, она кричит».

Я: «Ты уже ее когда-нибудь шлепал?»

Ганс: «Когда мама шлепает ее, она кричит».

Я: «Ты этого не любишь?»

Ганс: «Нет… Почему? Потому что она своим криком производит такой шум».

Я: «Если тебе было бы приятнее, чтобы ее не было на свете, значит, ты ее не любишь?»

Ганс: «Гм, гм…» (утвердительно).

Я: «Поэтому ты думаешь, что мама отнимет руки во время купания и Анна упадет в воду…»

Ганс (дополняет): «…и умрет».

Я: «И ты остался бы тогда один с мамой. А хороший мальчик этого все-таки не желает».

Ганс: «Но думать ему можно».

Я: «А ведь это нехорошо».

Ганс: «Когда об этом он думает, это все-таки хорошо, потому что тогда можно

написать об этом профессору»67.

Позже я говорю ему: «Знаешь, когда Анна станет больше и научится говорить, ты будешь ее уже больше любить».

Ганс: «О, нет. Ведь я ее люблю. Когда она осенью уже будет большая, я пойду с ней один в парк и буду все ей объяснять».

Когда я хочу заняться дальнейшими разъяснениями, он прерывает меня, вероятно, чтобы объяснить мне, что это не так плохо, когда он желает Анне смерти.

Ганс: «Послушай, ведь она уже давно была на свете, даже когда ее еще не было. Ведь у аиста она уже тоже была на свете»

Я: «Нет, у аиста она, пожалуй, и не была».

Ганс: «Кто же ее принес? У аиста она была».

Я: «Откуда же он ее принес?»

Ганс: «Ну, от себя».

Я: «Где она у него там находилась?»

Ганс: «В ящике, в аистином ящике».

Я: «А как выглядит этот ящик?»

Ганс: «Он красный. Выкрашен в красный цвет (кровь?)».

Я: «А кто тебе это сказал?»

Ганс: «Мама; я себе так думал; так в книжке нарисовано».

Я: «В какой книжке?»

Ганс: «В книжке с картинками». (Я велю ему принести его первую книжку с картинками. Там изображено гнездо аиста с аистами на красной трубе. Это и есть тот ящик. Интересно, что на той же странице изображена лошадь, которую подковывают. Ганс помещает детей в ящик, так как он их не находит в гнезде.)

Я: «Что же аист с ней сделал?»

Ганс: «Тогда он принес Анну сюда. В клюве. Знаешь, это тот аист из Шенбрунна, который укусил зонтик». (Воспоминание о маленьком происшествии в Шенбрунне.)

Я: «Ты видел, как аист принес Анну?»

Ганс: «Послушай, ведь я тогда еще спал. А утром уже никакой аист не может принести девочку или мальчика».

Я: «Почему?»

Ганс: «Он не может этого. Аист этого не может. Знаешь, почему? Чтобы люди этого сначала не видели и чтобы сразу, когда наступит утро, девочка уже была тут»68.

Я: «Но тогда тебе было очень интересно знать, как аист это сделал?»

Ганс: «О, да!»

Я: «А как выглядела Анна, когда она пришла?»

Ганс (неискренно): «Совсем белая и миленькая, как золотая».

Я: «Но когда ты увидел ее в первый раз, она тебе не понравилась?»

Ганс: «О, очень!»

Я: «Ведь ты был поражен, что она такая маленькая?»

Ганс: «Да».

Я: «Как велика была она?»

Ганс: «Как молодой аист».

Я: «А еще как что? Может быть, как Lumpf?»

Ганс: «О, нет, Lumpf много больше – капельку меньше, чем Анна теперь».

Я уже раньше говорил отцу, что фобия Ганса может быть сведена к мыслям и желаниям, связанным с рождением сестренки. Но я упустил обратить его внимание на то, что по инфантильной сексуальной теории ребенок – это Lumpf, так что Ганс должен пройти и через экскрементальный комплекс. Вследствие этого моего упущения и произошло временное затемнение лечения. Теперь после сделанного разъяснения отец пытается выслушать вторично Ганса по поводу этого важного пункта.

«На следующий день я велю ему рассказать еще раз вчерашнюю историю. Ганс

рассказывает: „Анна поехала в Гмунден в большом ящике, мама в купе, а Анна в товарном поезде с ящиком, и тогда, когда мы приехали в Гмунден, я и мама вынули Анну и посадили на лошадь. Кучер сидел на козлах, а у Анны был прошлый (прошлогодний) кнут; она стегала лошадь и все кричала – но-но, и это было ужасно весело, а кучер тоже стегал лошадь. (Кучер вовсе не стегал, потому что кнут был у Анны.) Кучер держал вожжи, и Анна держала вожжи, мы каждый раз с вокзала ездили домой в экипаже (Ганс старается здесь согласовать действительность с фантазией.) В Гмундене мы сняли Анну с лошади, и она сама пошла по лестнице».

Когда Анна в прошлом году жила в Гмундене, ей было всего 8 месяцев. Годом раньше, в период, на который, по-видимому направлена фантазия Ганса, ко времени приезда в Гмунден жена находилась в конце 5-го месяца беременности.

Я: «Ведь в прошлом году Анна была уже на свете?»

Ганс: «В прошлом году она ездила в коляске, но годом раньше, когда уже она у нас была на свете…»

Я: «Анна уже была у нас?»

Ганс: «Да, ведь ты же всегда ездил со мной в лодке, и Анна помогала тебе».

Я: «Но ведь это происходило не в прошлом году. Анны тогда еще не было вовсе на свете».

Ганс: «Да, тогда уже она была на свете. Когда она ехала в ящике, она уже могла ходить и говорить: „Анна». (Она научилась этому только 4 месяца назад.)

Я: «Но она тогда ведь не была еще у нас».

Ганс: «О, да, тогда она все-таки была у аиста».

Я: «А сколько лет Анне?»

Ганс: «Осенью ей будет два года; Анна была тогда, ведь ты это знаешь?»

Я: «А когда же она была у аиста в аистином ящике?»

Ганс: «Уже давно, еще до того, как она ехала в ящике. Уже очень давно».

Я: «А когда Анна научилась ходить? Когда она была в Гмундене, она ведь еще не умела ходить».

Ганс: «В прошлом году – нет, а то умела».

Я: «Но Анна только раз была в Гмундене».

Ганс: «Нет! Она была два раза; да, это верно. Я это очень хорошо помню. Спроси только маму, она тебе это уже скажет».

Я: «Ведь это уже неверно».

Ганс: «Да, это верно. Когда она в первый раз была в Гмундене, она могла уже ходить и ездить верхом, а уже позже нужно было ее нести… Нет, она только позже ездила верхом, а в прошлом году ее нужно было нести».

Я: «Но она ведь только недавно начала ходить. В Гмундене она еще не умела ходить».

Ганс: «Да, запиши себе только. Я могу очень хорошо вспомнить. Почему ты смеешься?»

Я: «Потому, что ты плут, ты очень хорошо знаешь, что Анна была только раз в Гмундене».

Ганс: «Нет, это неверно. В первый раз она ехала верхом на лошади… а во второй раз» (по-видимому, начинает терять уверенность).

Я: «Быть может, мама была лошадью?»

Ганс: «Нет, на настоящей лошади в одноконном экипаже».

Я: «Но мы ведь всегда ездили на паре».

Ганс: «Тогда это был извозчичий экипаж».

Я: «Что Анна ела в ящике?»

Ганс: «Ей дали туда бутерброд, селедку и редиску (гмунденовский ужин), и так как Анна ехала, она намазала себе бутерброд и 50 раз ела».

Я: «И она не кричала?»

Ганс: «Нет».

Я: «Что же она делала?»
Ганс: «Сидела там совершенно спокойно».
Я: «И не стучала?»
Ганс: «Нет, она все время ела и ни разу даже не пошевелилась. Она выпила два больших горшка кофе – до утра ничего не осталось, а весь сор она оставила в ящике, и листья от редиски, и ножик, она все это прибрала, как заяц, и в одну минуту была уже готова. Вот была спешка! Я даже сам с Анной ехал в ящике, и я в ящике спал всю ночь (мы на самом деле года два назад ночью ездили в Гмунден), а мама ехала в купе; мы все время ели и в вагоне, это было очень весело… Она вовсе не ехала верхом на лошади (он теперь уже колеблется, так как знает, что мы ехали в парном экипаже)… она сидела в экипаже. Это уже верно, но я ехал совсем один с Анной… мама ехала верхом на лошади, а Каролина (прошлогодняя прислуга) ехала на другой… Слушай, все, что я тебе тут рассказываю, все неверно».
Я: «Что неверно?»
Ганс: «Все не так. Послушай. Мы посадим ее и меня в ящик69, а я в ящике сделаю wiwi. И я сделаю wiwi в панталоны, мне это все равно, это совсем не стыдно. Слушай, это серьезно, а все-таки очень весело!»
Затем он рассказывает историю, как вчера, о приходе аиста, но не говорит, что аист при уходе взял шляпу.
Я: «Где же у аиста был ключ от дверей?»
Ганс: «В кармане».
Я: «А где у аиста карман?»
Ганс: «В клюве».
Я: «В клюве? Я еще не видел ни одного аиста с ключом в клюве».
Ганс: «А как же он мог войти? Как входит аист в двери? Это неверно, я ошибся, аист позвонил, и кто-то ему открыл дверь».
Я: «Как же он звонит?»
Ганс: «В звонок».
Я: «Как он это делает?»
Ганс: «Он берет клюв и нажимает им звонок».
Я: «И он опять запер дверь?»
Ганс: «Нет, прислуга ее заперла. Она уже проснулась. Она отперла ему дверь и заперла».
Я: «Где живет аист?»
Ганс: «Где? В ящике, где он держит девочек. Может быть, в Шенбрунне».
Я: «Я в Шенбрунне не видел никакого ящика».
Ганс: «Он, вероятно, находится где-то подальше. Знаешь, как аист открывает ящик? Он берет клюв – в ящике есть замок – и одной половинкой его так открывает (демонстрирует это мне на замке письменного стола). Тут есть и ручка».
Я: «Разве такая девочка не слишком тяжела для аиста?»
Ганс: «О, нет!»
Я: «Послушай, не похож ли омнибус на ящик аиста?»
Ганс: «Да!»
Я: «И мебельный фургон?»
Ганс: «Гадкий фургон – тоже».
17 апреля. Вчера Ганс вспомнил свое давнишнее намерение и пошел во двор, находящийся напротив нашего дома. Сегодня он этого уже не хотел сделать, потому что как раз против ворот у платформы стоял воз. Он сказал мне: «Когда там стоит воз, я боюсь, что я стану дразнить лошадей, они упадут и произведут ногами шум».
Я: «А как дразнят лошадей?»
Ганс: «Когда их ругают, тогда дразнят их, и когда им кричат но-но»70.
Я: «Ты дразнил уже лошадей?»

Ганс: «Да, уже часто. Я боюсь, что я это сделаю, но это не так».

Я: «В Гмундене ты уже дразнил лошадей?»

Ганс: «Нет».

Я: «Но ты охотно дразнишь лошадей?»

Ганс: «Да, очень охотно».

Я: «Тебе хотелось и стегнуть их кнутом?»

Ганс: «Да».

Я: «Тебе хотелось бы так бить лошадей, как мама бьет Анну. Ведь тебе это тоже приятно?»

Ганс: «Лошадям это не вредно, когда их бьют. (Я так ему говорил в свое время, чтобы умерить его страх перед битьем лошадей.) Я это однажды на самом деле сделал. У меня однажды был кнут, и я ударил лошадь, она упала и произвела ногами шум».

Я: «Когда?»

Ганс: «В Гмундене».

Я: «Настоящую лошадь? Запряженную в экипаж?»

Ганс: «Она была без экипажа».

Я: «Где же она была?»

Ганс: «Я ее держал, чтобы она не убежала». (Все это, конечно, весьма невероятно.)

Я: «Где это было?»

Ганс: «У источника».

Я: «Кто же тебе это позволил? Разве кучер ее там оставил?»

Ганс: «Ну, лошадь из конюшни».

Я: «Как же она пришла к источнику?»

Ганс: «Я ее привел».

Я: «Откуда? Из конюшни?»

Ганс: «Я ее вывел потому, что я хотел ее побить».

Я: «Разве в конюшне никого не было?»

Ганс: «О, да, Людвиг (кучер в Гмундене)».

Я: «Он тебе это позволил?»

Ганс: «Я с ним ласково поговорил, и он сказал, что я могу это сделать».

Я: «А что ты ему сказал?»

Ганс: «Можно ли мне взять лошадь, бить ее и кричать. А он сказал – да».

Я: «А ты ее много бил?»

Ганс: «Все, что я тебе тут рассказываю, совсем неверно».

Я: «А что же из этого верно?»

Ганс: «Ничего не верно. Я тебе все это рассказал только в шутку».

Я: «Ты ни разу не уводил лошадь из конюшни?»

Ганс: «О, нет!»

Я: «Но тебе этого хотелось?»

Ганс: «Конечно, хотелось. Я себе об этом думал».

Я: «В Гмундене?»

Ганс: «Нет, только здесь. Я себе уже об этом думал рано утром, когда я только что оделся; нет, еще в постели».

Я: «Почему же ты об этом мне никогда не рассказывал?»

Ганс: «Я об этом не подумал».

Я: «Ты думал об этом, потому что видел это на улицах».

Ганс: «Да!»

Я: «Кого, собственно, тебе хотелось бы ударить – маму, Анну или меня?»

Ганс: «Маму».

Я: «Почему?»

Ганс: «Вот ее я хотел бы побить».

Я: «Когда же ты видел, что кто-нибудь бьет маму?»

Ганс: «Я этого еще никогда не видел, во всей моей жизни».

Я: «И ты все-таки хотел бы это сделать? Как бы ты это хотел сделать?»

Ганс: «Выбивалкой». (Мама часто грозит ему побить его выбивалкой.)

На сегодня я должен был прекратить разговор.

На улице Ганс разъясняет мне: омнибусы, мебельные, угольные возы – все это аистиные ящики».

Это должно означать – беременные женщины. Садистский порыв непосредственно перед разговором имеет, вероятно, отношение к нашей теме.

«21 апреля. Сегодня утром Ганс рассказывает, что он себе подумал: „Поезд был в Лайнце, и я поехал с лайнцской бабушкой в таможню. Ты еще не сошел с моста, а второй поезд был уже в Сан-Байт. Когда ты сошел, поезд уже пришел, и тут мы вошли в вагон».

(Вчера Ганс был в Лайнце. Чтобы войти на перрон, нужно пройти через мост. С перрона вдоль рельсов видна дорога до самой станции Сан-Байт. Здесь дело не совсем ясно. Вероятно, вначале Ганс представлял себе, что он уехал с первым поездом, на который я опоздал. Потом пришел с полустанка Сан-Байт другой поезд, на котором я и поехал. Он изменил часть этой фантазии о бегстве, и у него вышло, что мы оба уехали со вторым поездом.

Эта фантазия имеет отношение к последней неистолкованной, по которой мы в Гмундене потратили слишком много времени на переодевание в вагоне, пока поезд не ушел оттуда.)

После обеда мы перед домом. Ганс вбегает внезапно в дом, когда проезжает парный экипаж, в котором я не могу заметить ничего необыкновенного. Я спрашиваю его, что с ним. Он говорит: «Я боюсь, потому что лошади так горды, что они упадут». (Лошади были сдерживаемы на вожжах кучером и шли мелким шагом с поднятой головой, – они, действительно, шли «гордо».)

Я спрашиваю его, кто, собственно, так горд?

Он: «Ты, когда я иду к маме в кровать».

Я: «Ты, значит, хотел бы, чтобы я упал?»

Он: «Да, чтобы ты голый (он думает: босой, как в свое время Фриц) ушибся о камень, чтобы потекла кровь; по крайней мере я смогу хоть немножко побыть с мамой наедине. Когда ты войдешь в квартиру, я смогу скоро убежать, чтобы ты этого не видел».

Я: «Ты можешь вспомнить, кто ушибся о камень?»

Он: «Да, Фриц».

Я: «Что ты себе думал, когда упал Фриц?»

Он: «Чтобы ты споткнулся о камень и упал».

Я: «Тебе, значит, сильно хотелось к маме?»

Он: «Да!»

Я: «А почему я, собственно, ругаюсь?»

Он: «Этого я не знаю (!!)».

Я: «Почему?»

Он: «Потому что ты ревнуешь».

Я: «Ведь это неправда».

Он: «Да, это правда, ты ревнуешь, я это знаю. Это, должно быть, верно».

По-видимому, мое объяснение, что маленькие мальчики приходят к маме в кровать, а большие спят в собственной кровати, мало импонировало ему.

Я подозреваю, что желание дразнить лошадь, бить и кричать на нее относится не к маме, как он говорил, а ко мне. Он тогда указал на мать, потому что не решился мне сознаться в другом. В последние дни он особенно нежен по отношению ко мне».

С чувством превосходства, которое так легко приобретается «потом», мы можем внести поправку в предположения отца, что желание Ганса дразнить лошадь двойное и составилось из темного садистского чувства по отношению к матери и ясного желания мести по отношению к отцу. Последнее не могло быть репродуцировано раньше, чем в связи с

комплексом беременности не наступила очередь первого. При образовании фобии из бессознательных мыслей происходит процесс сгущения; поэтому пути психоанализа никогда не могут повторить пути развития невроза.

«22 апреля. Сегодня утром Ганс опять „что-то подумал». „Один уличный мальчишка ехал в вагончике; пришел кондуктор, раздел мальчишку донага и оставил его там до утра, а утром мальчик заплатил кондуктору 50 000 гульденов, чтобы тот позволил ему ехать в этом вагончике».

(Против нас проходит Северная железная дорога. На запасном пути стоит дрезина. На ней Ганс видел мальчишку, и ему самому хотелось прокатиться на ней. Я ему сказал, что этого нельзя делать, а то придет кондуктор. Второй элемент фантазии – вытеснение желания обнажаться.)»

Мы замечаем уже некоторое время, что фантазия Ганса работает «под знаком способов передвижения» и с известной последовательностью идет от лошади, которая тащит воз, к железной дороге. Так ко всякой боязни улиц со временем присоединяется страх перед железной дорогой.

«Днем я узнаю, что Ганс все утро играл с резиновой куклой, которую он называл Гретой. Через отверстие, в которое раньше был вделан свисток, он воткнул в середину маленький перочинный ножик, а затем для того, чтобы ножик выпал из куклы, оторвал ей ноги. Няне он сказал, указывая на соответствующее место: „Смотри, здесь Wiwimacher».

Я: «Во что ты сегодня играл с куклой?»

Он: «Я оторвал ей ноги, знаешь, почему? Потому что внутри был ножичек, который принадлежал маме. Я всунул его туда, где пуговка пищит, а потом я вырвал ноги, и оттуда ножик и выпал».

Я: «Зачем же ты оторвал ноги? Чтобы ты мог видеть Wiwimacher?»

Он: «Он и раньше там был, так что я его мог видеть».

Я: «А зачем же ты всунул нож?»

Он: «Не знаю».

Я: «А как выглядит ножичек?»

Он приносит мне его.

Я: «Ты думаешь, что это, быть может, маленький ребенок?»

Он: «Нет, я себе ничего не думал, но мне кажется, что аист или кто другой однажды получил маленького ребенка».

Я: «Когда?»

Он: «Однажды. Я об этом слышал, или я вовсе не слышал, или заговорился».

Я: «Что значит заговорился?»

Он: «Это неверно».

Я: «Все, что ни говорят, немножко верно».

Он: «Ну да, немножко».

Я (сменяя тему): «Как, по-твоему, появляются на свет цыплята?»

Он: «Аист выращивает их, нет, боженька».

Я объясняю ему, что курицы несут яйца, а из яиц выходят цыплята. Ганс смеется.

Я: «Почему ты смеешься?»

Ганс: «Потому что мне нравится то, что ты рассказываешь».

Он говорит, что он это уже видел.

Я: «Где же?»

Он: «У тебя».

Я: «Где же я нес яйца?»

Ганс: «В Гмундене ты положил яйцо в траву, и тут вдруг выскочил цыпленок. Ты однажды положил яйцо – это я знаю, я знаю это совершенно точно, потому что мне это мама рассказывала».

Я: «Я спрошу маму, правда ли это».

Ганс: «Это совсем неверно, но я уже раз положил яйцо, и оттуда выскочила курочка».

Я: «Где?»

Ганс: «В Гмундене; я лег в траву, нет, стал на колени, и дети тут совсем не смотрели, а наутро я и сказал им: „Ищите, дети, я вчера положил яйцо». И тут они вдруг посмотрели и вдруг нашли яйцо, и тут из него вышел маленький Ганс. Чего же ты смеешься? Мама этого не знает, и Каролина этого не знает, потому что никто не смотрел, а я вдруг положил яйцо, и вдруг оно там оказалось. Верно. Папа, когда вырастает курочка из яйца? Когда его оставляют в покое? Можно его есть?»

Я объясняю ему это.

Ганс: «Ну да, оставим его у курицы, тогда вырастет цыпленок. Упакуем его в ящик и отправим в Гмунден».

Ганс смелым приемом захватил в свои руки ведение анализа, так как родители медлили с давно необходимыми разъяснениями, и в блестящей форме симптоматического действия показал: «Видите, я так представляю себе рождение».

То, что он рассказывал няне о смысле его игры с куклой, было неискренне, а перед отцом он это прямо отрицает и говорит, что он только хотел видеть Wiwimacher. После того как отец в виде уступки рассказывает о происхождении цыплят из яиц, его неудовлетворенность, недоверие и имеющиеся знания соединяются для великолепной насмешки, которая в последних словах содержит уже определенный намек на рождение сестры.

«Я: „Во что ты играл с куклой?»

Ганс: «Я говорил ей: Грета».

Я: «Почему?»

Ганс: «Потому что я говорил – Грета».

Я: «Кого же ты изображал?»

Ганс: «Я ее нянчил как настоящего ребенка».

Я: «Хотелось бы тебе иметь маленькую девочку?»

Ганс: «О, да. Почему нет? Я бы хотел иметь, но маме не надо иметь, я этого не хочу».

(Так он уже часто говорил. Он боится, что третий ребенок еще больше сократит его права.)

Я: «Ведь только у женщины бывают дети».

Ганс: «У меня будет девочка».

Я: «Откуда же ты ее получишь?»

Ганс: «Ну, от аиста. Он вынет девочку, положит девочку в яйцо, и из яйца тогда выйдет еще одна Анна, еще одна Анна. А из Анны будет еще одна Анна. Нет, выйдет только одна Анна».

Я: «Тебе бы очень хотелось иметь девочку?»

Ганс: «Да, в будущем году у меня появится одна, которая тоже будет называться Анна».

Я: «Почему же мама не должна иметь девочки?»

Ганс: «Потому что я хочу иметь девочку».

Я: «Но у тебя же не может быть девочки».

Ганс: «О, да, мальчик получает девочку, а девочка получает мальчика»71.

Я: «У мальчика не бывает детей. Дети бывают только у женщин, у мам».

Ганс: «Почему не у меня?»

Я: «Потому что так это устроил господь бог».

Ганс: «Почему у тебя не может быть ребенка? О, да, у тебя уже будет, подожди только».

Я: «Долго мне придется ждать?»

Ганс: «Ведь я принадлежу тебе?»

Я: «Но на свет принесла тебя мама. Зкачит, ты принадлежишь маме и мне».

Ганс: «А Анна принадлежит мне или маме?»

Я: «Маме».

Ганс: «Нет, мне. А почему не мне и маме?»

Я: «Анна принадлежит мне, маме и тебе».

Ганс: «Разве вот так!»

Естественно, что ребенку недостает существенной части в понимании сексуальных отношений до тех пор, пока для него остаются неоткрытыми женские гениталии.

«24 апреля мне и моей жене удается разъяснить Гансу, что дети вырастают в самой маме и потом они при сильных болях, с помощью напряжения, как Lumpf, выходят на свет.

После обеда мы сидим перед домом. У него наступило уже заметное улучшение – он бежит за экипажами, и только то обстоятельство, что он не решается отойти далеко от ворот, указывает на остатки страха.

25 апреля Ганс налетает на меня и ударяет головой в живот, что случилось уже однажды. Я спрашиваю его, не коза ли он. Он говорит: «Нет, баран». – «Где ты видел барана?»

Он: «В Гмундене. У Фрица был баран» (у Фрица была для игры маленькая живая овца).

Я: «Расскажи мне об овечке – что она делала?»

Ганс: «Знаешь, фрейлейн Мицци (учительница, которая жила в’ доме) сажала всегда Анну на овечку, так что овечка не могла встать и не могла бодаться. А когда от нее отходят, она бодается, потому что у нее есть рожки. Вот Фриц водит ее на веревочке и привязывает к дереву. Он всегда привязывает ее к дереву».

Я: «А тебя овечка боднула?»

Ганс: «Она вскочила на меня; Фриц меня однажды подвел. Я раз подошел к ней и не знал, а она вдруг на меня вскочила. Это было очень весело – я не испугался».

Это, конечно, неправда.

Я: «Ты папу любишь?»

Ганс: «О, да!»

Я: «А может быть, и нет».

Ганс играет маленькой лошадкой. В этот момент лошадка падает. Он кричит: «Упала лошадка! Смотри, какой шум она делает!»

Я: «Ты немного злишься на папу за то, что мама его любит».

Ганс: «Нет».

Я: «Почему же ты так всегда плачешь, когда мама целует меня? Потому что ты ревнив?»

Ганс: «Да, пожалуй».

Я: «Тебе бы, небось, хотелось быть папой?»

Ганс: «О, да».

Я: «А что бы ты захотел сделать, если бы ты был папой?»

Ганс: «А ты Гансом? Я бы тогда возил тебя каждое воскресенье в Лайнц, нет, каждый будний день. Если бы я был папой, я был бы совсем хорошим».

Я: «А что бы ты делал с мамой?»

Ганс: «Я брал бы ее тоже в Лайнц».

Я: «А что еще?»

Ганс: «Ничего».

Я: «А почему же ты ревнуешь?»

Ганс: «Я этого не знаю».

Я: «А в Гмундене ты тоже ревновал?»

Ганс: «В Гмундене – нет (это неправда). В Гмундене я имел свои вещи, сад и детей».

Я: «Ты можешь вспомнить, как у коровы родился теленок?»

Ганс: «О, да. Он приехал туда в тележке. (Это, наверно, ему рассказали в Гмундене. И здесь – удар по теории об аисте.) А другая корова выжала его из своего зада». (Это уже результат разъяснения которое он хочет привести в соответствие с «теорией о тележке».)

Я: «Ведь это неправда, что он приехал в тележке, ведь он вышел из коровы, которая была в стойле».

Ганс, оспаривая это, говорит, что он видел утром тележку. Я обращаю его внимание на то, что ему, вероятно, рассказали про то, что теленок прибыл в тележке. В конце концов он допускает это: «Мне, вероятно, это рассказывала Берта, или нет, или, может быть, хозяин. Он был при этом, и это ведь было ночью, – значит, это все так, как я тебе говорю; или, кажется, мне про это никто не говорил, а я думал об этом ночью».

Если я не ошибаюсь, теленка увезли в тележке; отсюда и путаница.

Я: «Почему ты не думал, что аист принес его?»

Ганс: «Я этого не хотел думать».

Я: «Но ведь ты думал, что аист принес Анну?»

Ганс: «В то утро (родов) я так и думал. Папа, а г-н Райзенбихлер (хозяин) был при том, как теленок вышел из коровы?»72

Я: «Не знаю. А ты как думаешь?»

Ганс: «Я уже верю… Папа, ты часто видел у лошади что-то черное вокруг рта?»

Я: «Я это уже много раз видел на улице в Гмундене»73.

Я: «В Гмундене ты часто бывал в кровати у матери?»

Ганс: «Да!»

Я: «И ты себе вообразил, что ты папа!»

Ганс: «Да!»

Я: «И тогда у тебя был страх перед папой?»

Ганс: «Ведь ты все знаешь, я ничего не знал».

Я: «Когда Фриц упал, ты думал: „если бы так папа упал», и когда овечка тебя боднула, ты думал: „если бы она папу боднула». Ты можешь вспомнить о похоронах в Гмундене?» (Первые похороны, которые видел Ганс. Он часто вспоминает о них – несомненное покрывающее воспоминание.)

Ганс: «Да, а что там было?»

Я: «Ты думал тогда, что если бы умер папа, ты был бы на его месте?»

Ганс: «Да!»

Я: «Перед какими возами ты, собственно, еще испытываешь страх?»

Ганс: «Перед всеми».

Я: «Ведь это неправда?»

Ганс: «Перед пролетками и одноконными экипажами я страха не испытываю. Перед омнибусами и вьючными возами только тогда когда они нагружены, а когда они пусты, не боюсь. Когда воз нагружен доверху и при нем одна лошадь, я боюсь, а когда он нагружен и впряжены две лошади, я не боюсь».

Я: «Ты испытываешь страх перед омнибусами потому, что на них много людей?»

Ганс: «Потому, что на крыше так много поклажи».

Я: «А мама, когда она получила Анну, не была тоже нагружена?»

Ганс: «Мама будет опять нагружена, когда она опять получит ребенка, пока опять один вырастет и пока опять один будет там внутри».

Я: «А тебе бы этого хотелось?»

Ганс: «Да!»

Я: «Ты говорил, что не хочешь, чтобы мама получила еще одного младенца».

Ганс: «Тогда она больше не будет нагружена. Мама говорит, что когда она больше не захочет, то и бог этого не захочет». (Понятно, что Ганс вчера уже спрашивал, нет ли в маме еще детей. Я ему сказал, что нет и что если господь не захочет, в ней не будут расти дети.)

Ганс: «Но мне мама говорила, что когда она не захочет, больше у нее не вырастет детей, а ты говоришь, когда бог не захочет».

Я ему сказал, что это именно так, как я говорю, на что он заметил: «Ведь ты был при этом и знаешь это, наверно, лучше». Он вызвал на разговор и мать, и та примирила оба показания, сказав, что когда она не захочет, то и бог не захочет74.

Я: «Мне кажется, что ты все-таки хотел бы, чтобы у мамы был ребенок?»

Ганс: «А иметь его я не хочу».

Я: «Но ты этого желаешь?»

Ганс: «Пожалуй, желаю».

Я: «Знаешь, почему? Потому что тебе хотелось бы быть папой».

Ганс: «Да… Как эта история?»

Я: «Какая история?»

Ганс: «У папы не бывает детей, а как потом говорится в истории, когда я хотел бы быть папой?»

Я: «Ты хотел бы быть папой и женатым на маме, хотел бы быть таким большим, как я, иметь такие же усы, как у меня, и ты хотел бы, чтобы у мамы был ребенок».

Ганс: «Папа, когда я буду женатым, у меня будет ребенок только тогда, когда я захочу, а когда я не захочу, то и бог не захочет».

Я: «А тебе хотелось бы быть женатым на маме?»

Ганс: «О, да».

Здесь ясно видно, как в фантазии радость еще омрачается из-за неуверенности относительно роли отца и вследствие сомнений в том, от кого зависит деторождение.

«Вечером в тот же день Ганс, когда его укладывают в постель, говорит мне: „Послушай, знаешь, что я теперь делаю? Я теперь до 10 часов еще буду разговаривать с Гретой, она у меня в кровати. Мои дети всегда у меня в кровати. Ты мне можешь сказать, что это означает». Так как он уже совсем сонный, я обещаю ему записать это завтра, и он засыпает».

Из прежних записей видно, что Ганс со времени возвращения из Гмундена всегда фантазирует о своих «детях», ведет с ними разговоры и т. д.75.

«26 апреля я его спрашиваю: почему он всегда говорит о своих детях?

Ганс: «Почему? Потому что мне так хочется иметь детей, но я этого не хочу, мне не хотелось бы их иметь»76.

Я: «Ты себе всегда так представлял, что Берта, Ольга и т. д. твои дети?»

Ганс: «Да, Франц, Фриц, Поль (его товарищ в Лайнце) и Лоди». (Вымышленное имя, его любимица, о которой он чаще всего говорит. Я отмечаю здесь, что эта Лоди появилась не только в последние дни, но существует со дня последнего разъяснения (24 апреля).)

Я: «Кто эта Лоди? Она живет в Гмундене?»

Ганс: «Нет».

Я: «А существует на самом деле эта Лоди?»

Ганс: «Да, я знаю ее».

Я: «Которую?»

Ганс: «Ту, которая у меня есть».

Я: «Как она выглядит?»

Ганс: «Как? Черные глаза, черные волосы; я ее однажды встретил с Марикой (в Гмундене), когда я шел в город».

Когда я хочу узнать подробности, оказывается, что все это выдумано77.

Я: «Значит, ты думал, что ты мама?»

Ганс: «Я действительно и был мамой».

Я: «Что же ты, собственно, делал с детьми?»

Ганс: «Я их клал к себе спать, мальчиков и девочек».

Я: «Каждый день?»

Ганс: «Ну, конечно».

Я: «Ты разговаривал с ними?»

Ганс: «Когда не все дети влезали в постель, я некоторых клал на диван, а некоторых в детскую коляску, а когда еще оставались дети, я их нес на чердак и клал в ящик; там еще были дети, и я их уложил в другой ящик».

Я: «Значит, аистиные ящики стояли на чердаке?»

Ганс: «Да».

Я: «Когда у тебя появились дети, Анна была уже на свете?»?

Ганс: «Да, уже давно».

Я: «А как ты думал, от кого ты получил этих детей?»

Ганс: «Ну, от меня»78.

Я: «Ведь тогда ты еще не знал, что дети рождаются кем-нибудь?»

Ганс: «Я себе думал, что их принес аист». (Очевидно, ложь и увертка79.)

Я: «Вчера у тебя была Грета, но ты ведь знаешь, что мальчик не может иметь детей».

Ганс: «Ну да, но я все-таки в это верю».

Я: «Как тебе пришло в голову имя Лоди? Ведь так ни одну девочку не зовут. Может быть, Лотти?»

Ганс: «О нет, Лоди. Я не знаю, но ведь это все-таки красивое имя».

Я (шутя): «Может быть, ты думаешь, Шоколоди?»

Ганс (сейчас же): «Saffalodi80… потому что я так люблю есть колбасу и салями».

Я: «Послушай, не выглядит ли Saffalodi как Lumpf?»

Ганс: «Да!»

Я: «А как выглядит Lumpf?»

Ганс: «Черным. Как это и это» (показывает на мои брови и усы).

Я: «А как еще – круглый, как Saffalodi?»

Ганс: «Да».

Я: «Когда ты сидел на горшке и когда выходил Lumpf, ты думал себе, что у тебя появляется ребенок?»

Ганс (смеясь): «Да, на улице и здесь».

Я: «Ты знаешь, как падали лошади в омнибусе. Ведь воз выглядит как детский ящик, и когда черная лошадь падала, то это было так…»

Ганс (дополняет): «Как когда имеют детей».

Я: «А что ты себе думал, когда она начала топать ногами?»

Ганс: «Ну, когда я не хочу сесть на горшочек, а лучше хочу играть, я так топаю ногами». (Тут же он топает ногой.)

При этом он интересуется тем, охотно или неохотно имеют детей.

Ганс сегодня все время играет в багажные ящики, нагружает их и разгружает, хочет иметь игрушечный воз с такими ящиками. Во дворе таможни его больше всего интересовали погрузка и разгрузка возов. Он и пугался больше всего в тот момент, когда нагруженный воз должен был отъехать. «Лошади упадут (fallen)»81. Двери таможни он называл «дырами» (Loch) (первая, вторая, третья… дыра). Теперь он говорит Podlloch (anus).

Страх почти совершенно прошел. Ганс старается только оставаться вблизи дома, чтобы иметь возможность вернуться в случае испуга. Но он больше не вбегает в дом, и все время остается на улице. Его болезнь, как известно, началась с того, что он плача вернулся с прогулки, и когда его второй раз заставили идти гулять, он дошел только до городской станции «Таможня», с которой виден еще наш дом. Во время родов жены он, конечно, был удален от нее, и теперешний страх, мешающий ему удалиться от дома, соответствует тогдашней тоске по матери».

«30 апреля. Так как Ганс опять играет со своими воображаемыми детьми, я говорю ему: „Как, дети твои все еще живут? Ведь ты знаешь, что у мальчика не бывает детей».

Ганс: «Я знаю это. Прежде я был мамой, а теперь я папа».

Я: «А кто мать этих детей?»

Ганс: «Ну, мама, а ты дедушка».

Я: «Значит, ты хотел бы быть взрослым, как я, женатым на маме, и чтобы у нее были дети?»

Ганс: «Да, мне хотелось бы, а та из Лайнца (моя мать) тогда будет бабушкой».

Все выходит хорошо. Маленький Эдип нашел более счастливое разрешение, чем это предписано судьбой. Он желает отцу вместо того, чтобы устранить его, того же счастья, какое он требует и для себя; он производит отца в дедушки и женит на его собственной матери.

«1 мая. Ганс днем приходит ко мне и говорит: „Знаешь, что? Напишем кое-что для профессора».

Я: «А что?»

Ганс: «Перед обедом я со всеми своими детьми был в клозете. Сначала я делал Lumpf и wiwi, а они смотрели. Потом я их посадил, они делали Lumpf и wiwi, а я их вытер бумажкой. Знаешь, почему? Потому что мне очень хотелось бы иметь детей; я бы делал с ними все, что делают с маленькими детьми, водил бы их в клозет, обмывал и подтирал бы их, все, что делают с детьми».

После признания в этой фантазии вряд ли можно еще сомневаться в удовольствии, которое связано у Ганса с экскрементальными функциями.

«После обеда он в первый раз решается пойти в городской парк. По случаю 1 мая на улице меньше, чем обычно, но все же достаточно экипажей, которые на него до сих пор наводили страх. Он гордится своим достижением, и я должен с ним вечером еще раз пойти в городской парк. На пути мы встречаем омнибус, который он мне указывает: смотри, вот воз, воз для аистиного ящика! Когда он утром идет со мной опять в парк, он ведет себя так, что его болезнь можно считать излеченной.

2 мая Ганс рано утром приходит ко мне: «Слушай, я сегодня себе что-то думал». Сначала он это забыл, а потом рассказывает мне со значительными сопротивлениями: «Пришел водопроводчик и сначала клещами отнял у меня мой зад и дал мне другой, а потом и другой Wiwimacher. Он сказал мне: „Покажи мне зад», и я должен был повернуться, а потом он мне сказал: „Покажи мне Wiwimacher».

Отец улавливает смысл этой фантазии-желания и ни минуты не сомневается в единственно допустимом толковании.

«Я: „Он дал тебе больший Wiwimacher и больший зад».

Ганс: «Да!»

Я: «Как у папы, потому что ты очень хотел бы быть папой».

Ганс: «Да, и мне хотелось бы иметь такие же усы, как у тебя, и такие же волосы (показывает волосы на моей груди)».

Толкование недавно рассказанной фантазии – водопроводчик пришел и отвинтил ванну, а потом воткнул мне бурав в живот – сводится теперь к следующему. Большая ванна обозначает зад. Бурав или отвертка, как это и тогда указывалось, – Wiwimacher82. Эти фантазии идентичны. Тут открывается также новый подход к страху Ганса перед большой ванной. Ему неприятно, что его зад слишком мал для большой ванны».

В следующие дни мать несколько раз обращается ко мне с выражением своей радости по поводу выздоровления мальчика.

Дополнение, сделанное отцом спустя неделю.

«Уважаемый профессор! Я хотел бы дополнить историю болезни Ганса еще нижеследующим.

1. Ремиссия после первого разъяснения не была настолько совершенна, насколько я ее, быть может, изобразил. Ганс во всяком случае шел гулять, но под принуждением и большим страхом.

Один раз он дошел со мной до станции «Таможня», откуда виден наш дом, а дальше ни за что не хотел идти.

2. К словам «малиновый сок» и «ружье». Малиновый сок Ганс получает при запоре. Ружье – Schie?gewehr. Ганс часто смешивает слова schie?en и schei?en – стрелять и испражняться.

3. Когда Ганса перевели из нашей спальни в отдельную комнату, ему было приблизительно четыре года.

4. Следы остались еще теперь и выражаются не в страхе, а во вполне нормальной страсти к вопросам. Вопросы относятся преимущественно к тому, из чего делаются различные предметы (трамваи, машины и т. д.), кто их делает и т. д. Характерно для большинства вопросов, что Ганс задает их несмотря на то, что у него для себя ответ уже

готов. Он хочет только удостовериться. Когда он меня однажды своими вопросами довел до утомления и я сказал ему: «Разве ты думаешь, что я могу ответить на все твои вопросы?»– он ответил мне: «Я думал, что ты и это знаешь, раз ты знал о лошади».

5. О своей болезни Ганс говорит как о чем-то давно прошедшем: «тогда, когда у меня была глупость».

6. Неразрешенный остаток, над которым Ганс ломает себе голову, это: что делает с ребенком отец, раз мать производит его на свет. Это можно заключить из его вопросов. Не правда ли, я принадлежу также тебе (он думает), не только матери. Ему не ясно, почему он принадлежит мне. С другой стороны, у меня нет прямых доказательств, чтобы предполагать, как говорили вы, что он подглядел коитус родителей.

7. При изложении, быть может, следовало больше подчеркнуть силу страха. Иначе могут сказать: нужно было бы его основательно поколотить, и он бы тогда пошел гулять».

Я здесь же могу прибавить: с последней фантазией Ганса был побежден страх, исходящий из кастрационного комплекса, причем томительное ожидание превратилось в надежду на лучшее. Да, приходит врач, водопроводчик и т. п., отнимает пенис, но только для того, чтобы дать ему больший. Что касается остального, пусть наш маленький исследователь преждевременно приобретает опыт, что всякое знание есть только частица и что на каждой ступени знания всегда остается неразрешенный остаток.

Эпикриз

Это наблюдение над развитием и изменением фобии у 5-летнего мальчика я намерен исследовать с трех точек зрения: во-первых, насколько оно подтверждает положения, предложенные мною в 1905 г. в «Трех очерках по теории сексуальности»; во-вторых, что дает это Наблюдение к пониманию этой столь частой формы болезни; в-третьих, что можно извлечь из него для выяснения душевной жизни ребенка и для критики наших обычных программ воспитания.

I

У меня складывается впечатление, что картина сексуальной жизни ребенка, представляющаяся из наблюдений над маленьким Гансом, хорошо согласуется с изображением, которое я дал в моей теории полового влечения на основании психоаналитических исследований над взрослыми. Но прежде чем я приступлю к исследованию деталей этого согласования, я должен ответить на два возражения которые могут возникнуть при оценке этого анализа. Первое возражение: быть может, Ганс ненормальный ребенок и, как видно из его болезни, он предрасположен к неврозу, т. е. маленький дегенерат, а поэтому, быть может, неуместно переносить наши заключения с больного на здоровых детей. На это возражение, которое не уничтожает, а только ограничивает ценность наблюдения, я отвечу позже. Второе и более строгое возражение – это то, что анализ ребенка его отцом, находящимся под влиянием моих теоретически взглядов, захваченным моими предвзятостями, вряд ли может иметь какую-нибудь объективную цену. Само собой понятно, что ребенок в высокой степени внушаем и, быть может, особенно по отношению к отцу. Чтобы угодить отцу, он даст взвалить на себя все что угодно, в благодарность за то, что тот с ним так много занимается; естественно, что все его продукции в идеях, фантазиях и снах идут в желательном для отца направлении. Короче, это опять все «внушение», которое у ребенка по сравнению со взрослым удается легче раскрыть.

Удивительно, я припоминаю время, когда я, 22 года назад, начал вмешиваться в научные споры, С какой насмешкой тогда старшее поколение невропологов и психиатров относилось к «внушению» и его влияниям. С того времени положение вещей совершенно изменилось: противодействие быстро перешло в готовность идти навстречу. И это произошло не только благодаря влиянию, которое в эти десятилетия приобрели работы

Льебо, Бернгейма и их учеников, но еще вероятнее благодаря сделанному открытию, что использование этого модного термина «внушение» дает большую экономию в процессе мышления. Ведь никто не знает и не старается узнать, что такое внушение, откуда оно идет и когда оно имеет место. Достаточно, что все неудобное в психической жизни можно называть «внушением».

Я не разделяю излюбленного теперь взгляда, что детские показания все без исключения произвольны и не заслуживают доверия. В психическом вообще нет произвола. Недостоверность показаний у детей основана на преобладании фантазии, у взрослых – на преобладании предвзятых мнений. Вообще говоря, и ребенок не лжет без основания, и у него имеется даже большая любовь к правде, чем у взрослого. Было бы слишком несправедливо по отношению к Гансу отбросить все его показания. Можно вполне отчетливо исследовать, где он под давлением сопротивления лукавит или старается скрыть что-нибудь, где он во всем соглашается с отцом (и эти места совсем недоказательны) и, наконец, где он, освобожденный от давления, стремительно сообщает все, что является его внутренней правдой и что он до сих пор знал только один. Большей достоверности не дают и показания взрослых. Но остается все-таки сожалеть, что никакое изложение психоанализа не передает впечатлений, которые выносишь от него, и что окончательная убежденность никогда не наступает после чтения, а только после личного переживания. Но этот недостаток в одинаковой степени присущ и анализам взрослых.

Родители изображают Ганса веселым, откровенным, сердечным ребенком; таким он и должен быть, судя по воспитанию, которое дают ему родители, из которого исключены наши обычные грехи воспитания. До тех пор, пока Ганс в веселой наивности производил свои исследования, не подозревая возможного появления конфликтов, он сообщал их без задержки, и наблюдения из периода до фобии можно принимать тут же без всякого сомнения. В период болезни и во время психоанализа у него возникает несоответствие между тем, что он говорит, и тем, что он думает. Причина этому отчасти та, что у него набирается слишком много бессознательного материала, чтобы он мог им сразу овладеть, а отчасти это внутренние задержки, происходящие от его отношений к родителям. Я утверждаю совершенно беспристрастно, что и эти последние затруднения оказались ничуть не больше, чем при анализах взрослых.

Конечно, при анализе приходилось говорить Гансу много такого, что он сам не умел сказать; внушать ему мысли, которые у него еще не успели появиться; приходилось направлять его внимание в сторону, желательную для отца. Все это ослабляет доказательную, силу анализа; но так поступают при всех психоанализах. Психоанализ не есть научное, свободное от тенденциозности исследование, а терапевтический прием, он сам по себе ничего не хочет доказать, а только кое-что изменить. Каждый раз в психоанализе врач дает пациенту ожидаемые сознательные представления, с помощью которых он был бы в состоянии познать бессознательное и воспринять его один раз в большем, другой раз в более скромном размере. И есть случаи, где требуется большая поддержка, а другие – где меньшая. Без подобной поддержки никто не обходится. То, с чем пациент может справиться сам, есть только легкое расстройство, а ничуть не невроз, который является совершенно чуждым для нашего Я. Чтобы осилить такой невроз, нужна помощь другого, и только если этот другой может помочь, тогда невроз излечим. Если же в самом существе психоза лежит отворачивание от «другого», как это, по-видимому, характерно для состояний dementia praecox83, то такие психозы, несмотря на все наши усилия, окажутся неизлечимыми. Можно допустить, что ребенок, вследствие слабого развития его интеллектуальной системы, нуждается в особенно интенсивной помощи. Но все то, что врач сообщает больному, вытекает из аналитического опыта, и если врачебное вмешательство связывает и устраняет патогенный материал, то этот факт можно считать достаточно убедительным.

И все-таки наш маленький пациент во время анализа проявил достаточно самостоятельности, чтобы его можно было оправдать по обвинению во «внушаемости». Он, как все дети, без всякого внешнего побуждения применяет свои детские сексуальные теории

к своему материалу. Эти теории слишком далеки от взрослого; в этом случае я даже сделал упущение, не подготовив отца к тому, что путь к теме о разрешении от беременности идет через экскрементальный комплекс. И то, что вследствие моей поспешности привело к затемнению части анализа, дало по крайней мере хорошее свидетельство в неподдельности и самостоятельности мыслительной работы у Ганса. Он вдруг заинтересовался экскрементами, в то время как отец, подозреваемый во внушении, еще не знал, что из этого выйдет. Столь же мало зависело от отца развитие обеих фантазий о водопроводчике, которые исходили из давно приобретенного «кастрационного комплекса». Я должен здесь сознаться в том, что я совершенно скрыл от отца ожидание этой связи из теоретического интереса, чтобы не ослабить силы столь трудно достигаемого доказательства.

При дальнейшем углублении в детали анализа мы встретим еще много новых доказательств в независимости нашего Ганса от «внушения», но здесь я прекращаю обсуждение первого возражения. Я знаю, что и этот анализ не убедит тех, кто не дает себя убедить, и продолжаю обработку этих наблюдений для тех читателей, которые уже имели случаи убедиться в объективности бессознательного патогенного материала. Я не могу не высказать приятной уверенности, что число последних все растет.

Первая черта, которую можно отнести к сексуальной жизни маленького Ганса, это необыкновенно живой интерес к своему Wiwimacher'у, как он называет этот орган по одной из двух важных его функций, не оставленной без внимания в детской. Интерес этот делает его исследователем; таким образом он открывает, что на основании присутствия или отсутствия этого органа можно отличать живое от неживого. Существование этой столь значительной части тела он предполагает у всех живых существ, которых он считает подобными себе; он изучает его на больших животных, делает предположения о существовании его у родителей, и даже сама очевидность не мешает ему констатировать наличность этого органа у новорожденной сестры. Можно сказать, что если бы ему пришлось признать отсутствие этого органа у подобного себе живого существа, это было бы слишком большим потрясением основ его «миросозерцания» – все равно, что этот орган отняли бы и у него. Поэтому, вероятно, угроза, содержащая в себе возможность потери Wiwimacher'а, самым поспешным образом подвергается вытеснению, и ей придется обнаружить свое действие только впоследствии. В этом комплексе принимает участие мать, потому что прикосновение к этому органу доставляло ему ощущение удовольствия. Наш мальчик начал свою аутоэротическую сексуальную деятельность обычным и самым нормальным образом.

Удовольствие, испытываемое на собственном половом органе, переходит в удовольствие при разглядывании в его активной и пассивной форме; это то, что А. Адлер весьма удачно назвал скрещением влечения (Triebverschrankung). Мальчик ищет случая видеть Wiwimacher других лиц; у него развивается сексуальное любопытство, и ему нравится показывать свои половые органы. Один из его снов из начального периода вытеснения содержит желание, чтобы одна из его маленьких приятельниц помогала ему при мочеиспускании и таким образом могла видеть его половой орган. Сон этот доказывает, что его желание оставалось невытесненным. Более поздние сообщения подтверждают, что ему удавалось находить себе такого рода удовлетворение. Активные формы сексуального удовольствия от рассматривания вскоре связываются у него с определенным мотивом. Когда он повторно высказывает отцу и матери сожаление, что он никогда не видел их половых органов, то причиной этого является, вероятно, его желание сравнивать. Я всегда остается масштабом, которым оценивается мир; путем постоянного сравнения с собой научаешься понимать его. Ганс заметил, что большие животные имеют половой орган, намного больший, чем у него; поэтому он предполагает подобное же соотношение и для своих родителей и ему хотелось бы убедиться в этом. У мамы, думает он, наверное, такой же Wiwimacher, «как у лошади». Таким образом, у него уже готово утешение, что Wiwimacher будет расти вместе с ним; возникает впечатление, что желание ребенка быть большим он проецирует только на половые органы.

Итак, в сексуальной конституции маленького Ганса уже с самого начала зона половых органов оказывается более других эрогенных зон окрашенной чувством удовольствия.

Когда он в своей последней «фантазии о счастье», с которой кончилась его болезнь, имеет детей, водит их в клозет, заставляет их делать wiwi, подтирает их и делает с ними все то, что делают с детьми, то из этого можно, несомненно, сделать вывод, что все эти процедуры в его детские годы были для него источником наслаждения. Это наслаждение, которое он получал во время ухода со стороны матери, ведет его к выбору объекта, но все-таки нужно считать возможным, что он уже и раньше привык доставлять себе это наслаждение аутоэротическим путем, что он принадлежит к числу тех детей, которые любят задерживать экскременты до тех пор, пока выделение их не доставит им наслаждение. Я говорю лишь, что это возможно, потому что в анализе это не выяснено; «делание шума ногами», перед которым он позже испытывает страх, дает некоторые указания в этом направлении. В общем эти источники наслаждения не выделены у него так резко, как у других детей. Он вскоре стал опрятным; недержание мочи в постели и в течение дня не играло никакой роли в его первые годы; у него не было даже следа отвратительной для взрослых привычки играть своими экскрементами (эта привычка вновь часто появляется на исходе психической инволюции).

Отметим здесь же, что мы, несомненно, наблюдали у него в период фобии вытеснение этих обоих хорошо развитых у него компонентов. Он стыдится мочиться перед посторонними, он жалуется на себя за то, что кладет руку на свой Wiwimacher, старается избавиться от онанизма и чувствует отвращение перед Lumpf, wiwi и всем, что это напоминает. В своей фантазии об уходе за детьми он опять оставляет это вытеснение.

Сексуальная конституция нашего Ганса, по-видимому, не содержит в себе предрасположения к развитию перверзий и их негатива (здесь мы можем ограничиться истерией). Насколько мне пришлось узнать (а здесь, действительно, надо быть осторожным), прирожденная конституция истериков (при перверзиях это понятно само собой) отличается тем, что зона половых органов отступает на второй план перед другими эрогенными зонами. Из этого правила имеется одно определенное исключение. У лиц, ставших впоследствии гомосексуалистами и которые, по моим ожиданиям и по наблюдениям Задгера, проделывают в детстве амфигенную фазу, мы встречаем инфантильное преобладание зоны половых органов и особенно мужского органа. И это превознесение мужского полового органа становится роковым для гомосексуалистов. Они в детстве избирают женщину своим сексуальным объектом до тех пор, пока подозревают у нее обязательное существование такого же органа, как у мужчин; как только они убеждаются, что женщина обманула их в этом пункте, она становится для них неприемлемой в качестве сексуального объекта. Они не могут себе представить без пениса лицо, которое должно их привлекать в сексуальном отношении, и при благоприятном случае они фиксируют свое либидо на «женщине с пенисом», на юноше с женоподобной внешностью. Итак, гомосексуалисты – это лица, которые вследствие эрогенного значения собственных половых органов лишены возможности принять сексуальный объект без половых органов, подобных своим. На пути развития от аутоэротизма до любви к объектам они застряли на участке, находящемся ближе к аутоэротизму.

Нет никакого основания допускать существование особого гомосексуального влечения. Гомосексуализм вырабатывается не вследствие особенности во влечении, но в выборе объекта. Я могу сослаться на указание, которое я сделал в «Трех очерках по теории сексуальности», что мы ошибочно принимаем сосуществование влечения и объекта за глубокую связь между ними. Гомосексуалист со своими, быть может, нормальными влечениями не может развязаться со своим объектом, выбранным им благодаря известному условию. В своем детстве, когда это условие обычно имеет место, он может вести себя как наш маленький Ганс, который без различия нежен как с мальчиками, так и с девочками и который при случае называет своего друга Фрица «своей милейшей девочкой». Ганс гомосексуален, как все дети, соответственно тому, что он знает только один вид половых

органов, такой, какой у него.

Дальнейшее развитие нашего маленького эротика идет не к гомосексуальности, но к энергичной полигамически проявляющейся мужественности, в которой он в зависимости от меняющихся женских объектов знает, как действовать: в одном случае он решительно наступает, в других он страстно и стыдливо тоскует. В период, когда других объектов в любви нет, его склонность возвращается к матери (от которой он уходит к другим), чтобы здесь потерпеть крушение в форме невроза. Тут только мы узнаем, до какой интенсивности развивается любовь к матери и какая судьба ее постигает. Сексуальная цель, которую он преследовал у своих приятельниц, «спать у них», исходила от матери. Цель эта определена словами, которыми пользуются и в зрелом возрасте, хотя с другим, более богатым содержанием. Мальчик наш обычным путем, в годы раннего детства, нашел путь к любви к объекту и новый источник наслаждения: сон рядом с матерью стал для него определяющим. В этом сложном чувстве мы могли бы на первое место поставить удовольствие при прикосновении к коже, которое лежит в нашей конституции и которое по кажущейся искусственной номенклатуре Молля можно было бы назвать удовлетворением стремления к контректации (к соприкосновению).

В своих отношениях к отцу и матери Ганс самым ярким образом подтверждает все то, что я в своих работах «Толкование сновидений» и «Три очерка по теории сексуальности» говорил о сексуальных отношениях детей к родителям. Он действительно маленький Эдип, который хотел бы «устранить» отца, чтобы остаться самому с красивой матерью, спать с ней. Это желание появилось во время летнего пребывания в деревне, когда перемены, связанные с присутствием или отсутствием отца, указали ему на условия, от которых зависела желаемая интимность с матерью. Тогда, летом, он удовольствовался желанием, чтобы отец уехал. К этому желанию позже присоединился страх быть укушенным белой лошадью, – благодаря случайному впечатлению, полученному при отъезде другого отца. Позже, вероятно в Вене, где на отъезд отца больше нельзя было рассчитывать, уже появилось другое содержание: чтобы отец подолгу был в отсутствии, был мертв.

Исходящий из этого желания смерти отца и, следовательно, нормально мотивированный страх перед ним образовал самое большое препятствие для анализа, пока оно не было устранено во время разговора у меня на дому84.

На самом деле наш Ганс вовсе не злодей и даже не такой ребенок, у которого жестокие и насильственные склонности человеческой природы развиваются без задержек в этот период его жизни. Напротив, он необыкновенно добродушен и нежен; отец отметил, что превращение агрессивной склонности в сострадание произошло довольно рано. Еще задолго до фобии он начинал беспокоиться, когда при нем в детской игре били «лошадку», и он никогда не оставался равнодушным, когда в его присутствии кто-нибудь плакал. В одном месте анализа у него в известной связи обнаруживается подавленная частица садизма85, но она подавлена, и мы позже из этой связи сможем догадаться, зачем эта частица появилась и что она должна заместить. Ганс сердечно любит отца, которому он желает смерти, и в то время, когда его ум не признает этого противоречия, он оказывается вынужденным демонстрировать его тем, что ударяет отца и сейчас же целует то место, которое ударил. И нам следует остеречься признать это противоречие предосудительным; из таких противоположностей преимущественно и складывается жизнь чувств у людей86; быть может, если бы это было иначе, дело не доходило бы до вытеснения и до неврозов. Эти контрастные пары в сфере чувств у взрослых доходят одновременно до сознания только на высоте любовной страсти; обыкновенно один член такой пары подавляет другой до тех пор, пока удается держать его скрытым. В душе детей такие пары могут довольно долго мирно рядом сосуществовать, несмотря на их внутреннее противоречие.

Наибольшее значение для психосексуального развития нашего мальчика имело рождение сестры, когда ему было 3’/2 года. Это событие обострило его отношения к родителям, поставило для его мышления неразрешенные задачи, а присутствие при ее туалете оживило в нем следы воспоминания из его собственных прежних переживаний,

связанных с наслаждением. И это влияние вполне типично. В неожиданно большом количестве историй жизни и болезни нужно взять за исходный пункт эту вспышку сексуального наслаждения и сексуального любопытства, связанных с рождением следующего ребенка. Поведение Ганса по отношению к пришельцу то же самое, что я описал в «Толковании сновидений». Во время лихорадки, через несколько дней после рождения сестры, он обнаруживает, насколько мало он соглашается с этим увеличением семьи. Здесь всегда раньше всего появляется враждебность, а затем уже может последовать и нежность87. Страх, что может появиться еще новый ребенок, с этого момента занимает определенное место в его сознательном мышлении. В неврозе эта подавленная враждебность замещается особым страхом перед ванной. В анализе он откровенно обнаруживает свое желание смерти сестре, и не только в тех намеках, которые отец должен дополнить. Его самокритика указывает ему, что это желание не столь скверно, как аналогичное желание по отношению к отцу. Но бессознательно он, очевидно, к обоим относился одинаково, потому что и отец и сестра отнимают у него его маму, мешают ему быть с ней одному.

Это событие и связанные с ним вновь ожившие переживания дали еще и другое направление его желаниям. В победной заключительной фантазии он подводит итог всем своим эротическим побуждениям, происходящим из аутоэротической фазы и связанным с любовью объекта. Он женится на своей прекрасной матери, имеет несчетное число детей, за которыми он по-своему может ухаживать.

II

В один прекрасный день Ганс заболевает на улице страхом. Он не может еще сказать, чего он боится, но уже в начале своего тревожного состояния он выдает отцу мотив его заболевания, выгоды от болезни. Он хочет остаться у матери, ласкаться к ней; некоторую роль, как думает отец, здесь сыграло воспоминание, что он был удален от нее, когда появилась новорожденная. Вскоре выясняется, что этот страх уже больше не может быть обратно замещен желанием, так как он испытывает страх даже тогда, когда и мать идет с ним. А между тем мы получаем указание, на чем фиксируется его либидо, превратившееся в страх. Он обнаруживает весьма специфический страх, что его укусит белая лошадь.

Такое болезненное состояние мы называем «фобией», и мы могли бы причислить ее к боязни площадей, но последняя отличается тем, что неспособность ходить по улице легко исправима, когда больного сопровождает известное выбранное для этого лицо и в крайнем случае врач. Фобия Ганса не исчезает и при этом условии, она перестает быть связанной с пространством и все отчетливее избирает своим объектом лошадь; в первые же дни на высоте своего тревожного состояния он высказывает опасение, которое мне так облегчило понимание его страха, что «лошадь войдет в комнату».

Положение фобий в системе неврозов до сих пор было неопределенным. По-видимому, можно с уверенностью сказать, что в фобиях нужно видеть только синдромы, принадлежащие к различным неврозам, и им не следует придавать значение особых болезненных процессов. Для фобий наиболее частых, как у нашего пациента, мне кажется целесообразным название истерии страха (Angsthysterie); я предложил его д-ру Штеккелю, когда он взялся за описание нервных состояний страха, и я надеюсь, что это название получит права гражданства. Оправданием ему служит полное соответствие между психическим механизмом этих фобий и истерией, за исключением одного пункта, очень важного для различения этих форм. А именно: либидо, освобожденное из патогенного материала путем вытеснения, не конвертируется, т. е. не переходит из сферы психики на телесную иннервацию, а остается свободным в виде страха. Во всех случаях болезни эта истерия страха может в каких угодно размерах комбинироваться с «конверсионной истерией». Но существуют как чистые случаи конверсионной истерии без всякого страха, так и случаи чистой истерии страха, выражающиеся в ощущениях страха и фобиях без примеси конверсии; случай нашего Ганса принадлежит к числу последних.

Истерия страха принадлежит к числу наиболее частых психоневротических заболеваний, появляющихся ранее всех в жизни; это, можно сказать, неврозы периода детства. Когда мать рассказывает про своего ребенка, что он «нервен», то можно в 9 случаях из 10 рассчитывать, что ребенок имеет какой-нибудь страх или много страхов сразу. К сожалению, более тонкий механизм этих столь важных заболеваний еще недостаточно изучен. Еще не установлено, являются ли единственным условием происхождения истерии страха (в отличие от конверсионной истерии и других неврозов) конституциональные факторы или случайные переживания, или же какая комбинация тех и других условий дает эту болезнь. Мне кажется, что это невротическое заболевание меньше всего зависит от особенностей конституции и вследствие этого легче всего может быть приобретено во всякий период жизни.

Довольно легко выделить один существенный признак истерии страха. Эта болезнь всегда развивается преимущественно в фобию; в конце концов больной может освободиться от страхов, но только за счет задержек и ограничений, которым он должен себя подвергнуть. При истерии страха уже начинается психическая работа, имеющая целью психически связать ставший свободным страх. Но эта работа не может ни превратить страх обратно в либидо, ни связать его с теми комплексами, из которых это либидо происходит. Не остается ничего другого, как предупреждать всякий повод к развитию страха путем психических надстроек в форме осторожности, задержки, запрещения. Эти психические прикрытия проявляются наружу в форме фобии и кажутся нам сущностью болезни.

Нужно сказать, что лечение истерии страха было до сих пор чисто отрицательным. Опыт показал, что невозможно, а при некоторых обстоятельствах даже опасно достигать излечения болезни насильственным образом. Так, например, несомненно вредно приводить больного в положение, в котором у него должен развиться страх, после чего его лишают прикрытия. Таким образом его заставляют искать себе защиты и выказывают по отношению к нему не имеющее на него влияния презрение к его «непонятной трусости».

Для родителей нашего маленького пациента с самого начала уже было ясно, что здесь ни насмешкой, ни строгостью ничего сделать нельзя и что нужно искать доступа к его вытесненным желаниям психоаналитическим путем. Успех вознаградил необычные труды отца, и его сообщения дают нам возможность проникнуть в самую структуру подобной фобии и проследить путь предпринятого анализа.

Мне не кажется невероятным, что для читателя этот анализ вследствие его обширности и обстоятельности потерял в некоторой мере свою ясность. Поэтому я хочу сначала вкратце повторить его, оставляя ненужные подробности и отмечая те факты, которые шаг за шагом можно будет констатировать.

Прежде всего мы узнаем, что вспышка припадка страха была не столь внезапна, как это может показаться с первого взгляда. За несколько дней до этого ребенок проснулся от страшного сновидения, содержание которого было, что мать ушла и теперь у него «нет мамы, чтобы ласкаться к ней». Уже этот сон указывает на процесс вытеснения значительной интенсивности. Его нельзя истолковать так, как большинство страшных сновидений, что мальчик испытывал во сне страх соматического происхождения и затем уже использовал его для исполнения интенсивно вытесненного желания (ср. «Толкование сновидений»). Сновидение Ганса – это настоящее сновидение наказания и вытеснения, при котором остается неисполненной самая функция сновидения, так как Ганс со страхом пробуждается. Можно легко восстановить самый процесс, имевший место в бессознательном. Мальчику снилось, что его ласкает мать, что он спит у нее: все наслаждение претворилось в страх и все содержание представления стало прямо противоположным. Вытеснение одержало победу над механизмом сновидения.

Но начало этой психологической ситуации можно отнести еще к более раннему периоду. Уже летом у него появились подобные тоскливо-тревожные настроения, во время которых он высказывал приблизительно то же, что и теперь, и которые давали ему то преимущество, что мать брала его к себе в постель. С этого периода мы могли бы уже

признать существование у Ганса повышенного сексуального возбуждения, объектом которого оказалась мать, а интенсивность которого выразилась в двух попытках совращения матери (последняя незадолго до появления страха). Это возбуждение привело Ганса к ежевечернему мастурбационному удовлетворению. Произошло ли превращение возбуждения спонтанно, вследствие отказа матери или вследствие случайного пробуждения прежних впечатлений при случае, послуживших «поводом» для заболевания, этого решить нельзя, но это и безразлично, так как все три возможности не противоречат друг другу. Но несомненен факт превращения сексуального возбуждения в страх.

Мы уже слышали о поведении мальчика в период возникновения его страха и о первом содержании страха, которое он давал, а именно – что его укусит лошадь. Тут происходит первое вмешательство терапии. Родители указывают на то, что страх является результатом мастурбации, и стараются его отучить от нее. Я принимаю меры к тому, чтобы ему основательно подчеркнули его нежность к матери, которую ему хотелось бы выменять на страх перед лошадьми. Маленькое улучшение, наступившее после этой меры, вскоре во время соматической болезни исчезает. Состояние остается неизменным. Вскоре Ганс находит источник боязни, что его укусит лошадь, в воспоминании о впечатлении в Гмундене. Уезжающий отец предупреждал тогда сына: «Не подноси пальца к лошади, иначе она тебя укусит». Словесная форма, в которую Ганс облек предостережение отца, напоминает форму, в которой сделано было предупреждение против онанизма. Возникает впечатление, что родители правы, полагая, что Ганс испытывает страх перед своим онанистическим удовлетворением. Но связь получается все еще непрочная, и лошадь кажется попавшей в свою устрашающую роль совершенно случайно.

Я высказал предположение, что вытесненное желание Ганса могло означать, что он во что бы то ни стало хочет видеть Wiwimacher матери. Воспользовавшись отношением Ганса к новопоступившей прислуге, отец делает ему первое разъяснение: «У женщин нет Wiwimacher'а». На эту первую помощь Ганс реагирует сообщением своей фантазии, в которой он видел мать прикасающейся к его Wiwimacher'у. Эта фантазия и высказанное в разговоре замечание, что его Wiwimacher все-таки вырос, дают возможность в первый раз заглянуть в течение мыслей пациента. Он действительно находился под впечатлением угрозы матери кастрацией, которая имела место 1 1/4 года назад, так как фантазия, что мать делает то же самое (обыкновенный прием обвиняемых детей), должна освободить его от страха перед угрозой, это – защитная фантазия. В то же время мы должны себе сказать, что родители извлекли у Ганса из его патогенно действующего материала тему интереса к Wiwimacher'у. Он за ними в этом направлении последовал, но самостоятельно в анализ еще не вступил. Терапевтического успеха еще не было заметно. Анализ далеко ушел от лошадей, и сообщение, что у женщин нет Wiwimacher'а, по своему содержанию скорее способно было усилить его заботы о сохранении собственного Wiwimacher'а.

Но мы в первую очередь стремимся не к терапевтическому успеху; мы желаем привести пациента к тому, чтобы он мог сознательно воспринять свои бессознательные побуждения. Этого мы достигаем, когда на основании указаний, которые он нам делает, при помощи нашего искусства толкования своими словами вводим в его сознание бессознательный комплекс. Следы сходства между тем, что он услышал, и тем, что он ищет, что само, несмотря на все сопротивления, стремится дойти до сознания, помогают ему найти бессознательное. Врач идет немного впереди; пациент идет за ним своими путями до тех пор, пока у определенного пункта они не встретятся. Новички в психоанализе обыкновенно сливают в одно эти два момента и считают, что момент, в котором им стал известен бессознательный комплекс больного, в то же время есть момент, когда этот комплекс стал и больному понятен. Они ожидают слишком многого, когда хотят вылечить больного сообщением ему факта, который может только помочь больному найти бессознательный комплекс в сфере бессознательного там, где он застрял. Первого успеха подобного рода мы достигаем теперь у Ганса. После частичной победы над его кастрационным комплексом он теперь в состоянии сообщить свои желания по отношению к матери, и он делает это в еще

искаженной форме в виде фантазии о двух жирафах, из которых один безуспешно кричит в то время, как сам Ганс овладевает другим. Овладение он изображает тем, что он садится на него. В этой фантазии отец узнает воспроизведение сцены, которая утром разыгралась в спальне между родителями и мальчиком, и он тут же спешит освободить желание от всего, что его искажает. Оба жирафа – это отец и мать. Форма фантазии с жирафами в достаточной мере детерминирована посещением этих больших животных в Шенбрунне, которое имело место несколько дней назад, рисунком жирафа, который отец сохранил из прежнего времени, и, быть может, вследствие бессознательного сравнения, связанного с высокой и неподвижной шеей жирафа88. Мы замечаем, что жираф, как большое и по своему Wiwimacher'у интересное животное, мог бы сделаться конкурентом лошади в ее устрашающей роли; а то, что отец и мать выведены в виде жирафов, дает нам пока еще не использованное указание на значение вызывающих страх лошадей.

Две меньшие фантазии, которые Ганс рассказывает непосредственно после истории с жирафами, ускользают от истолкования со стороны отца, а их сообщение не приносит Гансу никакой пользы. Содержание этих фантазий состоит в том, что он в Шенбрунне стремится проникнуть в огороженное пространство и что он в вагоне разбивает стекло; в обоих случаях подчеркивается преступное в поступках и соучастие отца. Но все, что оставалось непонятным, приходит опять; как рвущийся на свободу дух, оно не находит себе покоя до тех пор, пока дело не доходит до освобождения и разрешения.

Понимание обеих фантазий о преступлении не представляет для нас никаких затруднений. Они принадлежат комплексу овладения матерью. В мальчике как будто пробивает себе дорогу неясное представление о том, что следовало бы сделать с матерью, чтобы можно было достичь обладания. И для того, что он не может понять, он находит известные образные подстановки, общим для которых является насильственное, запретное, а содержание которых так удивительно хорошо соответствует скрытой действительности. Мы можем теперь сказать, что это – символические фантазии о коитусе, и ни в коем случае нельзя считать второстепенным то, что отец в них принимает участие: «Я бы хотел делать с мамой что-то запретное, не знаю, что именно, но знаю, что ты это тоже делаешь».

Фантазия о жирафах усилила во мне убеждение, которое возникло при словах маленького Ганса «лошадь придет в комнату», и я нашел этот момент подходящим, чтобы сообщить ему существенно важную предпосылку в его бессознательных побуждениях; его страх перед отцом вследствие ревнивых и враждебных желаний по отношению к нему. Этим я отчасти истолковал ему страх перед лошадьми, а именно, что лошадь – это отец, перед которым он испытывает страх с достаточным основанием. Известные подробности, как страх перед чем-то черным у рта и у глаз (усы и очки как преимущества взрослого), казались мне перенесенными на лошадей с отца.

Подобным разъяснением я устранил у Ганса самое существенное сопротивление по отношению к обнаружению бессознательных мыслей, так как отец сам исполнял роль врача. С этого времени мы перешагнули через высшую точку болезни, материал начал притекать в изобилии, маленький пациент обнаруживал мужество сообщать отдельные подробности своей фобии и вскоре самостоятельно принял участие в ходе анализа89.

Теперь только можно понять, перед какими объектами и впечатлениями Ганс испытывает страх. Не только перед лошадьми и перед тем, что его укусит лошадь (этот страх скоро утихает), а перед экипажами, мебельными фургонами и омнибусами, общим для которых оказывается их тяжелый груз, перед лошадьми, которые приходят в движение, которые выглядят большими и тяжелыми, которые быстро бегут. Смысл этих определений указывает сам Ганс: он испытывает страх, что лошади упадут, и содержанием его фобии он делает все то, что может облегчить лошади это падение.

Весьма нередко приходится услышать настоящее содержание фобии, правильное словесное определение навязчивого импульса и т. п. только после ряда психоаналитических усилий. Вытеснение касается не только бессознательных комплексов, оно направлено также на непрерывно образующиеся дериваты их и мешает самим больным заметить продукты их

болезни. Тут часто оказываешься в необыкновенном положении, когда в качестве врача приходится прийти на помощь болезни, чтобы вызвать к ней внимание. Но только тот, кто совершенно не разбирается в сущности психоанализа, будет выставлять на первый план эту фазу усилий и ждать из-за этого от анализа вреда. Истина в том, что нюрнбержцы никого не вешают раньше, чем не заполучат его в свои руки, и что требуется известная работа, чтобы овладеть теми болезненными образованиями, которые хочешь разрушить.

В своих замечаниях, сопровождающих историю болезни, я упомянул уже о том, что весьма поучительно настолько углубиться в детали фобии, чтобы можно было вынести верное впечатление о вторично появившемся соотношении между страхом и его объектами. Отсюда происходит своеобразная расплывчатость и в то же время строгая обусловленность сущности фобии. Материал для этих вторичных образований наш маленький пациент, очевидно, получил из впечатлений, связанных с расположением жилья напротив таможни. По этой причине он высказывает заторможенное страхом побуждение играть, подобно мальчикам на улице, вокруг нагруженных возов, багажа, бочек и ящиков.

В этой стадии анализа он сталкивается опять с довольно безобидным переживанием, которое непосредственно предшествовало началу заболевания и которое можно считать поводом для него. Во время прогулки с матерью он видел, как впряженная в омнибус лошадь упала и задергала ногами. Это произвело на него большое впечатление. Он сильно испугался и думал, что лошадь скончалась; с этого времени все лошади могут упасть. Отец указывает Гансу на то, что, когда лошадь упала, тот думал об отце и, вероятно, чтобы отец также упал и умер. Ганс не протестует против этого толкования; несколько позже он принимает его, изображая в игре, что он кусает отца. При этом он идентифицирует отца с лошадью и теперь уже держится по отношению к отцу свободно, без страха и даже несколько дерзко. Но страх перед лошадьми не исчез, и еще не ясно, вследствие каких ассоциаций падающая лошадь пробудила бессознательные желания.

Резюмируем все, что получили до сих пор: за высказанным страхом, что лошадь укусит его, открывается более глубоко лежащий страх, что лошади упадут; и обе лошади, кусающая и падающая, – это отец, который его накажет за его дурные желания. Матери в этом анализе мы пока не касались.

Совершенно неожиданно и уже, наверно, без участия отца Ганса начинает занимать «комплекс Lumpf'a», и он обнаруживает отвращение к предметам, которые напоминают ему действие кишечника. Отец, который здесь идет за Гансом довольно неохотно, проводит, между прочим, свой анализ в желательном для него направлении и напоминает Гансу одно переживание в Гмундене, впечатление от которого скрывается за падающей лошадью. Его любимый приятель и, быть может, конкурент у его приятельниц Фриц во время игры в лошадки споткнулся о камень, упал, а из раненой ноги у него пошла кровь. Переживание с упавшей лошадью в омнибусе вызвало воспоминание об этом несчастном случае. Любопытно, что Ганс, который в это время был занят другими вещами, сначала отрицает падение Фрица (которое устанавливает связь) и признает его только в более поздней стадии анализа. Но для нас очень интересно отметить, каким образом превращение либидо в страх проецируется на главный объект фобии – лошадь. Лошади были для Ганса самыми интересными большими животными, игра в лошадки – самой любимой игрой с его товарищами-детьми. Предположение, что сначала отец изображал для него лошадь, подтверждается отцом, и, таким образом, при несчастном случае в Гмундене Фриц мог быть замещен отцом. После наступившей волны вытеснения он должен был уже испытывать страх перед лошадьми, с которыми до этого у него было связано столько удовольствий.

Но мы уже сказали, что этим последним важным разъяснением о действительности повода болезни мы обязаны вмешательству отца. Ганс остается при своих фекальных интересах, и мы в конце концов должны за ним следовать. Мы узнаем, что он уже обыкновенно навязывался матери с просьбой сопровождать ее в клозет и что он то же предлагал заместительнице матери – своей приятельнице Берте, пока это не стало известным и не было запрещено. Удовольствие, испытываемое при наблюдении за известными

операциями у любимого лица, соответствует также «скрещению влечения», пример которого мы уже заметили у Ганса. Наконец, и отец идет на эту фекальную символику и признает аналогию между тяжело нагруженным возом и обремененным каловыми массами животом, между тем, как выезжает из ворот воз, и тем, как выделяется кал из живота и т. п.

Но позиция Ганса в анализе сравнительно с прежними стадиями существенно изменилась. В то время как раньше отец мог всегда сказать ему наперед, что будет потом, и Ганс, следуя указаниям, плелся за ним, теперь, наоборот, Ганс уверенно спешит вперед, и отец должен прилагать усилия, чтобы поспевать за ним. Ганс, как бы самостоятельно, приводит новую фантазию: слесарь или водопроводчик отвинтил ванну, в которой находился Ганс, и своим большим буравом толкнул его в живот. С этого момента уже наше понимание с трудом поспевает за материалом. Только позже нам удается догадаться, что это есть искаженная страхом переработка фантазии оплодотворения. Большая ванна, в которой Ганс сидит в воде, это живот матери; «бурав», который уже отцу напомнил большой пенис, упоминается как способ оплодотворения. Конечно, это звучит довольно курьезно, если мы истолкуем фантазию так: «Твоим большим пенисом ты меня „пробуравил»? (gebohrt) (привел к появлению на свет – zur Geburt gebracht) и всадил меня в чрево матери». Но пока фантазия остается неистолкованной и служит Гансу только связью для продолжения его сообщений.

Перед купанием в большой ванне Ганс выказывает страх, который тоже оказывается сложным. Одна часть его пока еще ускользает от нас, другая вскоре выясняется отношением его к купанию маленькой сестры. Ганс соглашается с тем, что у него есть желание, чтобы мать во время купания сестренки уронила ее и чтобы та умерла; его собственный страх при купании был страхом перед возмездием за это злое желание, перед наказанием, которое будет состоять в том, что так и с ним поступят. Тут он оставляет тему экскрементов и непосредственно переходит к теме сестренки. Но мы можем подозревать, что означает этот переход: ничего другого, как то, что маленькая Анна сама Lumpf, что все дети Lumpf'u и рождаются наподобие дефекации. Теперь мы понимаем, что все виды возов суть только возы для аистиных ящиков и представляют для него интерес только как символическое замещение беременности и что падение ломовой или тяжело нагруженной лошади может означать только разрешение от беременности. Таким образом, падающая лошадь означала не только умирающего отца, но также и рожающую мать.

И тут Ганс преподносит сюрприз, к которому мы на самом деле не были подготовлены. Уже когда ему было 3'/2 года, он обратил внимание на беременность матери, закончившуюся рождением сестренки, и он сконструировал для себя – во всяком случае после родов – истинное положение вещей, никому не открывая этого и, быть может, не будучи в состоянии сделать это. Тогда можно было только наблюдать, что непосредственно после родов он скептически относился ко всем признакам, которые должны были указывать на присутствие аиста. Но то, что он в бессознательном и в противоположность своим официальным заявлениям знал, откуда пришло дитя и где оно раньше находилось, подтверждается этим анализом вне всякого сомнения; быть может, это даже самая неопровержимая часть анализа.

Доказательством этому служит упорно держащаяся и украшенная столькими деталями фантазия, из которой видно, что Анна уже летом, до ее рождения, находилась с ними в Гмундене, в которой излагается, как она туда переезжала и что она тогда была способна к большему, чем через год после ее рождения. Дерзость, с которой Ганс преподносит эту фантазию, бесчисленные лживые вымыслы, которые он в нее вплетает, не совсем лишены смысла; все это должно служить местью отцу, на которого он сердится за то, что тот вводил его в заблуждение сказкой об аисте. Как будто он хотел сказать: если ты мог меня считать столь глупым, чтобы я поверил в аиста, который принес Анну, тогда я могу и от тебя требовать, чтобы ты мои выдумки принял за истину. В довольно прозрачном соотношении с этим актом мести маленького исследователя находится фантазия о том, как он дразнит и бьет лошадей. И эта фантазия тоже связана с двух сторон: с одной – она опирается на дерзости, которые он только что говорил отцу, а с другой стороны – она вновь обнаруживает неясные

садистские желания по отношению к матери, которые вначале, когда мы еще их не понимали, проявлялись в фантазиях о преступных поступках. Он и сознательно признает весьма приятным бить маму.

Теперь нам уже нечего ожидать многих загадок. Неясная фантазия об опоздании поезда кажется предшественницей последующего помещения отца у бабушки в Лайнце, так как в этой фантазии дело идет о путешествии в Лайнц и бабушка участвует в ней. Другая фантазия, в которой мальчик дает кондуктору 50000 гульд., чтобы тот позволил ему ехать на дрезине, звучит почти как план откупить мать у отца, сила которого отчасти в его богатстве. Затем он признается в желании устранить отца и соглашается с обоснованием этого желания (потому что отец мешает его интимности к матери) с такой откровенностью, до какой он до сих пор еще не доходил. Мы не должны удивляться, что одни и те же побуждения во время анализа всплывают по нескольку раз; дело в том что монотонность вытекает только из приемов толкования; для Ганса это не простые повторения, а прогрессирующее развитие от скромного намека до сознательной ясности, свободной от всяких искажений.

Все, что последует теперь, это только исходящие от Ганса подтверждения фактов, несомненных благодаря анализу для нашего толкования. В довольно недвусмысленных симптоматических поступках, которые он слегка прикрывает перед прислугой, а не перед – отцом, он показывает, как он себе представляет деторождение; но при более внимательном наблюдении мы можем отметить еще кое-что, в анализе больше не появившееся. Он втыкает в круглое отверстие резиновой куклы маленький ножичек, принадлежащий матери, и затем дает ему выпасть оттуда, причем он отрывает ноги кукле, раздвигая их в стороны. Последовавшее за этим разъяснение родителей, что дети действительно вырастают в чреве матери и выходят оттуда, как каловые массы при испражнении, оказывается запоздавшим; оно ему уже ничего нового сказать не может. При помощи другого как бы случайно последовавшего симптоматического поступка он допускает, что желал смерти отца: он опрокидывает лошадь, с которой играл, в тот момент, когда отец говорит об этом желании смерти. На словах он подтверждает, что тяжело нагруженные возы представляют для него беременность матери, а падение лошади – процесс родов.

Великолепное подтверждение того, что дети – Lumpf'ы, мы видим в придуманном им для его любимого ребенка имени Lodi. Но оно становится нам известным несколько позже, так как мы узнаем, что он давно играет с этим «колбасным» ребенком90.

Обе заключительные фантазии Ганса, с которыми закончилось его излечение, мы отметили уже раньше. Одна о водопроводчике, который ему приделывает новый и, как угадывает отец, больший Wiwimacher, является не только повторением прежней фантазии, в которой фигурировали водопроводчик и ванна. Это – победная фантазия, содержащая желание и победу над страхом перед кастрацией.

Вторая фантазия, подтверждающая желание быть женатым на матери и иметь с ней много детей, не исчерпывает одного только содержания тех бессознательных комплексов, которые пробудились при виде падающей лошади и вызвали вспышку страха. Цель ее в коррекции всего того, что было совершенно неприемлемо в тех мыслях; вместо того, чтобы умертвить отца, он делает его безвредным женитьбой на бабушке. С этой фантазией вполне справедливо заканчиваются болезнь и анализ.

Во время анализа определенного случая болезни нельзя получить наглядного впечатления о структуре и развитии невроза. Это дело синтетической работы, которую нужно предпринимать потом. Если мы произведем этот синтез для фобии нашего маленького Ганса, то мы начнем с его конституции, с его направляющих сексуальных желаний и его переживаний до рождения сестры, о чем мы говорили на первых страницах этой статьи.

Появление на свет этой сестры принесло для него много такого, что с этого момента больше не оставляло его в покое. Прежде всего некоторая доля лишения: вначале временная разлука с матерью, а позже длительное уменьшение ее заботливости и внимания, которые он должен был делить с сестрой. Во-вторых, все то, что на его глазах мать проделывала с его сестричкой, пробудило в нем вновь его переживания, связанные с чувством наслаждения, из

того периода, когда он был грудным младенцем. Оба эти влияния усилили в нем его эротические потребности, вследствие чего он начал чувствовать необходимость удовлетворения. Ущерб, который ему принесла сестра, он компенсировал себе фантазией, что у него самого есть дети. Пока он в Гмундене на самом деле мог играть с этими детьми, его нежность находила себе достаточное отвлечение. Но по возвращении в Вену, опять одинокий, он направил все свои требования на мать и претерпел опять лишение, когда его в возрасте 4 лет удалили из спальни родителей. Его повышенная эротическая возбудимость обнаружилась в фантазиях, в которых вызывались, чтобы разделить его одиночество, его летние товарищи, и в регулярных аутоэротических удовлетворениях при помощи мастурбационного раздражения полового органа.

В-третьих, рождение его сестры дало толчок для мыслительной работы, которой, с одной стороны, нельзя было разрушить, и которая, с другой стороны, впутывала его в конфликты чувств.

Перед ним предстала большая загадка, откуда появляются дети, – быть может, первая проблема, разрешение которой начинает пробуждать духовные силы ребенка и которая в измененном виде воспроизведена, вероятно, в загадке фиванского сфинкса. Предложенное Гансу объяснение, что аист принес Анну, он отклонил. Все-таки он заметил, что у матери за несколько месяцев до рождения девочки сделался большой живот, что она потом лежала в постели, во время рождения девочки стонала и затем встала похудевшей. Таким образом, он пришел к заключению, что Анна находилась в животе матери и затем вылезла из него, как Lumpf. Этот процесс в его представлении был связан с удовольствием, так как он опирался на прежние собственные ощущения удовольствия при акте дефекации, и поэтому с удвоенной мотивировкой мог желать иметь детей, чтобы их с удовольствием рожать, а потом (наряду с удовольствием от компенсации) ухаживать за ними. Во всем этом не было ничего, что могло его привести к сомнению или к конфликту.

Но тут было еще кое-что, нарушавшее его покой. Что-то должен был делать и отец при рождении маленькой Анны, так как тот утверждал, что как Анна, так и он – его дети. Но ведь это не отец принес их на свет, а мама. Этот отец стоял у него поперек дороги к маме. В присутствии отца он не мог спать у матери, а когда мать хотела брать Ганса в постель, отец подымал крик. Гансу пришлось испытать, как это хорошо, когда отец находится в отсутствии, и желание устранить отца было у него вполне оправдываемым. Затем эта враждебность получила подкрепление. Отец сказал ему неправду про аиста и этим сделал для него невозможным просить разъяснения по поводу этих вещей. Он не только мешал ему лежать у мамы в постели, а скрывал от него знание, к которому Ганс стремился. Отец наносил ему ущерб в обоих направлениях, и все это, очевидно, к своей выгоде.

Первый, сначала неразрешимый душевный конфликт создало то обстоятельство, что того же самого отца, которого он должен был ненавидеть как конкурента, он раньше любил и должен был любить дальше, потому что тот для него был первым образом, товарищем, а в первые годы и нянькой. С развитием Ганса любовь должна была одержать верх и подавить ненависть в то самое время, когда эта ненависть поддерживалась любовью к матери.

Но отец не только знал, откуда приходят дети, он сам в этом принимал участие, что Ганс не совсем ясно мог предполагать. Что-то здесь должен был делать Wiwimacher, возбуждение которого сопровождало все эти мысли, и, вероятно, большой Wiwimacher, больший, чем Ганс находил у себя. Если следовать ощущениям, которые тут появлялись, то здесь должно было иметь место насилие над мамой, разбивание, открывание, внедрение в закрытое пространство, импульсы, которые Ганс чувствовал и в себе. Но хотя он находился уже на пути, чтобы на основании своих ощущений в пенисе постулировать влагалище, он все-таки не мог разрешить этой загадки, так как у него не было соответствующих знаний. И наоборот, разрешению препятствовала уверенность в том, что у мамы такой же Wiwimacher, как и у него. Попытка решения вопроса о том, что нужно было предпринять с матерью, чтобы у нее появились дети, затерялась в области бессознательного. И без применения остались оба активных импульса – враждебный против отца и садистско-любовный по

отношению к матери: первый вследствие существующей наряду с ненавистью любви, второй – вследствие беспомощности, вытекающей из инфантильности сексуальных теорий.

Только в таком виде, опираясь на результаты анализа, я мог сконструировать бессознательные комплексы и стремления, вытеснение и новое пробуждение которых вызвало у маленького Ганса фобию. Я знаю, что тут возлагаются слишком большие надежды на мыслительные способности мальчика в возрасте 4–5 лет, но я руководствуюсь только тем, что мы узнали, и не поддаюсь влиянию предвзятостей, вытекающих из нашего познания. Быть может, можно было использовать страх перед топанием ногами лошади, чтобы восполнить несколько пробелов в нашем процессе толкования. Даже сам Ганс говорил, что это напоминает ему его топание ногами, когда его заставляют прервать игру, чтобы пойти в клозет; таким образом, этот элемент невроза становится в связь с проблемой, охотно или с принуждением получает мама детей. Но у меня не складывается впечатления, что этим вполне разъясняется значение комплекса «шума от топания ногами». Моего предположения, что у Ганса пробудилось воспоминание о половом сношении родителей, замеченном им в спальне, отец подтвердить не мог. Итак, удовлетворимся тем, что мы узнали.

Благодаря какому влиянию в описанной ситуации появилось у Ганса превращение либидозного желания в страх, с какого конца имело место вытеснение – сказать трудно, и это можно решить только после сравнения со многими подобными анализами. Вызвала ли вспышку интеллектуальная неспособность ребенка разрешить трудную загадку деторождения и использовать развившиеся при приближении к разрешению агрессивные импульсы, или же соматическая недостаточность, невыносливость его конституции к регулярному мастурбационному удовлетворению, или самая продолжительность сексуального возбуждения в столь высокой интенсивности должна была повести к перевороту, – все это я оставляю под вопросом, пока дальнейший опыт не придет нам на помощь.

Приписать случайному поводу слишком большое влияние на появление заболевания запрещают временные условия, так как намеки на страх наблюдались у Ганса задолго до того, как он присутствовал на улице при падении лошади.

Но во всяком случае невроз непосредственно опирается на это случайное переживание и сохраняет следы его, возводя лошадь в объект страха. Само по себе это впечатление не имеет «травматической силы»; только прежнее значение лошади, как предмета особой любви и интереса, и ассоциация с более подходящим для травматической роли переживанием в Гмундене, когда во время игры в лошадки упал Фриц, а затем уже легкий путь ассоциации от Фрица к отцу придали этому случайно наблюдавшемуся несчастному случаю столь большую действенную силу. Да, вероятно, и этих отношений оказалось бы мало, если бы, благодаря гибкости и многосторонности ассоциативных связей, то же впечатление не оказалось способным затронуть другой комплекс, затаившийся у Ганса в сфере бессознательного, – роды беременной матери. С этого времени был открыт путь к возвращению вытесненного, и по этому пути патогенный материал был переработан (транспонирован) в комплекс лошади и всесопутствующие аффекты оказались превращенными в страх.

Весьма интересно, что идейному содержанию фобии пришлось еще подвергнуться искажению и замещению прежде, чем оно дошло до сознания. Первая формулировка страха, высказанная Гансом: «Лошадь укусит меня»; она обусловлена другой сценой в Гмундене, которая, с одной стороны, имеет отношение к враждебным желаниям, направленным на отца, с другой – напоминает предостережение по поводу онанизма. Здесь проявилось также отвлекающее влияние, которое, вероятно, исходило от родителей; я не уверен, что сообщения о Гансе тогда записывались достаточно тщательно, чтобы решиться сказать, дал ли он эту формулировку для своего страха до или только после предупреждения матери по поводу мастурбации. В противоположность приведенной истории болезни я склонен предположить последнее. В остальном довольно ясно, что враждебный комплекс по отношению к отцу повсюду скрывает похотливый комплекс по отношению к матери; точно так же, как и в анализе, он первым открывается и разрешается.

В других случаях болезни нашлось бы больше данных, чтобы говорить о структуре невроза, его развитии и распространении, но история болезни нашего маленького Ганса слишком коротка: она вскоре же после начала сменяется историей лечения. Когда фобия в продолжение лечения казалась дальше развивающейся, привлекала к себе новые объекты и новые условия, то лечивший Ганса отец оказывался, конечно, достаточно благоразумным, чтобы видеть в этом только проявление уже готовой, а не новой продукции, появление которой могло бы затормозить лечение. На такое благоразумное лечение в других случаях не всегда можно рассчитывать.

Прежде чем я объявлю этот синтез законченным, я должен принять в расчет еще другую точку зрения, встав на которую, мы окажемся перед определенными затруднениями в понимании невротических состояний. Мы видим, как нашего маленького пациента охватывает волна вытеснения, которое касается преимущественно его преобладающих сексуальных компонентов91. Он признается в онанизме, с отвращеним отвергает от себя все то, что напоминает экскременты и операции, связанные с действием кишечника. Но это не те компоненты, которые затронуты поводом к заболеванию (падение лошади) и которые продуцируют материал для симптомов, содержания фобии.

Таким образом, здесь есть повод установить принципиальное различие. Вероятно, можно достигнуть более глубокого понимания случая болезни, если обратиться к тем другим компонентам, которые удовлетворяют обоим вышеприведенным условиям. У Ганса это – стремления, которые уже раньше были подавлены и которые, насколько мы знаем, никогда не могли проявиться свободно: враждебно-ревнивые чувства к отцу и садистские, соответствующие предчувствию коитуса, влечения к матери. В этих ранних торможениях лежит, быть может, предрасположение для появившейся позднее болезни. Эти агрессивные склонности не нашли у Ганса никакого выхода, и как только они в период лишения и повышенного сексуального возбуждения, получив поддержку, собирались проявиться наружу, вспыхнула борьба, которую мы называем «фобией». В период ее развития проникает в сознание, как содержание фобии, часть вытесненных представлений, искаженных и перенесенных на другой комплекс; но несомненно, что это жалкий успех. Победа остается за вытеснением, которое в этом случае захватывает и другие компоненты. Но это не меняет того, что сущность болезненного состояния остается безусловно связанной с природой компонентов влечения, подлежащих удалению. Цель и содержание фобии – это далеко идущее ограничение свободы движения и, таким образом, мощная реакция против неясных двигательных импульсов, которые особенно склонны быть направленными на мать. Лошадь для нашего мальчика всегда была образцом для удовольствия от движения («Я молодая лошадь», – говорит Ганс во время возни), но так как удовольствие от движения заключает в себе импульс коитуса, то это удовольствие невроз ограничивает, а лошадь возводится в символ ужаса. Кажется, что вытесненным влечениям в неврозе ничего больше не остается, кроме чести доставлять в сознание поводы для страха. Но как бы победа сексуального отклонения в фобии ни была отчетливо выраженной, все-таки компромиссная природа болезни не допускает, чтобы вытесненное не могло достичь ничего другого. Фобия лошади – все-таки препятствие выйти на улицу и может служить средством остаться дома у любимой матери. Здесь победила его нежность к матери: любящий цепляется вследствие своей фобии за любимый объект, но он, конечно, заботится и о том, чтобы не оказаться в опасности. В этих обоих влияниях обнаруживается настоящая природа невротического заболевания.

Недавно А. Адлер в богатой идеями работе, из которой я взял термин «скрещение влечения», написал, что страх происходит от подавления «агрессивного влечения», и в обширном синтезе он приписал этому влечению главную роль «в жизни и в неврозе». Если бы мы в конце концов были склонны признать, что в нашем случае фобии страх объясняется вытеснением тех агрессивных склонностей, то мы имели бы блестящее подтверждение взглядов Адлера. И все-таки я с этим не могу согласиться, так как это ведет к вносящим заблуждение обобщениям. Я не могу решиться признать особое агрессивное влечение наряду и на одинаковых правах с известными нам влечениями самосохранения и сексуальным. Мне

кажется, что Адлер неправильно считает за особенное влечение общий и непременный характер всякого влечения и именно то «влекущее», побуждающее, что мы могли бы описать как способность давать толчок двигательной сфере. Из всех влечений не осталось бы ничего, кроме отношения к цели, после того как мы отняли бы от них отношение к средствам для достижения этой цели, «агрессивное влечение». Несмотря на всю сомнительность и неясность нашего учения о влечениях, я все-таки пока держался бы привычных воззрений, которые признают за каждым влечением свою собственную возможность сделаться агрессивным и без того, чтобы быть направленным на объект. И в обоих влечениях, достигших вытеснения у Ганса, я признал бы давно известные компоненты сексуального либидо.

III

Прежде чем я приступлю к своим кратким замечаниям по поводу того, что можно извлечь ценного из фобии маленького Ганса для жизни и воспитания детей, я должен ответить на возражение, что Ганс – невротик, отягченный наследственностью дегенерат и ненормальный ребенок по сравнению с другими детьми. Мне уже заранее досадно думать, как сторонники существования «нормального человека» будут третировать нашего бедного маленького Ганса после того, как узнают, что у него действительно можно отметить наследственное отягощение.

Я в свое время пришел на помощь его матери, которая в своем конфликте девичьего периода заболела неврозом, и это даже было началом моих отношений с его родителями. Но я позволю себе лишь с большой робостью привести кое-что в его защиту.

Прежде всего Ганс совсем не то, что после строгого наблюдения можно было бы назвать дегенеративным, наследственно обреченным на нервозность ребенком. Наоборот, это скорее физически хорошо развитый, веселый, любезный, с живым умом мальчишка, который может вызвать радость не только у отца. Конечно, не подлежит сомнению его раннее половое развитие, но для правильного суждения у нас нет достаточного сравнительного материала. Так, например, из одного массового исследования, произведенного в Америке, я мог видеть, что подобные же ранний выбор объекта и любовные ощущения у мальчиков вовсе не так редки; а так как то же известно и из истории детства «великих» людей, то я склонен был думать, что раннее сексуальное развитие является редко отсутствующим коррелятом интеллектуального развития, и поэтому оно встречается чаще у одаренных детей, чем это можно было ожидать.

Открыто сознаваясь в моем неравнодушии к маленькому Гансу, я должен заявить, что он не единственный ребенок, который в периоде детства был одержим фобиями. Известно, что эти заболевания необыкновенно часты, и даже у таких детей, воспитание которых по строгости не оставляет желать ничего большего. Такие дети позже или делаются невротиками, или остаются здоровыми. Их фобии заглушаются в детской, потому что для лечения они недоступны и, наверно, весьма неудобны. В течение месяцев или лет эти фобии ослабевают и кажутся излеченными; какие психические изменения обусловливает подобное излечение, какие связаны с ними изменения характера, об этом никто не знает. И когда приступаешь к психоанализу взрослого невротика, у которого болезнь, предположим, обнаружилась только в годы зрелости, то каждый раз узнаешь, что его невроз связан с таким детским страхом и представляет только продолжение его и что непрерывная и в то же время ничем не стесненная психическая работа, начинаясь с детских конфликтов, продолжается и дальше в жизни независимо от того, отличался ли первый симптом постоянством или под давлением обстоятельств исчезал. Таким образом, я думаю, что наш Ганс был болен не сильнее, чем столь многие другие дети, которые не носят клички дегенератов; но так как его воспитывали возможно бережнее, без строгостей и с возможно малым принуждением, то и его страх проявился более открыто. У этого страха не было мотивов нечистой совести и страха перед наказанием, которые, наверное, обыкновенно оказывают влияние на

уменьшение его. Я склонен думать, что мы обращаем слишком много внимания на симптомы и мало заботимся о том, откуда они происходят. Ведь в деле воспитания детей мы ничего больше не желаем, как покоя, не желаем переживать никаких трудностей, короче говоря, мы культивируем послушного ребенка и слишком мало обращаем внимания, полезен ли для него такой ход развития. Итак, я могу предположить, что продуцирование фобии Гансом было для него целительным, потому что: 1) оно направило внимание родителей на неизбежные трудности, которые ребенку при современном культурном воспитании приносит преодоление прирожденных компонентов влечения, 2) потому что его болезнь повлекла за собой помощь со стороны отца. Быть может, у него даже есть то преимущество перед другими детьми, что он больше не носит в себе того ядра вытесненных комплексов, которое для будущей жизни всякий раз должно иметь какое-нибудь значение. Оно (ядро), наверно, приводит в известной мере к неправильностям в развитии характера, если не к предрасположению к будущему неврозу. Я склонен так думать, но я не знаю, разделят ли мое мнение и другие, подтвердит ли все это опыт.

Но должен спросить, чем повредили Гансу выведенные на свет комплексы, которые не только вытесняются детьми, но которых боятся и родители? Разве мальчик начал серьезно относиться к своим претензиям на мать или место дурных намерений по отношению к отцу заняли поступки? Этого, наверно, боялись бы все те, которые не могут оценить сущность психоанализа и думают, что можно усилить дурные побуждения, если сделать их сознательными. Эти мудрецы только тогда поступают последовательно, когда они всячески убеждают не заниматься всеми теми дурными вещами, которые кроются за неврозом. Во всяком случае они при этом забывают, что они врачи, и у них обнаруживается фатальное сходство с шекспировским Кизилом в «Много шуму из ничего», который тоже дает страже совет держаться подальше от всякого общения с попавшимися ворами и разбойниками. Подобный сброд вовсе не компания для честных людей!

Наоборот, единственные последствия анализа – это то, что Ганс выздоравливает, не боится больше лошадей и начинает относиться к отцу непринужденнее, о чем последний сообщает с усмешкой. Но все, что отец теряет в уважении, он выигрывает в доверии. «Я думал, что ты знаешь все, потому что ты знал это о лошади». Благодаря анализу успешность в вытеснении не уменьшается, влечения, которые были в свое время подавлены, остаются подавленными. Но успех приходит другим путем, так как анализ замещает автоматический и экспрессивный процесс вытеснения планомерной и целесообразной переработкой при помощи высших духовных инстанций. Одним словом, он замещает вытеснение осуждением. Нам кажется, что анализ дает давно ожидаемое доказательство того, что сознание носит биологическую функцию, и его участие приносит значительную выгоду.

Если бы я мог сам все устроить по-своему, я решился бы дать мальчику еще одно разъяснение, которого родители не сделали. Я подтвердил бы его настойчивые предчувствия, рассказав ему о существовании влагалища и коитуса, и таким образом еще больше уменьшил бы неразрешенный остаток и положил бы конец его стремлению к задаванию вопросов. Я убежден, что вследствие этих разъяснений не пострадала бы ни его любовь к матери, ни его детский характер, и он понял бы, что с занятиями этими важными, даже импозантными вопросами нужно подождать, пока не исполнится его желание стать большим. Но педагогический эксперимент не зашел так далеко.

Что между «нервными» и «нормальными» детьми и взрослыми нельзя провести резкой границы, что болезнь – это чисто практическое суммарное понятие, что предрасположение и переживание должны встретиться, чтобы переступить порог достижения этой суммации, что вследствие этого то и дело многие индивидуумы переходят из класса здоровых в разряд нервнобольных, – все это вещи, о которых уже столько людей говорило и столько поддерживало, что я со своими утверждениями, наверное, окажусь не одиноким. Что воспитание ребенка может оказать мощное влияние в пользу или во вред предрасположению к болезни при этом процессе суммации, считается по меньшей мере весьма вероятным. Но чего надо добиваться при воспитании и где надо в него вмешаться, до сих пор остается под

вопросом.

До сих пор воспитание всегда ставило себе задачей обуздывание или правильное подавление влечений; успех получался далеко не удовлетворительный, а там, где он имелся, то – к выгоде небольшого числа людей, для которых такого подавления и не требовалось. Никто также не спрашивал себя, каким путем и с какими жертвами достигается подавление неудобных влечений. Но попробуем эту задачу заменить другой, а именно – сделать индивидуума при наименьших потерях в его активности пригодным для культурной социальной жизни. Тогда нужно принять во внимание все разъяснения, полученные от психоанализа, по поводу происхождения патогенных комплексов и ядра всякой нервозности, и воспитатель найдет уже в этом неоценимые указания, как держать себя по отношению к ребенку. Какие практические выводы можно отсюда извлечь и насколько наш опыт может оправдать проведение этих выводов в нашу жизнь при современных социальных отношениях, я предоставляю другим для испытания и разрешения.

Я не могу расстаться с фобией нашего маленького пациента, не высказав предположения, которое делает для меня особенно ценным этот анализ, приведший к излечению. Строго говоря, из этого анализа я не узнал ничего нового, ничего такого, чего я уже раньше, быть может, в менее отчетливой и непосредственной форме не мог угадать у других взрослых. Неврозы этих других больных каждый раз можно бы свести к таким же инфантильным комплексам, которые открывались за фобией Ганса. Поэтому я считал бы возможным считать этот детский невроз типичным и образцовым, как если бы ничто не мешало приписывать разнообразие невротических явлений вытеснения и богатство патогенного материала происхождению от очень немногих процессов с одними и теми же комплексами представлений.

1909

Страх92

I

При описании патологических феноменов используются слова «симптом» и «торможение» (Hemmung), однако, большого значения этому различию не придается. Если бы нам не встречались случаи заболеваний, о которых надо сказать, что в них наблюдается только торможение, но нет симптомов, и если бы мы не пожелали узнать, чем это обусловлено, то нам вряд ли надо было бы разграничивать понятия «торможение» и «симптом».

Оба эти явления выросли не на одной и той же почве. Торможение имеет особое отношение к функции и вовсе не означает нечто безусловно патологическое. И нормальное ограничение функции можно назвать торможением ее. Напротив, симптом имеет значение признака болезненного процесса. И торможение, таким образом, может быть симптомом. В таком случае говорят о торможении, имея в виду простое понижение функции, и о симптоме, когда речь идет о необычном изменении функции или о новом действии, не соответствующем нормальному. Во многих случаях кажется совершенно произвольным обозначение положительной или отрицательной стороны патологического процесса, подчеркивание его результата как симптома или как торможения. Все это в действительности вовсе не интересно, и постановка вопроса, из которой мы исходили, оказывается малоплодотворной.

Поскольку торможение по существу своему так тесно связано с функцией, то может возникнуть мысль подвергнуть рассмотрению различные функции эго для того, чтобы установить, в каких формах проявляются их нарушения при отдельных невротических заболеваниях. Для такого сравнительного исследования мы избираем сексуальную функцию,

еду, двигательную деятельность и профессиональную работу.

a) Сексуальная функция подвержена очень разнообразным нарушениям, большинство которых носит характер простых торможений. Их можно объединить в понятии психической импотенции.

Выполнение нормальной сексуальной функции предполагает очень сложный процесс, нарушение которого возможно в любом месте. Главные проявления торможения у мужчин: отход либидо, необходимого для начала процесса (психическое неудовольствие), отсутствие психической готовности (отсутствие эрекции), сокращение акта (Ejaculatio praecox, которое может также быть описано как положительный симптом), прекращение акта до естественного конца (отсутствие ejaculatio), отсутствие психического эффекта (ощущения наслаждения, оргазма). Другие нарушения возникают вследствие связи, установившейся между функцией и особыми условиями, извращенными или фетишистскими по своей природе.

Мы не можем дальше скрывать от себя известное отношение торможения к тревоге. Некоторые торможения представляют собой очевидный отказ от функции, так как при выполнении ее могла бы возникнуть тревога. Непосредственная тревога перед сексуальной функцией часто встречается у женщины. Мы ее относим к явлениям истерии, так же как и защитный симптом отвращения, появляющийся первоначально как реакция на пассивно пережитый сексуальный акт, а позже – при возникновении представления о нем. Большое число навязчивых действий оказывается также мерами предосторожности и предупреждения сексуальных переживаний, являясь, таким образом, также фобическими по своей природе.

Но все это не способствует пониманию. Можно только заметить, что применяются самые различные способы для того, чтобы нарушить функцию: 1) простой отход либидо, который скорее всего дает картину, названную нами чистым торможением; 2) ухудшение в выполнении функции; 3) затруднение функции из-за особых условий ее выполнения и модификация путем отклонения ее на другие цели; 4) предупреждение выполнения функции благодаря мерам предосторожности;

5) прекращение функции вследствие тревоги, если начало функции не удается предупредить; наконец 6) последующая реакция, протеста и стремление взять обратно совершенное, если функция все же была выполнена.

b) Самое частое нарушение функции питания – это отвращение к пище вследствие отхода либидо. Нередко также бывает и усиление желания есть; навязчивое стремление к еде, мотивированное тревогой перед голодной смертью, мало исследовано. Истерическое отвращение к пище известно нам в виде симптома рвоты. Отказ от пищи под влиянием тревоги относится к психическим состояниям (бред отравления).

c) Функция движения тормозится при некоторых невротических состояниях вследствие нежелания ходить и слабости при хождении: истерические препятствия пользуются двигательными параличами моторного аппарата или создают специальное нарушение только данной его функции (абазия). Особенно характерно затруднение передвижения из-за требования определенных условий, при невыполнении которых наступает тревога (фобия).

d) Торможение работы, которое так часто становится как изолированный симптом предметом терапевтического воздействия, проявляется в понижении охоты к работе, или в плохом выполнении ее, или, наконец, как реактивное явление в форме усталости (головокружение, рвота), если обстоятельства вынуждают продолжить ее. Истерия приводит к прекращению работы вследствие паралича органа и функции, делающего выполнение работы невозможным. Невроз навязчивости нарушает работу беспрерывным отвлечением внимания и потерей времени, из-за остановок и повторений.

Этот обзор мы могли бы распространить на другие функции, но вряд ли этим мы достигнем большего. Мы все же оставались бы на поверхности явлений. Решимся поэтому на формулировку, которая максимально раскроет понятие торможения. Торможение является выражением ограничения функции эго, которое может иметь различные причины. Некоторые механизмы этого отказа от функции и общие тенденции нам хорошо известны.

В случаях специфического торможения эту тенденцию легче узнать. Если игра на рояле, писание или даже хождение подвергаются невротическому торможению, то анализ показывает, что причина этого явления в слишком сильной эротизации выполняющих эту функцию органов – пальцев и ног. В общем, мы поняли, что эго-функция органа терпит повреждение, если его эрогенность, его сексуальное значение увеличивается. Этот орган ведет себя в таком случае, если можно решиться на несколько рискованное сравнение, как кухарка, которая не хочет больше работать у плиты, потому что хозяин дома завязал с ней любовные отношения. Если писание, состоящее в том, что заставляет вытечь жидкость из трубочки на кусок белой бумаги, приобретает символическое значение коитуса, или если хождение становится символическим замещением топтания живота матери-земли, то одно и другое – писание и хождение – не выполняются потому, что воспринимаются как выполнение запрещенного сексуального действия. Эго отказывается от возможной для него функции, чтобы не быть снова вынужденным совершить вытеснение, чтобы избегнуть конфликта с ид.

Цель других торможений, очевидно, наложение наказания. Это нередко выражается в нарушениях профессиональной деятельности. Эго не должно этого делать потому, что это приносит ему пользу и успех – что запрещается строгим суперэго. В таком случае эго отказывается от этого действия, чтобы не вступить в конфликт с суперэго.

У более общих задержек эго механизм формирования другой. Если перед эго стоит психическая задача особой трудности, как например, необходимость побороть печаль, подавить сильные аффекты, отгонять постоянно возникающие сексуальные фантазии, то оно теряет так много энергии, что вынуждено ограничить свои усилия одновременно направленные и на многое другое, подобно спекулянту, который вложил деньги в свои предприятия и не располагает свободным капиталом. Я имел возможность наблюдать характерный пример такого интенсивного кратковременного общего торможения у одного больного, страдающего навязчивостью, который впадал в парализующую усталость, длившуюся один или несколько дней в тех случаях, которые должны были бы, несомненно, вызвать у него взрыв ярости. Исходя из этого, можно, вероятно, найти путь к пониманию общего торможения, которым отличаются постоянные депрессии и самая тяжелая из них – меланхолия.

Резюмируя можно сказать, что торможения представляют собой ограничения функции эго из осторожности или вследствие уменьшения энергии. Теперь легко видеть, чем торможение отличается от симптома. Симптом не может быть понимаем как процесс, происходящий в или над эго.

II

Основы симптомообразования давно исследованы и, будем надеяться, сформулированы безупречным образом. Симптом является признаком и заменой не имевшего места удовлетворения влечения, результатом процесса вытеснения. Вытеснение исходит из эго, которое иногда, по поручению суперэго, не допускает проявления влечения, возбужденного в ид. Посредством вытеснения эго достигает того, что представление, бывшее носителем неприемлемого душевного движения, не делается осознанным. Анализ часто показывает, что это представление сохранилось в виде бессознательного образования. До сих пор все ясно, но тут начинаются трудности, с которыми не удалось еще справиться.

В наших прежних описаниях процесса вытеснения старательно подчеркивалось как результат его отстранение от сознания, но в других пунктах оставалось место сомнению. Возникает вопрос, какова судьба активированного в ид влечения, стремящегося к удовлетворению? Ответ давался не прямой и гласил, что благодаря процессу вытеснения ожидаемое удовольствие от удовлетворения превращалось в неудовольствие. И тут вырастала проблема, каким образом в результате удовлетворения влечения может возникнуть неудовольствие. Мы надеемся объяснить такое положение вещей, сделав

определенное указание на то, что наметившееся в ид течение возбуждения вследствие вытеснения вообще не осуществляется. Эго удается его приостановить или отклонить. В таком случае отпадает загадка «превращения аффекта» при вытеснении. Этим мы сделали уступку эго в том смысле, что оно может оказывать столь сильное влияние на процессы в ид, и нам необходимо понять, каким образом открывается ему возможность этого неожиданного могущества.

Я полагаю, что это влияние эго приобретает благодаря своим тесным отношениям с системой восприятия, составляющим его сущность и ставшим причиной его дифференциации от ид. Функция этой системы, названной нами W – Bw, связана с феноменом сознания: эта система воспринимает возбуждения не только извне, но и изнутри, и при помощи ощущений «удовольствия – неудовольствия» (Lust – Unlust), которые оттуда до нее доходят, она старается направлять все течения, совершающиеся в психике по принципу удовольствия. Мы представляем себе эго беспомощным по отношению к ид, но когда эго восстает против какого-нибудь влечения в ид, то достаточно ему дать сигнал неудовольствия, чтобы достичь своей цели при помощи почти всемогущей инстанции принципа удовольствия. Если мы на минуту станем изолировано рассматривать эту ситуацию, то сможем иллюстрировать ее примером из другой области. В каком-либо государстве известная клика противится мероприятиям, которые соответствовали бы желаниям масс. Это меньшинство овладевает тогда прессой, обрабатывает при ее помощи суверенное «общественное мнение» и таким образом добивается того, что предполагаемое решение не принимается.

Такой ответ порождает следующий вопрос. Откуда берется энергия, расходуемая на то, чтобы дать сигнал неудовольствия? Здесь нам указывает путь мысль о том, что отражение нежелательного процесса внутри психики должно происходить по образцу отражения внешнего раздражения, т. е. что эго одинаковым способом защищается от внутренней и от внешней опасности. При внешней опасности органическое существо совершает попытку к бегству, сперва отнимая психическую энергию у восприятия опасного. Позже это существо узнает, что действительным средством являются такие мускульные реакции, благодаря которым восприятие опасности становится невозможным, даже если ему не противиться, т. е. удаление из области действия опасности. Вытеснение подобно такой попытке к бегству. Эго отнимает (предсознательную) психическую энергию у представителей влечений, подлежащих вытеснению, и использует ее для развития чувства неудовольствия – «тревоги». Проблема: каким образом при вытеснении возникает тревога – не простая; тем не менее мы вправе придерживаться взгляда, что эго является настоящим местом проявления тревоги, и отказаться от прежнего взгляда, что энергия вытесненного душевного движения автоматически превращается в тревогу. Если раньше я это утверждал, то давал этим феноменологическое описание, но не метапсихологическое.

Из сказанного вытекает новый вопрос: как это возможно с экономической точки зрения, что вследствие одного только процесса отнятия и оттока психической энергии – как это происходит при обратном отходе предсознательной энергии эго – возникает неудовольствие, или тревога, которая согласно нашим предположениям могут быть лишь следствием повышенной концентрации психической энергии. Мой ответ гласит: причина этого явления не может быть объяснена с экономической точки зрения, при вытеснении тревога не вновь образуется, а воспроизводится как аффективное состояние соответственно имеющемуся уже воспоминанию. Следующий вопрос о происхождении этой тревоги, как и аффектов вообще, заставляет нас, однако, оставить бесспорно психологическую почву и вступить в пограничную с психологией область физиологии. Аффективные состояния воплощены в психической жизни как осадки травматических переживаний отдаленной древности, и в соответствующих этим переживаниям ситуациях воспроизводятся как символы воспоминания. Полагаю, что я был прав, когда уподобил их позже индивидуально приобретенным истерическим припадкам и рассматривал их как нормальные образцы последних. У человека и у родственных ему животных при акте рождения возникают

характерные черты выражения аффекта тревоги как первого индивидуального переживания этого аффекта. Нам не следует, однако, слишком переоценивать эту связь и, признавая ее, нельзя упускать из виду, что аффективный символ для ситуации опасности является биологической необходимостью и все равно был бы непременно создан. Считаю также неправильным предположение, что при каждой вспышке тревоги в психической жизни происходит что-то такое, что равносильно воспроизведению ситуации рождения. Нет даже уверенности в том, что истерические припадки, являющиеся первоначально такими травматическими репродукциями, надолго сохраняют этот характер.

В другом месте я утверждал, что большинство вытеснений, с которыми нам приходится иметь дело при терапевтической работе, являются случаями проталкивания вслед. Они предполагают, что прежде имевшие место первичные вытеснения оказывают притягательное действие на новую ситуацию. Об этих основах и предшествующих степенях вытеснения еще слишком мало известно. Существует опасность слишком переоценить роль суперэго при вытеснении. В настоящее время невозможно судить о том, создает ли возникновение суперэго грань между первичным вытеснением и проталкиванием вслед. Первые, очень интенсивные вспышки тревоги возникают, во всяком случае, до дифференциации суперэго. Весьма вероятно, что количественные моменты, как то слишком большая сила возбуждения и прорыв защиты от раздражений, являются ближайшими поводами к первичному вытеснению. Упоминание о защите от раздражений сразу же заставляет вспомнить, что вытеснения возникают при двух различных ситуациях, а именно: когда недопустимое влечение пробуждается благодаря внешнему восприятию и когда оно возникает изнутри без такого рода провокации извне. В дальнейшем мы вернемся к этому различию. Но защита от раздражения имеется только в отношении внешних раздражений, а не требований внутренних влечений.

Поскольку мы изучаем попытку к бегству со стороны эго, мы остаемся в стороне от образования симптомов. Симптом возникает из влечения, которому противодействует вытеснение. Когда эго, воспользовавшись сигналом неудовольствия, достигает своей цели, совершенно подавляя влечение, мы не можем узнать, каким образом это произошло. Узнать это мы можем только в тех случаях, которые следует отнести к более или менее неудачным вытеснениям.

В последнем случае в общем дело обстоит так, что влечение, несмотря на вытеснение, все же находит себе замещение, – но последнее носит на себе печать искажения, сдвига, торможения. В нем нельзя больше узнать удовлетворение, оно не сопровождается ощущением удовольствия; но зато этот процесс принимает характер навязчивости. При этом понижении процесса удовлетворения до степени симптома вытеснение проявляет свою силу еще и в другом отношении. Процесс замещения удовлетворения симптомом связан с лишением импульса выхода наружу при посредстве моторной сферы. Даже и в том случае, когда это не удается, процесс замещения должен исчерпываться изменением на собственном теле и не может перейти на внешний мир, ему запрещено превратиться в действие. Нам это понятно: при вытеснении эго работает под влиянием внешней реальности и потому изолирует от этой реальности успешное течение процесса замещения.

Эго владеет доступом к сознанию, как и переходом в действие по отношению к внешнему миру. При вытеснении оно использует свою власть в обоих направлениях. Представление, замещающее влечение, испытывает на себе одну сторону этой власти, само влечение – другую. Здесь уместно спросить, как примирить это признание могущества эго с описанием, данным нами в исследовании «Эго и Ид» о положении того же эго.

Там мы описывали зависимость эго от ид и от суперэго, его бессилие и склонность испытывать тревогу перед ними и вскрыли, с каким трудом ему удается поддерживать свое превосходство. Это мнение нашло впоследствии громкий отзвук в психоаналитической литературе. В многочисленных публикациях настойчиво подчеркивается слабость эго перед ид, рационального перед демоническим в нас и делаются попытки превратить это положение в основу психоаналитического «миросозерцания». Не должно ли именно понимание

значения вытеснения удержать аналитика от такой крайности?

Я вообще не стою за фабрикацию миросозерцаний. Предоставим лучше это философам, которые, по собственному признанию, не в состоянии выполнить жизненный путь свой без такого рода Бедекера, содержащего сведения на все случаи жизни. Примем смиренно презрение, с которым философы смотрят на нас с точки зрения этой своей возвышенной потребности. Так как и мы не можем скрыть своей нарциссической гордости, то постараемся найти утешение в том соображении, что все эти «путеводители жизни» быстро устаревают, что именно наша близорукая, ограниченная, мелкая работа создает необходимость во все новых изданиях их и что даже новейшие из этих Бедекеров представляют собой попытки заменить старый, такой удобный и такой совершенный катехизис. Нам хорошо известно, как мало удалось до сих пор науке пролить свет на загадки этого мира. Все старания философов ничего в этом изменить не могут, и только терпеливое продолжение работы, подчиняющееся исключительно требованию точного знания, может медленно изменить такое положение вещей. Если путник поет в темноте, то он этим только скрывает свою тревогу, но лучше видеть от этого он не станет.

III

Вернемся к проблеме эго. Видимость указанного противоречия создается нашим ограниченным пониманием абстракции и тем, что мы из сложной ситуации выхватываем только одну или другую сторону.

Отделение эго от ид кажется вполне правильным, оно навязывается нам определенными обстоятельствами. Но с другой стороны, эго тождественно ид, составляет только особенно дифференцированную часть его. Если мы в мыслях противопоставляем эту часть целому или если между обеими частями возникло действительное противоречие, то слабость эго становится нам очевидной. Если же эго остается связанным с ид, неотделимым от него, то в этом случае проявляется его сила. Таково же отношение эго к суперэго. В большинстве случаев они оба сливаются и мы можем их различить в основном только тогда, когда между ними возникает конфликт. В случае вытеснения решающее значение имеет тот факт, что эго организовано, а ид – нет. Эго представляет собой именно организованную часть ид. Ничем не оправдывается представление об эго и ид как о двух различных военных лагерях: при помощи вытеснения эго старается подавить часть ид, но тут остальная часть ид спешит на помощь подвергшейся нападению части его и вступает в борьбу с эго. Пожалуй, нечто подобное может и быть, но не таково безусловно исходное положение при вытеснении. Обыкновенно подвергающееся вытеснению влечение остается изолированным. Если акт вытеснения показал нам силу эго, то в одном отношении он является показателем бессилия эго и того, что отдельные влечения ид не поддаются воздействию его. Ибо процесс, превратившийся благодаря вытеснению в симптом, сохраняет свое существование вне организации эго и независимо от последней. И не только он один, все его отпрыски пользуются тем же преимуществом, можно сказать – экстратерриториальностью. И даже там, где последнее ассоциативно связываются с частями организации эго, еще не известно, не перетянут ли они на свою сторону эти части эго и не распространятся ли с их помощью за счет эго. Давно известное нам сравнение представляет симптом как «постороннее тело», беспрерывно поддерживающее явления раздражения и реакции в ткани, в которую внедрилось. Хотя и бывают случаи, когда борьба против неприятного влечения заканчивается образованием симптома – насколько нам известно, это скорей всего возможно при истерической конверсии, – обычно однако процесс принимает другое течение. За первым актом вытеснения следует длительный и не имеющий конца эпилог: борьба против влечения находит свое продолжение в борьбе с симптомом.

Эта вторичная борьба имеет два лица – с противоположным выражением. С одной стороны, эго в соответствии с природой своей вынуждено предпринимать нечто вроде попытки восстановления и примирения. Эго представляет собой организацию, основанную

на свободе обращения и возможности взаимного влияния между всеми частями его. Его энергия выдает свое десексуализированное происхождение в стремлении к связи и однородности, и этот импульс к синтезу все увеличивается по мере развития эго. Таким образом, понятно, что эго старается устранить характер чуждости и изолированности симптома; пользуясь всякими возможностями, чтобы каким-нибудь образом связать его с собой и всякого рода связями воплотить его в своей организации. Нам известно, что такое стремление оказывает влияние уже на самый акт образования симптома. Классический пример тому представляют те истерические симптомы, в которых мы видим компромисс между потребностью в удовлетворении и в наказании. Выполняя это требование суперэго, эти симптомы с самого начала составляют часть эго, между тем как, с другой стороны, они имеют значение отвоеванных обратно позиций вытесненного и прорыв последнего в организацию эго. Они являются, так сказать, пограничными станциями, занятыми смешанными отрядами. Все ли первичные истерические симптомы так организованы – это заслуживает тщательного исследования. В дальнейшем эго ведет себя так, как будто бы оно руководствовалось соображением: ну что же, симптом имеется и не может быть устранен; приходится примириться с таким положением вещей и извлечь из него максимально возможную пользу. Тут имеет место приспособление к чуждой эго части внутреннего мира, представленной симптомом, – такое же приспособление, какое эго обычно в нормальных условиях выполняет в отношении реального внешнего мира. В поводах к этому недостатков нет. Существование симптома ведет к известному ограничению деятельности, при помощи которого удается умиротворить требование суперэго или отклонить притязания внешнего мира. Таким образом, на симптом постепенно возлагается защита важных интересов, он приобретает ценность для самоутверждения, все теснее срастается с эго, становится ему все необходимей. Только в редких случаях процесс залечивания «постороннего тела» может воспроизвести нечто подобное. Это значение вторичного приспособления к симптому можно еще преувеличить, утверждая, что эго вообще создало себе симптом только для того, чтобы воспользоваться его преимуществами. Это так же верно, или не верно, как мнение, что раненный на войне нарочно сделал так, чтобы ему оторвало снарядом ногу, чтобы потом, не трудясь, жить на свою инвалидную пенсию.

Другие симптомы при неврозе навязчивости и при паранойе приобретают большую ценность для эго не потому, что приносят ему преимущества, а потому, что доставляют нарциссическое удовлетворение, которого эго лишено. Системы невротиков, страдающих навязчивостью, льстят их самолюбию, создавая им представление о себе, как об особенно чистых и совестливых людях, лучших, чем все другие. Система бреда при паранойе открывает проницательности и фантазии этих больных поле деятельности, ничем для них не заменимое. Из всех этих отношений возникает то, что нам известно под названием «вторичная» выгода от болезни при неврозах. Эта выгода помогает стремлению эго воплотить в себя симптом и закрепляет фиксацию последнего. Когда мы делаем попытку путем анализа оказать помощь эго в его борьбе против симптома, то условия, примиряющие эго с симптомом, находим в сопротивлении. Нам не так-то легко их разрушить. Эти два приема, которые эго применяет к симптому, находятся действительно в противоречии друг с другом.

Второй прием имеет менее лояльный характер, действуя в направлении вытеснения. Но кажется, что нам не следует упрекать эго в непоследовательности. Эго миролюбиво и согласно воплотить в себе симптом, приобщить его к своему ансамблю. Нарушение исходит от симптома, который в качестве настоящего заместителя и отпрыска вытесненного влечения продолжает играть роль последнего, беспрерывно возобновляя притязание на удовлетворение и заставляя таким образом эго снова дать сигнал неудовольствия и перейти к самозащите.

Вторичная борьба против симптома очень разнообразна, она разыгрывается на различных сценах и пользуется всевозможными средствами. Мы не много сможем о ней сказать, если не начнем исследовать отдельные случаи образования симптомов. При этом у

нас найдется повод к тому, чтобы остановиться на проблеме тревоги – проблеме, которую мы уже давно чувствуем за нашими рассуждениями. Лучше всего исходить из симптомов, образующихся при истерическом неврозе: на предпосылках симптомообразования при неврозе навязчивости, паранойе и других неврозах не будем останавливаться из-за нашей недостаточной подготовленности.

IV

Первый случай, который мы рассмотрим, представляет собой детскую истерическую фобию животного, например, безусловно типичный в главных своих чертах случай фобии лошади «маленького Ганса». Уже при первом взгляде мы убеждаемся, что обстоятельства реального случая невротического заболевания гораздо более сложны, чем мы можем себе представить, имея дело только с абстракциями. Нужно совершить некоторую работу, чтобы разобраться в том, что является вытесненным душевным движением, что заменяющим его симптомом, что – мотивом вытеснения.

Маленький Ганс отказывается пойти на улицу, потому что у него страх перед лошадью. Таков сырой факт. Что же тут симптом: развитие ли тревоги, выбор ли объекта тревоги, отказ ли от свободы передвижения, или несколько из этих моментов одновременно? В чем состоит удовлетворение, в котором он себе отказывает? Почему он должен себе в нем отказать?

Легко ответить, что в этом случае вовсе не так много загадочного. Непонятная тревога перед лошадью – это симптом, невозможность пойти на улицу – явление торможения, ограничение, которое эго налагает на себя, чтобы предупредить появление симптома тревоги. Верность объяснения последнего пункта совершенно очевидна, и в дальнейшем рассмотрении этого случая можно оставить это торможение без внимания. Но первое беглое знакомство со случаем не показывает нам даже настоящего выражения предполагаемого симптома. При более точном исследовании мы узнаем, что речь идет вовсе не о неопределенной тревоге перед лошадью, а о вполне определенном боязливом опасении: лошадь его укусит. Правда, это содержание старается укрыться от сознания и заменяется неопределенной фобией, в которой сохраняется еще только тревога перед объектом. Это ли содержание является ядром симптомов?

Мы не продвинемся вперед, пока не примем во внимание всю психическую ситуацию ребенка, которая нам открывается во время аналитической работы. У него имеется ревнивая и враждебная эдипова установка к отцу, которого он, однако, искренне любит, поскольку мать не является причиной этой двойственности. Другими словами, амбивалентный конфликт, вполне обоснованная любовь и не менее справедливый гнев – оба по отношению к одному и тому же лицу. Его фобия должна быть попыткой разрешить этот конфликт. Подобные амбивалентные конфликты очень часты, и нам известен другой типичный для них исход. Последний состоит в том, что одно из борющихся между собой душевных движений, обыкновенно нежное, невероятно усиливается, а противоположное исчезает. Только чрезмерность и навязчивый характер нежности указывает нам, что тут имеется не одна только эта установка, а что нежность находится всегда настороже, чтобы удержать в подавленном состоянии другое чувство. Это дает нам возможность конструировать развитие этой установки, которое мы описываем, как вытеснение при помощи реактивного образования (в эго). Случаи, подобные маленькому Гансу, не содержат реактивных образований; очевидно имеются различные пути, выхода из амбивалентного конфликта.

Между тем мы с несомненностью установили нечто другое. Влечение, подлежащее вытеснению, представляет собой враждебный импульс против отца. Анализ дает нам доказательства этому, выявляя происхождение идеи о кусающейся лошади. Ганс видел, как упала лошадь и как упал и поранил себя приятель, с которым он играл в «лошадки». Мы вправе предположить у Ганса желание, чтобы отец упал и разбился, как лошадь и как приятель. Связь с отъездом из дома, который Ганс видел, позволяет предположить, что

желание устранить отца нашло себе и менее робкое выражение. Но такое желание равноценно намерению лично устранить отца, желанию убить, содержащемуся в эдиповом комплексе.

От этого вытесненного влечения пока нет прямого пути к замене этого влечения, которую мы предполагаем в фобии лошади. Упростим психическую ситуацию маленького Ганса, устранив инфантильный момент и амбивалентность. Представим себе вместо него молодого слугу в доме, влюбленного в свою госпожу и пользующегося милостивым вниманием с ее стороны. И в этом случае остается то обстоятельство, что он ненавидит более сильного хозяина дома и хотел бы его устранить. Естественным следствием этого положения будет то, что у него возникнет опасение мести со стороны хозяина, которое вызывает у него состояние тревоги перед последним, совершенно так же, как у маленького Ганса появилась фобия перед лошадью. А это значит, что тревогу этой фобии мы не можем считать симптомом. Если бы маленький Ганс, который влюблен в свою мать, стал проявлять тревогу перед отцом, то мы не вправе были бы приписывать ему невроз, фобию. Мы имели бы дело с совершенно понятной аффективной реакцией. Эта реакция превращается в невроз благодаря только единственной черте – замене отца лошадью. Этот «сдвиг» составляет, следовательно, то, что имеет право на название симптома. Он образует тот механизм, который позволяет разрешить амбивалентный конфликт без помощи реактивного образования. Этот процесс становится возможным и облегчается благодаря тому обстоятельству, что врожденные черты тотемистического мышления еще легко оживают в этом нежном возрасте. Пропасть между человеком и животным еще не вполне сознается и, несомненно, не так резко подчеркивается, как позже. Взрослый, вызывающий удивление, но также и тревогу, мужчина занимает место наряду с животным, которому по различным поводам завидуешь, но относительно которого предупредили, что оно может стать опасным. Амбивалентный конфликт не разрешается, таким образом, в отношении того же лица, а как бы обходит его, перенося одно из побуждений на другое лицо.

Все это совершенно ясно. Но в другом пункте анализ фобии маленького Ганса принес нам полное разочарование. Искажение, в котором и состоит симптомообразование, совершается вовсе не по отношению к «представителю» (представлению, характеризующему содержание) влечения, подлежащего вытеснению, а по отношению к совершенно другим представлениям, соответствующим только реакции на действительно неприятное. Наше ожидание было бы скорей удовлетворено, если бы маленький Ганс вместо тревоги перед лошадью проявил склонность мучить лошадей, бить их или откровенно выражал желание видеть, как они падают, разбиваются или даже издыхают в судорогах (топанье ногами). Нечто в этом роде действительно наступает во время анализа, но занимает далеко не первое место в неврозе. Но странно, если бы он действительно проявил как главный симптом такую враждебность к лошади, вместо того, чтобы питать ее к отцу, то мы не подумали бы, что у него невроз. Что-то, следовательно, тут не в порядке, в понимании ли нашем вытеснения или в определении симптома. Но одно мы сейчас замечаем: если бы маленький Ганс действительно проявлял такое отношение к лошадям, то характер недопустимого агрессивного влечения вовсе не был бы изменен вытеснением, а был бы только подменен объект его.

Не подлежит никакому сомнению, что встречаются случаи вытеснения, не достигающие большего, чем такая замена объекта; при генезисе фобии маленького Ганса произошло, однако, нечто большее. Насколько большее – это мы узнаем из другой части анализа.

Мы уже слышали, что маленький Ганс указал как на содержание своей фобии на представление, что его укусит лошадь. Позже мы познакомились с происхождением другого случая фобии животного, в котором внушающим тревогу животным был волк, имевший также значение заместителя отца. В связи со сном, который анализ объяснил, у этого мальчика развилась тревога, что его сожрет волк, как одного из семи козлят в сказке. То обстоятельство, что отец маленького Ганса играл с ним «в лошадки», имело безусловно

решающее влияние на выбор объекта тревоги. Точно так же оказалось весьма вероятным, что отец моего русского пациента, подвергнутого мною анализу, когда ему было около тридцати лет, играя с ребенком, изображал волка и шутя грозил ему, что съест его. После этого я нашел третий случай, молодого американца, у которого не образовалось фобии животного, но именно благодаря этому отрицательному обстоятельству данный случай способствует пониманию двух других. Его сексуальное возбуждение вспыхнуло под влиянием рассказанной ему фантастической сказки об одном арабском вожде, преследовавшем пряничного человечка, чтобы съесть его. Он отождествлял себя самого с этим съедобным человеком, в лице вождя можно было легко узнать заместителя отца, и эта фантазия стала почвой для его автоэротических поступков. Но представление о том, чтобы быть съеденным отцом – типичное детское представление с древних времен; аналогия из мифологии (Кронос) и из жизни влечений всем известны.

Несмотря на такие подтверждения, эти представления кажутся нам настолько странными, что там, где речь идет о ребенке, мы относимся к ним с недоверием. Нам также неизвестно, действительно ли они означают то, о чем как будто говорят, и нам непонятно, каким образом они могут стать предметом фобии. Однако, аналитический опыт дает нам требуемые указания. Он учит нас, что представление о том, чтобы быть съеденным отцом, является униженным путем регрессии выражением пассивно-нежных чувств; выражением желания быть любимым отцом в качестве объекта в смысле генитальной эротики. Если проследить дальше историю этого случая, то не остается никакого сомнения в правильности этого толкования. Генитальное желание ничем, правда, не выдает больше своих нежных намерений, когда оно выражено на языке преодоленной переходной фазы из оральной организации либидо к садистической. Впрочем, вопрос в том, идет ли тут речь о замене психического представителя влечения каким-нибудь регрессивным способом выражения или о действительно регрессивном унижении желания, имеющего в ид генитальное содержание? Это вовсе не так легко решить. История болезни русского пациента решительно говорит в пользу последней, более углубленной, возможности, потому что после решающего сновидения он ведет себя «дурно», мучает всех, проявляет садистические импульсы и вскоре после того у него развивается настоящий невроз навязчивости. Во всяком случае мы убеждаемся, что вытеснение – не единственное средство, которым эго располагает для отражения неприятного влечения. Если ему удается подвергнуть влечение регрессии, то, по существу, оно энергичней обезвредило это влечение, чем это было бы возможно путем вытеснения. Однако иногда вслед за вынужденной регрессией эго совершает и вытеснение.

Положение дел у русского пациента и несколько более простое у маленького Ганса вызывают и разные другие соображения. Но две вещи нам неожиданно становятся ясны уже теперь. Не подлежит никакому сомнению, что вытесненное при этих фобиях влечение враждебно отцу. Можно сказать, что оно вытесняется при помощи процесса превращения в противоположное. Вместо агрессивности против отца появляется агрессивность – месть – отца против самого ребенка. Так как подобная агрессивность и без того коренится в садистической фазе либидо, то ей легко регрессировать к оральной стадии развития, что и намечается у Ганса в представлении о том, что его укусят, а у другого пациента в тревоге быть съеденным. Но кроме того, анализу удается вне всякого сомнения установить, что одновременно подвергнуто вытеснению еще другое влечение противоположного характера, пассивно нежное в отношении отца, достигшее уже уровня генитальной (фаллической) организации либидо. Кажется, что последнее имеет даже большее значение для конечного результата процесса вытеснения. Оно подвергается более глубокой регрессии, оно приобретает решающее влияние на содержание фобии. Всюду, где мы проследили процесс вытеснения влечения, мы вынуждены признать совпадение двух таких процессов. Оба вытесненные влечения – садистическая агрессивность против отца и пассивно нежная установка в отношении его – составляют нераздельную пару. Больше того: если хорошо вникнуть в историю маленького Ганса, то убеждаешься, что благодаря образованию фобии у него исчезает и нежная привязанность к матери, о чем содержание его фобии ничего не

говорит. У Ганса речь идет – у русского пациента это гораздо менее ясно – о процессе вытеснения, охватывающего почти все компоненты эдипова комплекса: враждебное и нежное влечение к отцу и нежное к матери.

Для нас, желавших изучить только простые случаи образования симптомов вследствие вытеснения и остановившихся с этой целью на самых ранних и как будто наиболее ясных неврозах детства, это является нежелательным осложнением. Вместо единственного вытеснения мы нашли целую группу таковых и, кроме того, нам пришлось еще иметь дело с регрессией. Может быть, мы увеличили путаницу благодаря тому, что оба имевшихся в нашем распоряжении анализа фобий животных, маленького Ганса и русского пациента, непременно хотели мерить одной меркой. Но мы замечаем однако и некоторое различие между ними. Только относительно маленького Ганса можно с уверенностью сказать, что благодаря своей фобии он справился с двумя главными влечениями эдипова комплекса – агрессивным к отцу и слишком нежным к матери. Нежное влечение к отцу несомненно также имеется у него, оно выполняет свою роль при вытеснении противоположного влечения. Но совершенно не доказано, что оно было достаточно сильным, чтобы спровоцировать вытеснение, и что оно само потом заглохло. Ганс, по-видимому, был нормальным мальчиком с так называемым «положительным эдиповым комплексом». Весьма возможно, что моменты, которых мы не находим, оказали и у него свое действие, но мы не в состоянии их указать. Материал даже самых подробных наших анализов все же имеет пробелы, и наша документация остается несовершенной. У русского пациента дефект другого рода: его отношение к женскому объекту нарушено преждевременным соблазном. Пассивная женская сторона сильно в нем выражена, и анализ его «волчьего» сновидения мало вскрывает преднамеренную агрессивность против отца, но зато дает неопровержимые доказательства, что вытеснение коснулось пассивной нежной установки к отцу. Возможно, что и тут участвовали другие факторы, но они не проявлялись. Если, несмотря на это различие между обоими случаями, близкое к полной противоположности, результат фобий оказался одним и тем же, то объяснение этому мы можем найти в чем-то совсем другом, а именно, во втором результате нашего маленького сравнительного исследования. Мы полагаем, что механизм вытеснения нам известен в обоих случаях и роль его подтверждается тем течением, которое приняло развитие обоих детей. Он одинаков в обоих случаях и именно: тревога перед угрозой кастрации. Из тревоги перед кастрацией маленький Ганс отказывается от агрессивности против отца: его тревога, что лошадь его укусит, легко может быть дополнена представлением, что лошадь откусит ему гениталии, кастрирует его. Но из-за тревоги перед кастрацией и маленький русский отказывается также от желания быть любимым – как сексуальный объект – отцом, так как он понял, что такого рода отношение должно иметь своей предпосылкой лишение его гениталий – того, что его отличает от женщины. Обе формы эдипова комплекса, нормальная, активная и инвертированная, терпят крушение из-за кастрационного комплекса. Боязнь русского быть съеденным волком не содержит, правда, намека на кастрацию, благодаря оральной регрессии он слишком далеко отошел от фаллической фазы, но анализ его сновидения делает излишним другое доказательство. Полным триумфом вытеснения является также и то, что в словесном тексте фобии нет даже намека на кастрацию.

Здесь перед нами неожиданный результат: в обоих случаях мотором вытеснения оказывается кастрационная тревога. Страшные представления об укусе лошади и пожирании волком представляют собой только искаженную замену представления о кастрации отцом. Собственно говоря именно это представление и подвергается вытеснению. У русского оно выражало желание, не устоявшее против возмущения его мужских чувств, у Ганса – реакцию, превратившую его агрессивность в противоположное влечение. Но эффект тревоги фобии, составляющий сущность ее, происходит не из процесса вытеснения, не из либидинозной энергии вытесненных влечений, а из самой вытесняющей инстанции. Тревога фобии животных – это неизменная кастрационная тревога, т. е. тревога реальная, тревога перед действительной опасностью, угрожающей или понимаемой как реальная. Здесь

тревога создает вытеснение, а не вытеснение тревогу, как я раньше думал.

Неприятно об этом думать, но нельзя отрицать, что я часто защищал положения, будто благодаря вытеснению представление, относящееся к влечению, искажается, отодвигается и т. п., а либидо влечения превращается в тревогу. Исследование фобий, которые в первую очередь должны были бы доказать это положение, не подтверждает его, а скорей как будто прямо противоречит ему. Тревога фобий животных – кастрационная тревога эго. Менее основательно исследованная агорафобия представляет собою, по-видимому, тревогу перед искушением, которая генетически должна быть связана с кастрационной тревогой. Большинство фобий, насколько мы можем об этом судить, сводятся к такой тревоге эго перед притязаниями либидо. При этом полная тревоги установка эго всегда является первичным моментом и импульсом к вытеснению. Никогда тревога не происходит из вытесненного либидо. Если бы раньше я ограничился утверждением, что после вытеснения вместо ожидаемого проявления либидо появляется некоторое количество тревоги, то мне не пришлось бы теперь брать свои слова обратно. Описание само по себе верно, и между силой подлежащего вытеснению влечения и интенсивностью возникающей в результате тревоги имеется предполагавшееся соответствие. Но сознаюсь, я имел в виду нечто большее, чем только описание, я полагал, что открыл метапсихологический процесс непосредственного превращения либидо в тревогу; от этого я должен теперь отказаться. Я и раньше не мог указать, каким образом происходит такое превращение.

Каким образом мне вообще пришла мысль об этом превращении? Из изучения актуальных неврозов в то время, когда мы далеки еще были от того, чтобы отличать процессы в эго от процессов в ид. Я нашел, что определенные сексуальные привычки, как то coitus interruptus, неразряженное сексуальное возбуждение, вынужденное воздержание, вызывают припадки тревоги и общую боязливость, т. е. всегда в тех случаях, когда сексуальное возбуждение тормозится на своем пути к удовлетворению, задерживается или отклоняется от него, возникает тревога. Так как сексуальное возбуждение является выражением либидинозных влечений, то предположение, что либидо под влиянием таких нарушений превращается в тревогу, не казалось рискованным. Это наблюдение сохраняет свою силу и в настоящее время. С другой стороны, нельзя отрицать, что либидо процессов, протекающих в ид, испытывает нарушения под влиянием вытеснения. Возможно, все-таки верно, что при вытеснении тревога образуется из либидинозной энергии влечения. Но как примирить этот вывод с тем, что тревога фобий представляет собой тревогу эго, возникает в эго и не происходит из вытеснения, а сама вызывает таковое? Свести эти два источника тревоги к одному не так легко. Можно попытаться сделать предположение, что эго ждет опасности от ситуации нарушенного coitus'a, прерванного возбуждения, воздержания и реагирует на это тревогой. Но в этом мало пользы. С другой стороны, анализ фобий, предпринятый нами, как будто не допускает еще исправлений. Non liquet!

V

Мы намеревались изучать симптомообразование и вторичную борьбу эго против симптома, но, очевидно, наш выбор фобий был не совсем удачным. Тревога, преобладающая в картине этой болезни, оказалась для нас осложнением, скрывающим истинное положение вещей. Имеется достаточно неврозов, при которых не проявляется никакой тревоги. К их числу относится настоящая конверсионная истерия, в самых тяжелых симптомах которой не находится примеси тревоги. Уже этот факт должен был бы сказать нам, что не следует предполагать слишком тесных взаимоотношений между тревогой и симптомообразованием. Фобии стоят так близко к конверсионным истериям, что я считал себя вправе присоединить их к последним в качестве истерии тревоги. Но никто еще не указал условий, имеющих решающее влияние на то, принимает ли заболевание форму конверсионной истерии или фобии, никто, следовательно, не открыл условий развития тревоги при истерии. Самые частые симптомы конверсионной истерии – моторный паралич, контрактура,

непроизвольное действие, разряд, боль, галлюцинация – представляют собой постоянные или перемежающиеся процессы, что составляет новые трудности для объяснения. Об этих симптомах не многое, в сущности, известно. Благодаря анализу можно узнать, какой нарушенный процесс возбуждения они заменяют. Большей частью оказывается, что они сами принимают участие в этом процессе, так что кажется, будто вся энергия его концентрируется только на этой, составляющей эти симптомы части. Боль имела место в той ситуации, при которой произошло вытеснение: галлюцинация была тогда восприятием. Моторный паралич представляет собой отражение действия, которое должно было бы быть выполнено в том положении, но оказалось заторможенным, контрактура представляет собой обыкновенно перенесенную на другое место предполагавшуюся тогда мускульную иннервацию, припадок судорог выражает взрыв аффекта, освободившегося от нормального контроля эго. Весьма странным образом меняется ощущение неудовольствия, сопровождающее возникновение симптома. При постоянных, перенесенных на моторную область симптомах, таких как параличи и контрактуры, его обыкновенно совсем нет, эго относится к ним безучастно. При перемежающихся симптомах и относящихся к сенсорной сфере обыкновенно имеют место явственные ощущения неудовольствия, которые в случае симптома боли могут усилиться до очень большой степени. В этом разнообразии очень трудно найти момент, обусловливающий такие различия и дающий им общее объяснение. Также мало замечается при конверсионной истерии борьба эго против уже образовавшегося симптома. Только когда ощущение боли в каком-нибудь месте становится симптомом, это место получает возможность играть двойную роль. Симптом боли появляется с такою же несомненностью, когда до этого места дотрагиваются извне, как и в том случае, когда замененная им патогенная ситуация ассоциативным путем активизируется изнутри, – а эго при этом принимает меры предосторожности, чтобы предупредить пробуждение симптома посредством внешнего восприятия. Откуда эта особенная неясность симптомообразования при конверсионной истерии – этого мы понять не можем, но она является для нас мотивом поскорей оставить эту бесплодную почву.

Обратимся к неврозу навязчивости в ожидании, что тут нам удастся больше узнать о симптомообразовании. Симптомы невроза навязчивости в общем бывают двоякого рода и воплощают противоположные тенденции. Это или запреты, меры предосторожности, покаяния, т. е. явления отрицательного характера, или, наоборот, замена удовлетворения, очень часто в символическом одеянии. Из этих двух групп отрицательная, отвергающая, наказывающая является старшей. При длительности болезни берут, однако, верх удовлетворения, преодолевающие всякое сопротивление. Большим триумфом симптомообразования является положение, при котором сливаются воедино запрещение и удовлетворение, так что заповедь или запрет, имевшие первоначально отрицательный характер, приобретают также значение и удовлетворения, причем для этого используются очень искусственные ассоциативные пути. В этой работе проявляется склонность к синтезу, которую мы уже признали за эго; в крайних случаях больной доходит до того, что большинство его симптомов, помимо своего первоначального значения, приобретают и прямо противоположное. Это может служить показателем могущества амбивалентности, которая по неизвестной нам причине играет такую большую роль в неврозе навязчивости. В самом простом случае симптом протекает в два периода, т. е. за действием, выполняющим определенное предписание, непосредственно следует второе, уничтожающее первое, если это второе не становится прямо противоположным первому.

При этом беглом обзоре симптомов навязчивости возникает двоякое впечатление. Во-первых, что здесь идет беспрерывная борьба против вытесненного, которая принимает все более неблагоприятный оборот для вытесняющих сил, и во-вторых, что эго и суперэго принимают здесь особенно большое участие в симптомообразовании.

Невроз навязчивости представляет собой, пожалуй, самый интересный и самый благодарный объект для аналитического исследования, но как проблема он остается неразрешенным. Если мы постараемся глубже вникнуть в его сущность, то придется

сознаться, что мы не можем обойтись без допущений, в которых нет полной уверенности, и без недоказанных предположений. Исходное положение при неврозе навязчивости, пожалуй, то же, что и при истерии: необходимость сопротивления либидинозным притязаниям эдипова комплекса. Кажется также, что при всяком неврозе навязчивости имеется самый глубокий слой очень рано образовавшихся истерических симптомов. В дальнейшем, однако, форма заболевания изменяется решительным образом благодаря конституциональному фактору. Генитальная организация либидо оказывается слабой и мало резистентной. Когда эго начинает свое сопротивление, оно первым делом добивается того, что генитальная организация (фаллической фазы) отбрасывается полностью или частично на прежнюю садистически-анальную ступень. Факт регрессии имеет решающее влияние на все, что за ним следует.

Можно допустить еще и другую возможность. Может быть регрессия является следствием не конституционального, а временного фактора. Она оказывается возможной не потому, что генитальная организация либидо слишком слаба, а потому, что сопротивление эго началось слишком рано, еще во время расцвета садистической фазы. И в этом пункте я не решаюсь с уверенностью утверждать что-либо определенное, но аналитическое наблюдение неблагоприятно для последнего предположения. Скорей оно указывает на то, что при развитии невроза навязчивости фаллическая ступень уже достигнута. Также и возраст, при котором этот невроз возникает, более поздний, чем при истерии (второй период детства, после срока наступления латентного периода). В одном случае очень позднего развития этой болезни, который мне удалось изучить, было совершенно ясно, что реальное обесценивание нормальной до того времени половой жизни, создало условие для регрессии и для возникновения невроза навязчивости.

Метапсихологическое объяснение регрессии в «разъединении влечений», в выделении эротических компонентов, которые с началом генитальной фазы присоединились к деструктивным влечениям садистической фазы.

Первый успех эго в его борьбе против притязания либидо состоит в том, что оно добивается регрессии. Мы находим целесообразным отличать здесь более общую тенденцию «отражения» от «вытеснения», которое составляет только один из механизмов, находящийся в распоряжении отражения. Может быть, еще ясней, чем в нормальных и истерических случаях, можно при неврозе навязчивости видеть механизм отражения в кастрационном комплексе, а в отраженном – стремление эдипова комплекса. Тут мы находимся в начале латентного периода, отличающегося разрушением эдипова комплекса, созданием или консолидацией суперэго, возникновением этических и эстетических ограничений в эго. При неврозе навязчивости эти процессы переходят предел нормального; к разрушению эдипова комплекса присоединяются регрессивное понижение либидо. Суперэго становится особенно строгим и не любящим, в эго из послушания по отношению к суперэго развиваются сильные реактивные образования совестливости, сострадания и стремления к чистоте. С неумолимой, а потому и не всегда успешной, строгостью запрещается искушение продолжать ранний детский онанизм, который связывается в этом случае с регрессивными (анально-садистическими) представлениями, продолжая при этом воплощать некоторую непреодоленную часть фаллической организации. Внутреннее противоречие выражается в том, что именно в интересах сохранения мужественности (кастрационная тревога) не допускается никакого проявления этой мужественности. Однако, и это противоречие только преувеличено при неврозе навязчивости; оно имеется уже при нормальном способе разрушения эдипова комплекса. И при неврозе навязчивости подтверждается правило, чтовсякая чрезмерность содержит в себе зародыш самоуничтожения, так как именно подавленный онанизм добивается в форме навязчивых действий все большего приближения к удовлетворению.

В реактивных образованиях в эго у невротиков, страдающих навязчивостью, мы узнаем преувеличение нормального развития характера и должны рассматривать их как новый механизм отражения наряду с регрессией и вытеснением. При истерии, кажется, их нет или

они имеются в гораздо более слабом виде. Ретроспективно у нас возникает предположение о том, чем отличается процесс отражения при истерии. Похоже на то, что он ограничивается вытеснением, при котором эго отворачивается от неприятного влечения, предоставляя ему протекать в бессознательном и не принимая участия в его дальнейшей судьбе. Впрочем, это положение не может быть уж так абсолютно верно, потому что нам известны случаи, при которых истерический симптом означает одновременно и осуществление требования наказания со стороны суперэго. Но оно может дать представление об общем характере поведения эго при истерии.

Можно принять за факт, что при неврозе навязчивости образуется такое строгое суперэго, или же можно подумать о том, что основной чертой этой болезни является регрессия либидо, и попытаться связать с нею и характер суперэго. Действительно, суперэго, происходящее из ид, не может освободиться от влияния наступившей в ид регрессии и разъединения влечений. Нечему удивляться, если оно становится со своей стороны более жестким, мучительным и нелюбящим.

Во время латентного периода отражение искушения онанировать составляет, по-видимому, главную задачу. Эта борьба сопровождается рядом симптомов, которые у различных лиц вновь появляются в типичной форме и в общем носят характер церемониала. Приходится пожалеть, что эти симптомы еще не собраны и систематически еще не проанализированы. В качестве самых ранних продуктов невроза они скорей всего могли бы пролить свет на применяемый тут механизм симптомообразования. В них имеются уже черты, которые так губительно проявляются в наступающем позже тяжелом заболевании: они связываются с действиями, которые в дальнейшем должны быть выполнены автоматически при укладывании спать, умывании, одевании, при перемене места, проявляясь в виде склонности к повторению и к потере времени. Почему это все так происходит далеко не понятно: сублимирование анально-эротических компонентов играет при этом явную роль.

Момент наступления половой зрелости составляет решающий перелом в развитии невроза навязчивости. Прерванная в детстве генитальная организация возникает снова с большей силой. Но нам известно, что сексуальное развитие детства предписывает направление вторичному пробуждению сексуальности при наступлении половой зрелости. Поэтому, с одной стороны, снова просыпаются агрессивные побуждения раннего детства, а с другой стороны, большая или меньшая часть новых либидинозных побуждений – в тяжелых случаях вся их совокупность – должна направиться по предуказанным регрессией путям и проявиться в виде агрессивных и разрушительных намерений. Вследствие этого преображения эротических влечений и сильных реактивных образований в эго борьба против сексуальности ведется далее под этическим знаменем. Эго с удивлением восстает против жестоких и насильственных намерений, которые посылаются ему в сознание из ид, и не подозревает, что борется при этом против эротических желаний, в том числе и таких, против которых с его стороны обычно не было возражений. Чрезмерно строгое суперэго настаивает тем энергичней на подавлении сексуальности, что она принимает такие отталкивающие формы. Таким образом, конфликт при неврозе навязчивости обостряется в двух направлениях: отражающая инстанция стала нетерпимей, а то, что подлежит отражению, – несносней. И то и другое под влиянием одного и того же момента регрессии либидо.

В качестве возражения против наших предположений можно было бы указать на то, что неприятное навязчивое представление вообще становится сознательным. Однако, не подлежит никакому сомнению, что оно проделало раньше процесс вытеснения. При большинстве навязчивых представлений действительная словесная формулировка агрессивного влечения остается для эго вообще неизвестной. Необходимо проделать большую часть аналитической работы, чтобы довести ее до сознания. То, что проникает в сознание, представляет собой обычно только искаженную замену в виде расплывчатой неопределенности, как в полусне, или же измененную до неузнаваемости благодаря абсурдной маскировке. Если вытеснение не коснулось содержания агрессивного влечения, то оно все же уже наверное устранило сопровождающий его аффект. Таким образом,

агрессивность воспринимается со стороны эго не как импульс, а, как говорят больные, только как мысль, которая не должна была бы волновать. Самое удивительное то, что это все-таки не так.

Не проявившийся при восприятии навязчивого представления аффект выступает, однако, в другом месте. Суперэго ведет себя так, как будто не было никакого вытеснения, как будто ему известно агрессивное влечение в его настоящей словесной формуле и во всем его аффективном характере, и относится к эго, как бы исходя из этого предположения. Эго, не зная за собою никакого греха, вынуждено, с другой стороны, испытывать чувство вины и нести ответственность, которую не может себе объяснить. Этот факт не так загадочен, как это кажется на первый взгляд. Поведение суперэго вполне понятно, и противоречие в эго указывает только на то, что эго замкнулось при помощи вытеснения в отношении ид, оставаясь доступным влияниям суперэго. Возникает вопрос: почему эго не старается освободиться от мучительной критики суперэго? На это можно ответить, что в большом количестве случаев действительно так и бывает. Встречаются неврозы навязчивости, совершенно лишенные чувства вины. Поскольку нам удается это понять, эго освободилось от восприятия этого чувства при помощи нового ряда симптомов, мер покаяния, ограничений в наказании себя. Однако, одновременно эти симптомы имеют значение удовлетворений мазохистических влечений, также усилившихся благодаря регрессии.

Разнообразие явлений невроза навязчивости так велико, что еще никому не удалось дать общий синтез всех его вариаций. Стараешься выявить типические отношения и при этом всегда возникают опасения, что не заметишь другие не менее важные закономерности.

Общую тенденцию симптомообразования невроза навязчивости я уже описал. Она состоит в том, чтобы доставить замещающему удовлетворению как можно больше места за счет отказа от него. Те же симптомы, которые первоначально означали ограничение эго, приобретают позже, благодаря склонности эго к синтезу, также значение удовлетворения его, и совершенно очевидно, что последнее значение симптомов становится все более влиятельным. Крайне ограниченное эго, вынужденное искать удовлетворение только в симптомах – таков результат этого процесса, все более приближающегося к полной неудаче первоначального стремления к отражению. Передвижение взаимоотношения борющихся сил в сторону удовлетворения может привести к опасному исходу – параличу воли эго, которое при всяком решении испытывает одинаково сильные импульсы с одной и с другой стороны. Слишком сильный конфликт между эго и суперэго, налагающий с самого начала печать на это заболевание, может до того распространиться, что ни один из механизмов эго, совершенно неспособного выполнять свою роль посредника между теми двумя инстанциями, не может избежать того, чтобы быть втянутым в этот конфликт.

VI

Во время этой борьбы можно наблюдать два вида деятельности эго, ведущей к образованию симптомов и заслуживающей особого внимания, потому что она, очевидно, является суррогатом вытеснения и может поэтому быть хорошим примером тенденции и техники последнего. Может быть, мы должны видеть в появлении этих вспомогательных и заменяющих технических приемов доказательства тому, что осуществление правильного вытеснения наталкивается на трудности. Если мы примем во внимание, что при неврозе навязчивости эго становится в гораздо большей степени ареной борьбы, чем при истерии, то становится понятно, почему оно крепко сохраняет свои отношения к реальности и к сознанию и при этом пользуется всеми своими интеллектуальными средствами.

Такими двумя видами техники являются изоляция и отрицание совершившегося.

Второе имеет большое поле применения и заходит в далекое прошлое. Оно представляет собой, так сказать, отрицательную магию, стремясь при помощи моторной символики «сдуть» не последствия события (впечатления, переживания), а само это событие. Пользуясь выражением «сдуть», я хочу указать на то, какую роль эта техника играет не

только в неврозе, но и в колдовстве, народных обычаях и в религиозном церемониале. В неврозе навязчивости отрицание совершенного встречается, во-первых, при двукратных симптомах, когда второй навязчивый акт уничтожает первый, так что в результате получается такое положение, как будто ничего не случилось, между тем как в действительности имели место оба акта. В этом намерении отрицать совершенное кроется второй корень невротического навязчивого церемониала. Первый заключается в предупреждении, в предостережении о том, чтобы нечто определенное не случилось, не повторилось. Разницу легко понять. Меры предосторожности рациональны, «устранение» совершившегося при помощи отрицания – иррационально и по природе своей относится к магии. Разумеется, приходится предполагать, что этот второй корень более стар, исходит из анимистической установки к окружающей действительности. Стремление к отрицанию совершившегося, постепенно приближаясь к нормальному, выражается в решении относиться к событию, как к не имевшему место. Но в последнем случае ничего не предпринимается против этого события, не думают ни о нем, ни о его последствиях, между тем как в неврозе проявляется стремление устранить самое прошлое, вытеснить его при помощи действия. Та же тенденция может дать объяснение столь частому в неврозе навязчивости повторению, при выполнении которого сталкиваются в таком случае различные противоречащие друг другу намерения. То, что случилось не таким образом, как должно было случиться соответственно желанию, делается, благодаря повторению, другим образом, как бы не случившимся, и к этому присоединяются все мотивы, побуждающие остановиться на этих повторениях. В дальнейшем течении невроза тенденция представить не случившимся травматическое переживание оказывается перворазрядным мотивом к образованию симптома. Таким образом, перед нами неожиданно открывается понимание новой моторной техники отражения или, как мы можем сказать в данном случае с большой точностью, вытеснения.

Второй технический прием, который нужно впервые описать, представляет собой свойственная только неврозу навязчивости изоляция. Она также относится к моторной сфере и состоит в том, что после неприятного события так же, как и после значительного, с точки зрения невроза, собственного действия, делается пауза, во время которой ничего больше не должно случиться, не должно быть получено никакое восприятие, не выполнено никакое действие. Это странное на первый взгляд поведение скоро выдает свое отношение к вытеснению. Нам известно, что при истерии возможно подвергнуть амнезии травматизирующее впечатление, а при неврозе навязчивости это часто не удается. Переживание не забыто, но лишено своего аффекта, а его ассоциативные отношения подавлены или прерваны, так что оно остается как бы изолированным и не воспроизводится также и в процессе мышления. Эффект этой изоляции тот же, что и при вытеснении с амнезией. Эта техника воспроизводится в изоляциях невроза навязчивости, но при этом, однако, с магическим намерением и усиливается при помощи каких-либо действий. То, что таким образом разъединяется, составляет именно то, что ассоциативно связано, моторная изоляция должна быть гарантией разрыва связи в мышлении. Поводом к такому приему невроза служит нормальный процесс концентрации. То, что нам кажется значительным впечатлением или проблемой, не должно быть нарушено одновременными притязаниями (на ваше внимание – Прим. перев.) других процессов мышления или деятельности. Но уже в пределах нормального пользуются концентрацией внимания для того, чтобы отделить не только безразличное, к делу не относящееся, но, в первую очередь, не подходящее, противоположное. Больше всего воспринимается как нечто мешающее то, что первоначально составляло одно целое и было разъединено благодаря прогрессу развития, например, проявления амбивалентности отцовского комплекса в отношениях к Богу или побуждения, исходящие из экскреторных органов при любовных возбуждениях. Таким образом, эго нормально должно совершать большую изолирующую работу, направляя течение мыслей, и мы знаем, что при выполнении аналитической работы нам приходится прямо воспитывать эго, чтобы заставить его на время отказаться от этой, в других случаях безусловно

правильной, функции.

Все мы на опыте убедились, что невротику, страдающему навязчивостью, особенно трудно выполнять основное психоаналитическое правило. Вероятно, вследствие высокой степени конфликта между его суперэго и его ид, его эго стало более бдительным и изоляции его более утонченными. Выполняя работу мышления, оно вынуждено слишком часто отвергать примесь бессознательных фантазий, проявление амбивалентных стремлений. Оно должно быть всегда настороже, находиться беспрерывно в боевой готовности. Эту вынужденную концентрацию и изоляцию оно подкрепляет еще магическими актами изоляции, которые становятся в качестве симптомов такими странными, а практически приобретают такое значение, хотя сами по себе, разумеется, совершенно бесполезны и имеют характер церемониала.

Стремясь не допустить ассоциаций и связей между мыслями, эго выполняет, однако, одну из самых старых и основных заповедей невроза навязчивости, табу прикосновения. Если поставить вопрос, почему стремление избежать прикосновения, контакта, заразы играет такую большую роль в этом неврозе и становится содержанием столь сложных систем, то приходится ответить, что прикосновение, телесный контакт составляет ближайшую цель как агрессивного, так и любовного овладевания объектом. Эрос желает прикосновения, стремясь к соединению, к устранению пространственных границ между эго и любимым объектом. Но и уничтожение, которое до изобретения огнестрельного оружия могло происходить только при сближении, также предполагает телесное прикосновение, «рукоприкладство». Прикоснуться к женщине стало в нашем языке эвфемизмом использования ее в качестве сексуального объекта. Не прикасаться к органу – так дословно гласит запрещение авто-эротического удовлетворения. Так как невроз навязчивости преследует эротическое прикосновение, а затем, после регрессии, прикосновение под личиной агрессивности, то для него нет ничего более недопустимого, более пригодного сделаться центром запретительной системы (чем прикосновение – Прим. перев.). Изоляция же является устранением возможности контакта, средством не допустить какого бы то ни было прикосновения к вещи. И если невротики изолируют при помощи паузы также и впечатление или деятельность, то этим они символически говорят, что не хотят допустить ассоциативного прикосновения и в мыслях.

Таковы достижения наших исследований симптомообразования. Вряд ли стоит их резюмировать, они оказались бедными по результату и неполными и дали мало такого, что прежде уже не было известно. Не обещают успеха и исследования симптомообразования других заболеваний, кроме фобий, конверсионной истерии и неврозе навязчивости; о них еще очень мало известно; но уже сопоставление этих трех неврозов выдвигает трудную проблему, требующую немедленного рассмотрения. Во всех трех разрушение эдипова комплекса оказывается исходным пунктом и во всех их, как мы полагаем, кастрационная тревога становится мотором сопротивления эго. Но только в фобиях эта тревога проявляется, открыто признается. Что же стало с ней в других формах, как защищается эго от этой тревоги? Проблема усложняется еще больше, если припомнить упомянутую выше возможность, что тревога происходит благодаря своего рода переброжению из самого либидо, заторможенного в своем течении. И далее: не подлежит никакому сомнению, что кастрационная тревога является единственным толчком к вытеснению (или отражению). Если подумать о неврозах у женщин, то в этом приходится усомниться, потому что с какой бы несомненностью не удалось констатировать у них кастрационный комплекс, нельзя говорить о кастрационной тревоге в настоящем смысле тогда, когда кастрация уже совершена.

VII

Вернемся к инфантильным фобиям животных; мы понимаем эти случаи все же лучше, чем все другие. Здесь эго вынуждено противиться либидинозной привязанности ид к

объектам (положительному или отрицательному эдипову комплексу), потому что эго поняло, что уступка повлекла бы за собой опасность кастрации. Об этом уже шла речь, и мы пользуемся теперь поводом выяснить еще одно сомнение, оставшееся у нас от этой первой дискуссии. Следует ли нам допустить у маленького Ганса (т. е. в случае положительного эдипова комплекса), что сопротивление эго вызвано нежным влечением к матери или агрессивным к отцу? Казалось бы, что это безразлично с практической точки зрения, особенно потому, что оба влечения обусловливают одно другое. Однако с этим вопросом связывается теоретический интерес, потому что только нежное чувство к матери может считаться чисто эротическим. Агрессивное же по существу зависит от влечения к разрушению, а мы всегда полагали, что в неврозе эго противится притязаниям либидо, а не других влечений. В действительности мы видим, что после образования фобий, исчезла нежная привязанность к матери, основательно уничтоженная вытеснением, а образование симптома (замещение) произошло из агрессивного влечения. В случае фобии волка дело обстоит проще: вытесненным влечением, действительно эротического характера, является женственная установка к отцу и из этого происходит симптомообразование.

Просто стыдно, что после столь длительной работы мы все еще наталкиваемся на трудности в понимании самых основных отношений, но мы решились ничего не упрощать и ничего не скрывать. Если мы не в состоянии ясно видеть, то хотим по крайней мере точно видеть неясность. Нам ставит препятствие, очевидно, какая-то неровность в развитии нашего учения о влечениях. Сначала мы проследили организации либидо от оральной ступени развития через садистически-анальную к генитальной, считая при этом равными все компоненты сексуального влечения. Впоследствии садизм оказался представителем другого влечения, противоположного эросу. Новое понимание двух групп влечений как будто бы уничтожает прежнюю конструкцию последовательных фаз организации либидо. Удовлетворительного объяснения этому затруднению нам незачем однако снова искать, оно нам уже давно известно. Оно состоит в том, что нам почти никогда не приходится иметь дело с чистыми влечениями, а постоянно со смесями обоих влечений в различных количественных соотношениях. Садистическая привязанность к объекту имеет поэтому также право рассматриваться как либидинозная. Организации либидо не должны быть пересмотрены, и агрессивное влечение к отцу может с таким же правом стать объектом вытеснения, как и нежное к матери. Тем не менее, оставляя в стороне как материал для последующего обсуждения возможность того, что вытеснение является процессом, имеющим особое отношение к генитальной организации либидо, и что эго пользуется другими методами отражения, когда вынуждено противиться либидо на других ступенях организации, продолжим ход наших мыслей. Случай вроде маленького Ганса не дает возможности окончательного суждения. Здесь хотя и уничтожается агрессивное влечение посредством вытеснения, но уже после того, как достигнута генитальная организация.

На этот раз мы не упустим из виду отношение к тревоге. Мы сказали уже, что как только эго видит опасность кастрации, оно дает сигнал тревоги и при помощи инстанции «удовольствия-неудовольствия» прекращает, непонятным пока образом, опасный процесс в ид. Одновременно происходит образование фобий. Кастрационная тревога получает другой объект и искаженное выражение в виде опасения быть укушенным лошадью (съеденным волком) вместо – быть кастрированным отцом. Образование замещения имеет два явных преимущества: во-первых, оно избегает амбивалентного конфликта, так как отец представляет собой одновременно и любимый объект, и во-вторых, оно позволяет эго приостановить развитие тревоги. Тревога фобии факультативна, она возникает только тогда, когда объект ее становится предметом восприятия. Да это и вполне правильно: только в таком случае имеется опасная ситуация. От отсутствующего отца не приходится опасаться и кастрации. Однако отца невозможно устранить, он появляется снова, когда хочет. Если же он заменен животным, то достаточно избегать вида, т. е. присутствия животного, чтобы освободиться от тревоги. Маленький Ганс налагает, таким образом, ограничение на свое эго, образуя торможение, не дающее ему выходить на улицу, чтобы не встретиться с лошадьми.

Маленькому русскому пациенту еще удобнее, для него не составляет почти никакого лишения то обстоятельство, что он в руки не берет определенную книгу с картинками. Если бы скверная сестричка не подсовывала ему картинку, изображающую волка, стоящего на задних лапах, то он чувствовал бы себя в полной безопасности в отношении тревоги.

Я как-то прежде приписал фобии характер проекции, так как она заменяет внутреннюю опасность влечения внешней опасностью восприятия. Это дает то преимущество, что от внешней опасности можно защититься бегством и стремлением избежать этого восприятия, между тем как от внутренней опасности никакое бегство не помогает. Мое замечание по существу верно, но остается поверхностным. Притязание влечения представляет опасность не само по себе, а только потому, что влечет за собой настоящую внешнюю опасность – кастрацию. Таким образом, в сущности при фобии одна внешняя опасность только заменяется другой такою же. То обстоятельство, что эго при фобии легко может, избегая восприятия объекта или посредством торможения симптома, освободиться от тревоги, вполне соответствует взгляду, что тревога представляет собой только сигнальный аффект и что в положении экономических сил психики при нем ничего не меняется.

Тревога фобии животных представляет собой, таким образом, аффективную реакцию эго на опасность. Опасность же, о которой здесь сигнализируется – это кастрация. В данном случае нет другого отличия от реальной тревоги, которую эго нормально проявляет в ситуации опасности, как только то, что содержание тревоги остается бессознательным и осознается только в искаженном виде.

Это верно, как я полагаю, и в отношении взрослых, хотя у них материал, перерабатываемый неврозами, гораздо содержательней, и при образовании симптомов привходят еще некоторые другие моменты. Но, по существу, это одно и то же. Агорафобик налагает ограничение на свое эго, чтобы избежать опасности влечения. Эта опасность влечения состоит в искушении поддаться своим эротическим соблазнам, вследствие чего возникла бы снова, как в детстве, опасность кастрации или какая-либо другая ей аналогичная. Как пример приведу случай с молодым человеком, который стал агорафобиком из опасения, что не устоит перед соблазном проституток и в наказание заразится сифилисом.

Я прекрасно знаю, что во многих случаях структура гораздо более сложна и что много других вытесненных влечений сливаются в фобии, но все они имеют вспомогательный характер и в большинстве случаев соединяются впоследствии с ядром невроза. Симптоматика агорафобии усложняется благодаря тому, что эго не довольствуется отказом от чего бы то ни было: оно еще что-то добавляет, чтобы лишить ситуацию элемента опасности. Это добавление обыкновенно состоит во временной регрессии к эпохе детских лет (в крайних случаях вплоть до ситуации в материнском чреве, к тому времени, когда была полная защита от угрожающих теперь опасностей) и является условием, при котором возможно избегнуть вынужденного отказа. Так, например, агорафобик может выйти на улицу, если, как маленький ребенок, он идет в сопровождении лица, пользующегося его доверием. Подобное же соображение может дать ему возможность выходить одному на улицу, но только не удаляться дальше определенного расстояния от своего дома, не заходить в незнакомую местность, где люди его не знают. В выборе этих условий проявляется влияние инфантильных моментов, которые овладели им вследствие его невроза. Совершенно понятна и без такой инфантильной регрессии фобия оставаться одному, направленная, в сущности, на избежание искушения предаваться в одиночестве онанизму. Условием инфантильной регрессии является, разумеется, временное отдаление от детства.

Фобия обыкновенно возникает после того, как при известных обстоятельствах, на улице, в вагоне железной дороги, в одиночестве, случился первый припадок тревоги. Тревога тогда оказывается связанной с представлением об этих ситуациях, но возникает всякий раз снова, когда не выполняются защитные условия. Механизм фобии как защитное средство оказывает большие услуги больному и проявляет склонность к устойчивости. Продолжение борьбы, направленной теперь против симптома, встречается часто, но это не обязательно.

То, что мы узнали о тревоге при фобиях, может быть использовано и для понимания

невроза навязчивости. Не трудно свести ситуацию невроза навязчивости к таковой при фобиях. Мотором всех последующих симптомообразований здесь, очевидно, является тревога перед своим суперэго. Враждебность суперэго представляет ту ситуацию опасности, которой старается избежать эго. Здесь отсутствует всякая видимость проекции, опасность безусловно исходит изнутри. Но если мы себя спросим, чего же эго опасается со стороны суперэго, то приходится остановиться на мысли, что наказание со стороны суперэго представляет собой продолжение наказания кастрацией. Подобно тому, как суперэго воплощает ставшего безличным отца, так и тревога перед исходящей от последнего угрозой кастрации превратилась в неопределенную социальную тревогу или тревогу перед своей совестью. Но эта тревога прикрыта, эго избегает ее, послушно выполняя возложенные на него приказы, меры предосторожности и покаянные действия. Если ему в этом препятствуют, немедленно возникает крайне мучительное беспокойство, в котором мы можем видеть эквивалент тревоги и которое больные сами отождествляют с тревогой. В результате мы получаем тревогу как реакцию на ситуацию опасности. От этой тревоги можно уберечься тем, что эго что-то совершает, чтобы избежать этой ситуации или увильнуть от нее. Можно было бы сказать, что симптомы создаются для того, чтобы избежать развития тревоги, но это не дает еще возможности глубже вникнуть в сущность процесса. Правильней сказать, что симптомы создаются для того, чтобы избежать ситуации опасности, о которой сигнализирует развитие тревоги. Опасность же в исследованных до сих пор случаях состояла в кастрации или в чем-то, что было с ней связано.

Если тревога является реакцией эго на опасность, то вполне естественно понимать травматический невроз, возникающий так часто вслед за пережитой опасностью для жизни, как прямое следствие тревоги за жизнь или тревоги смерти, принимая во внимание кастрацию и зависимость эго от других психических инстанций. Так именно и поступило большинство исследователей травматических неврозов в последнюю войну, и с триумфом возвестило, что теперь приведено доказательство, будто угроза влечению к самосохранению может повлечь за собой невроз без какого бы то ни было участия сексуальности и без сложных положений психоанализа. Действительно, приходится крайне пожалеть, что у нас нет ни одного пригодного анализа травматического невроза. И не из-за возражения против этиологического значения сексуальности. Это возражение устранено давно благодаря введению понятия нарциссизма, которое сравнивает либидинозные привязанности к эго с привязанностями к объектам и подчеркивает либидинозную природу влечения к самосохранению. Но приходится жалеть о том, что отсутствие таких анализов лишает нас наиболее реальных возможностей получить решающие указания на взаимоотношения между тревогой и симптомообразованием. Судя по тому, что нам известно о структуре более простых неврозов обыденной жизни, маловероятна возможность возникновения невроза только вследствие объективного факта угрожающей опасности, без участия более глубоких бессознательных слоев душевного аппарата. А в бессознательном ничего нет такого, что могло бы дать содержание нашему понятию об уничтожении жизни. Всякий может себе, так сказать, представить кастрацию, благодаря ежедневному опыту отделения содержания кишечника и благодаря пережитому при отлучении лишению материнской груди. Но ни у кого не было никогда переживания, подобного смерти, а обморок не оставляет никаких видимых следов в психике. Я настаиваю поэтому на предположении, что страх смерти приходится понимать как нечто аналогичное кастрационному страху и ситуация, на которую эго реагирует страхом смерти, представляет собой состояние, при котором эго чувствует себя оставленным защищающим его суперэго, олицетворяющим судьбу, – и с этим наступает конец уверенности в защите от всех опасностей. Кроме того, необходимо принять еще во внимание, что при переживаниях, ведущих к травматическому неврозу, нарушается «внешняя защита от опасностей» и душевный аппарат подвергается воздействию слишком больших количеств возбуждения, так что тут создается еще вторая возможность – тревога не только сигнализирует о наличии аффекта, но и снова появляется благодаря экономическим условиям, возникающим в психике вследствие переживаемой ситуации.

Благодаря последнему замечанию, что эго подготовляется к кастрации под влиянием регулярно повторяющихся потерь объектов, у нас возникает новый взгляд на тревогу. Если до сих пор мы рассматривали тревогу как аффективный сигнал опасности, то теперь она нам кажется реакцией на потерю, разлуку, если принять во внимание, что так часто речь идет об опасности кастрации. Если кое-что и говорит против такого вывода, то все же в глаза бросается следующее замечательное сходство. Первое переживание тревоги, по крайней мере у человека, составляет рождение. Оно объективно означает отделение от матери и могло бы быть поэтому сравниваемо с кастрацией матери (согласно равенству ребенок – penis). Можно было бы быть довольным, если бы оказалось, что тревога как символ разлуки повторяется впоследствии при всякой разлуке. К сожалению, однако, использованию этого совпадения препятствует то обстоятельство, что субъективно рождение не переживается, как разлука с матерью, потому что мать как объект совершенно неизвестна абсолютно нарциссическому фетусу. Другое соображение гласит, что нам известны аффективные реакции на разлуку и что мы их ощущаем как боль и печаль, а не как тревогу. Однако, вспомним, что при исследовании печали мы также не могли понять, почему она причиняет такую боль.

VIII

Пора опомниться. Мы ищем определенного понимания сущности тревоги, альтернативы или – или, отличающей истину от заблуждения, но это трудно найти. Чувство тревоги не дается нашему пониманию. Пока мы вскрыли только ряд противоречий, между которыми без определенной точки зрения нет возможности сделать выбор. Теперь я предлагаю поступить иначе. Сопоставим совершенно объективно все, что можно сказать о тревоге, отказавшись от надежды на скорый синтез.

В первую очередь тревога представляет собой нечто ощущаемое. Мы его называем аффективным состоянием, хотя так же не знаем, что такое аффект. Как ощущению, тревоге свойствен совершенно очевидный признак неприятного, но этим не исчерпывается ее качество: не все, что имеет характер неприятного, мы можем назвать тревогой. Имеются еще и другие ощущения неприятного характера (напряжение, боль, печаль), и тревога, помимо этого качества неприятного, должна обладать еще и другими особенностями. Возникает вопрос, удастся ли нам понять различие между этими разнообразными аффектами.

Из ощущения тревоги мы можем все же кое-что выделить. Ее неприятный характер как будто бы имеет некоторую особенность. Это трудно доказать, но кажется весьма вероятным, и в этом не было бы ничего удивительного. Но кроме этого трудно поддающегося выделению особенного признака, мы замечаем при тревоге определенные физические ощущения, которые мы связываем с определенными органами. Так как физиология нас здесь не интересует, то нам достаточно выделить отдельных представителей этих телесных ощущений, т. е. самых ясных и самых частых, исходящих из органов дыхания и сердца. Они служат нам доказательством того, что моторные иннервации, т. е. процессы, отводящие возбуждение, принимают участие в общем аффекте тревоги. Анализ состояния тревоги открывает, следовательно, следующие моменты: во-первых, специфический характер неприятного, во-вторых, реакцию отвода возбуждения и, в-третьих, восприятие этих моментов.

Пункты второй и третий указывают уже на отличие от подобных состояний, например, печали или боли. Последние не сопровождаются моторными проявлениями, а в тех случаях, где такие проявления встречаются, они ясно выделяются не как составные части целого, а как последствие или реакция на него. Тревога представляет собой, таким образом, особенное неприятное состояние, связанное с реакциями отвода раздражения на определенные нервные пути. Согласно общим нашим воззрениям, мы предположим, что в основе тревоги лежит повышение возбуждения, создающее, с одной стороны, характер неприятного, а с другой стороны, находящее выход в упомянутых отводящих путях. Но вряд ли нас удовлетворит это

чисто физиологическое обобщение. Нас соблазняет предположение, что имеется еще исторический момент, тесно связывающий эти ощущения и иннервации тревоги. Другими словами, что состояние тревоги является репродукцией переживания, содержащего предпосылки такого повышения раздражения и отвода его на определенные нервные пути, благодаря чему неприятное чувство при тревоге приобретает свой специфический характер. Таким переживанием, имеющим значение прообраза, для человека оказывается рождение, и потому мы склонны видеть в состоянии тревоги репродукцию травмы рождения.

Этим мы не сказали ничего такого, что поставило бы тревогу в исключительное положение среди аффективных состояний. Мы полагаем, что и другие аффекты представляют собой репродукции важных для жизни старых, возможно доиндивидуальных событий и приравниваем их в качестве общих, типичных, врожденных истерических припадков к позже и индивидуально приобретенным атакам истерического невроза, происхождение и значение которых как символов воспоминаний нам стало понятно благодаря анализу. Было бы, разумеется, чрезвычайно желательно привести доказательства этому взгляду для ряда других аффектов, но до этого нам, однако, теперь далеко.

Положение, сводящее тревогу к событию рождения, необходимо защитить от легко напрашивающихся возражений. Тревога – свойственная всем организмам реакция, во всяком случае всем высшим, между тем как рождение переживается только млекопитающими и подлежит еще сомнению, имеет ли оно у всех них значение травмы. Встречается, следовательно, тревога без прообраза рождения. Но это возражение выходит за границу, отделяющую биологию от психологии. Именно потому, что тревога должна выполнить необходимую биологическую функцию – реакцию на положение, составляющее опасность, она может у различных живых существ иметь различного рода структуру. Нам также неизвестно, сопровождается ли она у далеко отстоящих от человека живых существ тем же содержанием в смысле физических ощущений и иннерваций: это не противоречит поэтому утверждению, что тревога у человека имеет своим прообразом процесс рождения.

Если такова структура и таково происхождение тревоги, то возникает следующий вопрос: в чем ее функция? При каких условиях она воспроизводится? Ответ кажется простым и не допускающим сомнения. Тревога возникает как реакция на положение, составляющее опасность, она регулярно воспроизводится, когда снова создается такое состояние.

По этому поводу необходимо заметить следующее: иннервации первоначального состояния тревоги имели, вероятно, точно такой же определенный смысл и целесообразность, как мускульные реакции первого истерического припадка. Если хочешь объяснить истерический припадок, то достаточно найти ситуацию, при которой соответствующие движения составляли часть оправдываемого условиями действия: так, вероятно, во время рождения направление иннервации на органы дыхания подготовило деятельность легких, ускорение сердцебиения, чем противодействовало отравлению крови. Эта целесообразность отпадает, разумеется, при последующих репродукциях состояния тревоги как аффекта, точно так же, как она отсутствует при повторном истерическом припадке. Если, таким образом, индивид попадает в новую ситуацию опасности, то легко может оказаться нецелесообразным, что он отвечает состоянием тревоги – реакцией на прежнюю опасность – вместо того, чтобы реагировать адекватно теперешнему положению; однако, целесообразность снова проявляется при узнавании приближения ситуации опасности, что и сигнализируется вспышкой тревоги. В таком случае тревога может немедленно смениться соответствующими мероприятиями. Таким образом, с самого начала выявляются две возможности появления тревоги: одна нецелесообразная в новой ситуации опасности, другая целесообразная для сигнализации и предупреждения об опасности.

Однако, что такое «опасность»? При акте рождения имеется объективная опасность для жизни, нам известно, что это означает в реальности. Но психологически нам это ничего не говорит. Опасность при рождении не имеет психического содержания. Мы несомненно не можем допустить у новорожденного ничего хотя бы отдаленно приближающегося к какому

бы то ни было знанию возможности исхода акта рождения уничтожением жизни. Фетус не может ничего другого заменить, кроме огромного нарушения в экономике своего нарциссического либидо. Большие количества возбуждения проникают к нему, вызывают неизвестные неприятные ощущения, некоторые органы требуют привлечения повышенной концентрации психической энергии (Besetzung), что представляет собой как бы интродукцию к последующей вскоре концентрации этой энергии на объектах: что же из всего этого найдет себе применение как признак «ситуации опасности»?

К сожалению, мы слишком мало знаем о душевном состоянии новорожденного, чтобы дать прямой ответ на вопрос. Я не могу даже ручаться, что данное выше описание чего-нибудь стоит. Легко сказать, что новорожденный воспроизведет аффект тревоги во всех ситуациях, напоминающих ему событие рождения. Решающее значение однако будет иметь момент: чем и о чем эти ситуации ему напоминают.

Нам ничего другого не остается, как изучить те поводы, при которых младенец или немного старший ребенок проявляет склонность к тревоге. Ранк в своей книге «Das Tranma der Geburt» сделал очень энергичные попытки доказать отношение самых ранних фобий ребенка к событиям при рождении. Я не могу, однако, считать эту попытку удачной. Его можно упрекнуть в двух вещах: во-первых, в том, что он основывается на предположении, что у ребенка имеются определенные чувственные впечатления, особенно зрительного характера, воспринятые во время рождения, возобновление которых может вызвать воспоминание о травме при рождении и вместе с тем реакцию тревоги. Это предположение невероятно: трудно допустить, чтобы у ребенка сохранились от процесса рождения какие-нибудь другие ощущения, кроме тактильных и общих. Если впоследствии ребенок испытывает тревогу перед маленькими животными, исчезающими в отверстиях или выползающими из них, то Ранк в оценке этой позднейшей ситуации тревоги приписывает, в зависимости от необходимости, этот аффект воспоминанию о счастливом внутриутробном существовании или о травматическом нарушении этого существования, чем открывается широкая возможность произволу в толковании. Отдельные случаи этой детской тревоги прямо противоречат применению принципа Ранка. Если ребенок находится в темноте и в одиночестве, то следовало бы ожидать, что он с удовлетворением примет это возвращение к внутриутробной ситуации, и если факт, что он именно в этом случае реагирует тревогой, объясняется воспоминанием о нарушении этого счастья актом рождения, то нельзя не признать искусственности этого объяснения.

Я должен прийти к выводу, что самые ранние детские фобии не могут быть непосредственно объяснены впечатлением при акте рождения и вообще до сих пор не находили себе объяснения. Известная готовность младенца испытывать тревогу совершенно очевидна. Она не проявляется с наибольшей силой непосредственно после рождения, с тем чтобы медленно идти на убыль, а возникает позже вместе с прогрессом психического развития и держится в течение определенного периода детства. Если такие фобии длятся дольше определенного срока, то должно возникнуть подозрение в существовании невротического нарушения, хотя отношение этих фобий к более поздним явным неврозам детского возраста никоим образом нам не ясно.

Лишь немногие случаи проявления детской тревоги нам понятны, и их мы должны будем держаться: например, если ребенок находится один, или в темноте, или если вместо близкого ему лица (матери) находит кого-нибудь чужого. Эти три случая сводятся к одному только условию, к отсутствию любимого (желанного) лица. Но этим открывается путь к пониманию тревоги и к устранению противоречий, которые как будто бы в этом вопросе возникли.

Воспоминание образа желанного лица переживалось несомненно интенсивно, сначала, вероятно, галлюцинаторно. Но это ни к чему не приводило и кажется вероятным, что эта тоска превращается в тревогу. Получается непосредственное впечатление, будто эта тревога является выражением беспомощности, будто это еще весьма неразвитое существо не может совладать со своей тоской. Тревога кажется, таким образом, реакцией на отсутствие объекта,

и у нас возникает аналогия с кастрационной тревогой, имеющей своим содержанием также разлуку с чрезвычайно ценным объектом, и с первоначальной тревогой («первичная тревога» при рождении), возникшим при отделении от матери.

Дальнейшие соображения ведут дальше этого подчеркивания потери объекта. Если младенец требует появления матери, то ведь только потому, что ему уже из опыта известно, что она без задержек удовлетворяет все его потребности. Ситуация, которую он оценивает как «опасность», от которой он ищет защиты, является, таким образом, неудовлетворенность, нарастание напряжения потребности, против которого он беспомощен. Полагаю, что с этой точки зрения все становится понятным. Ситуация неудовлетворенности, при которой все раздражения достигают мучительной высоты и не могут быть преодолены посредством психической переработки и отвода их на реактивные иннервации, должна для младенца быть аналогична переживаниям при рождении, воспроизведением той ситуации опасности. Общим в обоих положениях является экономическое нарушение и нарастание силы раздражений, требующих разрешения. Этот момент составляет, в сущности, ядро «опасности». В обоих случаях возникает реакция тревоги, оказывающаяся еще более целесообразной у младенца, так как направление оттока раздражений, отводящего энергию раздражений на мускулатуру дыхания и голоса, привлекает мать, подобно тому, как раньше возбудило деятельность легких для устранения внутренних раздражений. Кроме этого сигнала опасности, ребенку нечего сохранить от акта своего рождения.

Когда опыт показывает, что внешний, доступный восприятию объект может положить конец опасной ситуации, напоминающей рождение, то содержание опасности переносится из экономической ситуации на его условие – потерю объекта. Отсутствие матери становится опасностью, при возникновении которой младенец дает сигнал тревоги еще до наступления опасной экономической ситуации. Это превращение означает большой успех в отношении заботы о самосохранении и одновременно содержит переход от автоматически непроизвольного возникновения тревоги к преднамеренной репродукции ее как сигнала опасности.

В обоих отношениях, как в качестве автоматического феномена, так и в качестве спасающего сигнала, тревога оказывается продуктом психической беспомощности младенца, являющейся естественной параллелью его биологической беспомощности. Замечательное совпадение, что как тревога при рождении, так и тревога младенца заключает в себе условие отделения от матери, не нуждается в психическом толковании. Оно объясняется довольно просто биологически – тем фактом, что мать, удовлетворявшая все потребности фетуса устройством своих внутренностей, продолжает выполнять ту же функцию отчасти другими средствами также и после рождения. Внутриутробная жизнь и первый младенческий период составляют в гораздо большей степени непосредственное продолжение одно другого, чем это нам кажется, благодаря акту рождения. Психический материнский объект заменяет ребенку биологическую внутриутробную ситуацию. Но из-за этого нельзя забывать, что во время внутриутробной жизни мать не была объектом и что тогда объектов еще не было.

Совершено очевидно, что при таких взаимоотношениях нет места отреагированию травмы рождения и что нельзя найти другой функции тревоги, кроме как сигнала к избежанию ситуации опасности. Условие возникновения тревоги вследствие потери объекта ведет однако дальше. И дальнейшее превращение тревоги – наступающий в фаллической фазе кастрационный страх – состоит здесь в отделении от гениталий. Совершенно верная, по-видимому, мысль Ференци дает нам возможность ясно видеть здесь линию связи с прежними содержаниями ситуации опасности. Высокая нарциссическая оценка penis'а может оправдываться тем, что обладание этим органом заключает в себе залог будущего воссоединения с матерью (заместительницей матери) в акте коитуса. Лишение этого органа является как бы вторичной разлукой с матерью и имеет, таким образом, опять-таки значение состояния беспомощности в отношении очень неприятного напряжения потребности (как при рождении). Потребность, нарастание которой внушает опасение, имеет специальный характер генитального либидо, а не какого-либо иного, как в младенческом возрасте.

Прибавлю еще здесь, что фантазии о возвращении в материнскую утробу составляют замену коитуса у импотентного (заторможенного угрозой кастрации индивида). Продолжая мысль Ференци, можно сказать, что индивид, собирающийся заменить себя при возвращении в материнскую утробу своим генитальным органом, заменяет регрессивным путем этот орган всей своей особой.

Дальнейшее развитие ребенка, увеличение его независимости, более точная дифференциация его душевного аппарата на несколько инстанций, появление новых потребностей, не могут не влиять на содержание ситуации опасности. Мы видели эволюцию последнего от потери материнского объекта к кастрации и можем проследить дальнейший шаг, причиной которому является могущество суперэго. При обезличении родительской инстанции, внушающей страх кастрации, опасность становится еще более неопределенной. Страх кастрации развивается в тревогу перед совестью, в социальную тревогу. Теперь уже не легко указать, какие опасения связаны с тревогой. Формула: «разлука (утеря), изгнание из орды» относится только к той более поздней части суперэго, которая развилась под влиянием социальных образцов, а не к ядру суперэго, соответствующему интроецированной родительской инстанции. Выражаясь более обще, эго расценивает как опасность гнев и наказание утерей любви со стороны суперэго и отвечает на это сигналом тревоги. Последней эволюцией этой тревоги перед суперэго кажется мне страх смерти (страх за жизнь) – тревога проекции суперэго вовне в виде силы рока.

Прежде я придавал известное значение описанию, изображающему дело так, будто связанная до того энергия, освободившаяся при вытеснении, получает применение в виде оттока наружу чувства тревоги. Теперь это мне кажется вряд ли стоящим внимания. Различие состоит в том, что я прежде полагал, будто тревога в каждом случае возникает автоматически, вследствие экономического процесса, между тем как теперешний взгляд на тревогу, как на преднамеренный сигнал со стороны эго с целью оказать влияние на инстанцию «наслаждение – неудовольствие», освобождает нас от этой экономической зависимости. Разумеется нельзя ничего возразить против предположения, что эго для возбуждения тревоги пользуется энергией, освободившейся при вытеснении, но не имеет никакого значения, с какой именно частью энергии это совершается.

Другое высказанное мною некогда положение требует пересмотра в свете нашего нового понимания. Я имею в виду утверждение, что эго является местом развития тревоги, и полагаю, что оно окажется верным. У нас, действительно, нет никакого основания приписывать суперэго какое бы то ни было выражение тревоги. Но если речь идет о «тревоге ид», то приходится не возражать, а только исправить неудачное выражение. Тревога представляет собой аффективное состояние, которое, разумеется, может испытать только эго. Ид не может, подобно эго, испытывать тревогу, так как ид не представляет собой организации и не может судить о ситуации опасности. Но очень часто случается, что в ид подготовляются и совершаются процессы, которые дают эго повод к развитию тревоги. Действительно, вероятно, самые ранние вытеснения, как и большинство позднейших, мотивированы такой тревогой эго перед отдельными процессами и т. д. Мы опять-таки с полным основанием различаем два случая, когда (в одном случае) что-то совершается в ид, что активирует одну из ситуаций опасности для эго, заставляя эго, и когда (в другом случае) возникает ситуация, аналогичная травме при рождении, при которой автоматически появляется реакция тревоги. Различие между обоими случаями уменьшается, если подчеркнуть, что второй соответствует первой и первоначальной ситуации опасности, а первый – развившимся из нее позже условиям возникновения тревоги. Или, имея в виду встречающиеся в действительности заболевания, можно сказать, что второй случай имеет место в этиологии актуальных неврозов, а первый остается характерным для психоневрозов.

Мы видим, что нам не приходится обесценивать прежние открытия, а только привести их в связь с новыми взглядами. Нельзя отрицать, что при воздержании, при нарушении течения сексуального возбуждения, вследствие злоупотреблений, при отвлечении этого возбуждения от его психической переработки, тревога возникает непосредственно из либидо,

т. е. появляется то состояние беспомощности эго перед слишком большим напряжением потребности, которое, как и при рождении, заканчивается развитием тревоги. При этом возникает безразличная по существу, но очень легкая возможность того, что именно избыток неиспользованного либидо находит себе отток в развитии тревоги. Мы видим, что на почве этого актуального невроза особенно легко развиваются психоневрозы. А это значит, что эго делает попытки избавиться от тревоги, которую некоторое время удавалось держать в свободном, несвязанном состоянии, стараясь связать ее при помощи симптомообразования. Вероятно, анализ травматических военных неврозов – под этим названием, несомненно, понимаются очень различные заболевания – откроет, что некоторые из них близки к проявлениям актуальных неврозов.

Описывая развитие различных ситуаций опасности из первоначального прообраза – акта рождения, мы были далеки от утверждения, что всякое более позднее условие возникновения тревоги просто уничтожает предыдущее. Прогресс развития эго способствует, правда, тому, что прежняя ситуация опасности обесценивается и отбрасывается, так что можно сказать, что определенному возрасту соответствует адекватно определенное условие тревоги эго, подобно тому, как опасность утери объекта – несамостоятельности первых детских лет, кастрационная опасность – фаллической фазе, тревога суперэго – латентному периоду. Однако все эти ситуации и опасности и условия возникновения тревоги могут существовать одновременно и вынуждать эго к реакции тревоги не только в адекватные, но и в более поздние периоды, или несколько этих ситуаций могут действовать одновременно. Весьма возможно, что имеется и более тесная зависимость между действующей ситуацией опасности и формой вызванного ею невроза.

Когда в предыдущей части нашего исследования мы наткнулись на значение опасности кастрации не для одной только формы невротического заболевания, то уже сделали предупреждение о том, что нельзя слишком переоценивать этот момент, так как он не может иметь решающего влияния на лиц женского пола, которые, несомненно, более предрасположены к неврозу. Теперь мы убедились, что нам не угрожает опасность видеть в страхе кастрации единственный мотор процессов отражения, ведущих к образованию невроза. В другом месте я описал, как посредством кастрационного комплекса развитие маленькой девочки направляется в сторону нежной привязанности к объекту. Именно у женщины ситуация опасности потери объекта, как кажется, остается самой действительной. В отношении условия развития тревоги у нее мы должны ввести то маленькое изменение, что здесь речь идет уже не об отсутствии или реальной потере объекта, а только о потере любви со стороны объекта. Так как не подлежит сомнению, что истерия более свойственна женскому полу, подобно тому, как невроз навязчивости – мужскому, то весьма естественно предположить, что условие тревоги потери любви играет, вероятно, при истерии такую же роль, какую угроза кастрации – при фобиях и суперэго – при неврозе навязчивости.

IX

Нам остается теперь рассмотреть отношения между симптомообразованием и развитием тревоги.

Кажется, по этому поводу широко распространены два мнения. Согласно одному, сама тревога есть симптом невроза. Согласно другому, между обоими явлениями существует гораздо более тесное взаимоотношение. Согласно последнему мнению, симптомообразование совершается только для того, чтобы избавиться от тревоги; симптомы связывают ту психическую энергию, которая в противном случае нашла бы себе выход, в качестве тревоги, и тревога, таким образом, является основным феноменом и главной проблемой невроза.

По меньшей мере, частичная правильность этого второго утверждения можно доказать весьма убедительными примерами. Если агорафобия, которого сопровождали на улице, оставить там одного, то с ним делается припадок страха; если невротику, страдающему

навязчивостью, помешать вымыть руки после прикосновения к чему-нибудь «запрещенному», то он становится жертвой почти невыносимой тревоги. Совершенно очевидно, что условие, требующее сопровождения на улице и навязчивое действие мытья имеют целью своей – а также и следствием – не допустить такой вспышки тревоги. В этом смысле любое торможение, которое эго на себя налагает, может быть названо симптомом.

Так как мы объяснили развитие тревоги ситуацией опасности, то необходимо сказать, что симптомы создаются для того, чтобы избавить эго от ситуации опасности. Если помешать симптомообразованию, то опасность действительно наступает, т. е. создается состояние, аналогичное рождению, при котором эго чувствует себя беспомощным против все нарастающего требования влечения, или, другими словами, повторяется первая и самая первоначальная ситуация, обусловливающая развитие тревоги. С точки зрения наших взглядов, менее тесные взаимоотношения между тревогой и симптомом, чем это предполагалось, являются следствием того, что между тем и другим мы вставили еще момент ситуации опасности. В дополнение мы можем еще сказать, что развитие тревоги дает толчок к симптомообразованию, являясь необходимой предпосылкой его, так как если бы эго, вследствие развития тревоги, не растормошило бы инстанцию «удовольствие – неудовольствие», у него не было бы силы задержать подготовляющийся в ид опасный процесс. При этом совершенно очевидна тенденция ограничиться минимальным количеством тревоги, использовав ее только как сигнал. В противном случае неудовольствие, которым угрожает влечение, пришлось бы все-таки испытать, хотя и в другом месте. Это, с точки зрения принципа удовольствия, не составило бы никакой выгоды, хотя, однако, при неврозах встречается довольно часто.

Действительная выгода симптомообразования состоит, следовательно, в устранении ситуации опасности. В симптомообразовании имеются две стороны: одна, остающаяся скрытой от нас, создает в ид те изменения, при помощи которых эго избавляется от опасности, другая же, обращенная к нам, показывает, что вместо вытесненного влечения образовалось нечто его замещающее.

Нам следовало бы, однако, выражаться более точно и приписать процессу отражения сказанное нами только что по поводу симптомообразования, а само слово «симптомообразование» употреблять как синоним «замещающего образование». Тогда кажется совершенно ясным, что процесс отражения аналогичен бегству, посредством которого эго избавляется от угрожающей ему извне опасности, что процесс этот представляет собой именно такую попытку к бегству от опасности со стороны влечения. Возражения против такого сравнения помогут дальнейшему выяснению обстоятельств дела. Во-первых, можно возразить, что потеря объекта (потеря любви со стороны объекта) и угроза кастрации являются также опасностью, угрожающей извне, подобно хищному зверю, а не опасностью со стороны влечения. Однако все это не одно и то же. Волк, вероятно, набросился бы на нас, независимо от того, как мы себя ведем по отношению к нему; но любимый человек не лишил бы нас своей любви и кастрация не угрожала бы нам, если бы мы не питали в душе своей определенные чувства и намерения. Таким образом, эти влечения становятся условиями возникновения внешней опасности, и вместе с тем сами делаются опасными. Теперь мы можем бороться с внешней опасностью при помощи мер, принятых против внутренних опасностей. При фобиях животных опасность, очевидно, ощущается еще совершенно как внешняя, точно так же, как и в симптомах она переносится во вне. При неврозе навязчивости она переживается в гораздо большей мере внутри себя; доля тревоги перед суперэго – социальная тревога – воплощает еще внутреннюю замену внешней опасности, но другая часть, составляющая тревогу перед своей совестью, – безусловно эндопсихична.

Другое возражение гласит: при попытке к бегству от угрожающей извне опасности мы ведь только увеличиваем расстояние между собой и источником угрозы. Мы ведь не защищаемся от опасности, не пытаемся в ней самой ничего изменить, как, например, это имеет место в другом случае, когда мы идем с дубиной на волка или стреляем в него из

ружья. А процесс отражения как будто бы делает больше того, что соответствует попытке к бегству. Он вмешивается в течение угрожающего влечения, каким-то образом его подавляет, отклоняет от цели и этим делает безопасным. Это возражение кажется неопровержимым, с ним приходится считаться. Мы полагаем, что дело, пожалуй, обстоит так, что бывают процессы отражения, которые с полным правом можно сравнить с попыткой к бегству. Между тем, как и в других случаях, эго защищается гораздо активней, оказывая энергичное противодействие. Если сравнение отражения с бегством вообще невозможно, то благодаря тому, что эго и влечение, находящееся в ид, являются частями одной и той же организации, а не отдельными существами, как волк и дитя, любое поведение эго должно изменить процесс развития влечения.

Благодаря изучению условий тревоги мы вынуждены были рассматривать поведение эго при отражении, так сказать, в рациональном освещении. Каждая ситуация опасности соответствует определенному возрасту или фазе развития душевного аппарата и кажется вполне оправдываемой ими. В раннем детстве ребенок действительно не приспособлен к тому, чтобы справляться с большим количеством возбуждений, воспринятых извне или изнутри. В известном возрасте, действительно, самый важный интерес в жизни состоит в том, чтобы лицо, от которого зависишь, не отказало в нежной заботе. Если мальчик чувствует в сильном отце соперника у матери, замечает в себе агрессивные наклонности против отца и сексуальные намерения в отношении матери, то он прав, когда у него появляется тревога перед отцом и эта тревога наказания со стороны последнего, усиленная филогенетическими моментами, может проявиться как кастрационная тревога. С возникновением социальных взаимоотношений тревога перед суперэго – совестью – становится необходимостью и отсутствие ее – источником тяжелых конфликтов и опасностей и т. д. Но именно с этим связывается новая проблема.

Попробуем заменить аффект тревоги на минуту другим, например, аффектом боли. Мы считаем совершенно нормальным когда четырехлетняя девочка горько плачет, если у нее разбивается кукла, а шестилетняя, когда учительница делает ей выговор, и шестнадцатилетняя, если возлюбленный не обращает на нее внимания, а двадцатилетняя, может быть, когда хоронит ребенка. Каждое из этих условий душевной боли имеет свое время и проходит по истечении его; последнее и окончательное из этих условий сохраняется на всю жизнь. Но нам показалось бы странным, если бы эта девочка, уже будучи женщиной и матерью, стала бы плакать из-за порчи какой-нибудь безделушки. Но так именно ведут себя невротики. В их душевном аппарате уже давно развились все инстанции, необходимые для того, чтобы справляться с раздражениями в широких пределах, они уже достаточно взрослы, чтобы самостоятельно удовлетворять большинство своих потребностей, они давно уже знают, что кастрация больше не применяется как наказание, и тем не менее они ведут себя так, как будто остались еще старые ситуации опасности, они сохраняют все прежние условия развития тревоги.

Ответ на этот вопрос будет несколько пространный. Раньше всего он должен точней установить фактическую сторону. В большом числе случаев старые условия возникновения тревоги действительно отпадают после того, как они вызвали уже невротические реакции. Фобии самых маленьких детей перед одиночеством, темнотой и посторонними людьми, заслуживающие названия почти нормальных, большей частью проходят в несколько старшем возрасте, «из них вырастают», как говорят о некоторых других нарушениях детства. Столь частые фобии животных испытывают ту же участь, многие конверсионные истерии детства не имеют позже продолжения. Церемониал во время латентного периода встречается часто, и только очень незначительный процент случаев развивается позже в полный невроз навязчивости. Вообще детские неврозы, насколько показывает наш опыт работы с городскими детьми белой расы, к которым предъявляются более высокие требования культуры, представляют собой регулярные эпизоды развития, хотя им все еще уделяется слишком мало внимания. Нет ни одного взрослого невротика, у которого не было бы признаков детского невроза, между тем как далеко не все дети, проявляющие эти признаки,

впоследствии становятся невротиками. Таким образом, в течение созревания должны быть оставлены прежние условия развития тревоги, и ситуации опасности сохраняются в более поздние годы благодаря тому, что модифицируют свои условия развития тревоги соответственно требованию времени. Так, например, кастрационная тревога сохраняется под маской сифилофобии после того, как становится известно, что хотя кастрация и не применяется больше в наказание за удовлетворение сексуальных вожделений, но вместо нее, при свободном удовлетворении влечений, угрожают тяжелые заболевания. Другие условия развития тревоги, вообще, не должны исчезнуть, а сопровождают человека в течение всей жизни, как например, тревога перед суперэго. Невротик отличается в этом случае от нормального тем, что чрезмерно преувеличивает реакции на эти опасности. Наконец, и зрелый возраст не является достаточной защитой против первоначальной травматической ситуации тревоги: душевный аппарат каждого индивида в состоянии одолеть количество раздражений, требующих разрешения только до известного предела, выше которого он оказывается несостоятельным.

Эти небольшие дополнения никоим образом не могут иметь целью поколебать тот факт, о котором здесь идет речь, а именно, что поведение столь многих людей в отношении опасности остается инфантильным, что они не могут преодолеть многолетние условия развития опасности. Оспаривать это значит отрицать факт существования неврозов, потому что именно таких людей называют невротиками. Как же это возможно? Почему не все неврозы являются эпизодами развития? Откуда этот момент длительности в этих реакциях на опасность? Откуда берется это преимущество, которым аффект тревоги, по-видимому, пользуется перед всеми другими аффектами, именно, что только он один в состоянии вызвать реакции, которые отличаются ненормальным характером и, как нецелесообразные, противятся течению жизни? Другими словами, мы неожиданно снова стоим перед столь часто ставящимся вопросом: откуда берется невроз, что составляет его последний, ему одному свойственный мотив? По истечении длящихся несколько десятилетий аналитических исследований, встает перед нами эта проблема, не тронутая, как в самом начале.

X

Тревога является реакцией на опасность. Нельзя отказаться от мысли, что если аффект тревоги может отвоевать себе исключительное положение в душевной экономике, то это находится в связи с сущностью опасности. Но опасности общечеловечны – одни и те же для всех людей. Необходимо поэтому понять один момент, который остается нам неизвестным, а именно: причину различия между индивидами, которые в состоянии подчинить аффект тревоги, несмотря на его особенности, нормальному течению душевной жизни, или причину того, что другим это не удается. Мне известны две попытки прояснить этот момент. Вполне понятно, что делая подобную попытку, человек вправе рассчитывать на доброжелательное отношение, так как берется за решение насущной проблемы. Обе попытки дополняют друг друга, так как подходят к проблеме с противоположных концов. Первая предпринята более десяти лет тому назад Альфредом Адлером. Сущность его утверждения сводится к тому, что неудачу при одолении поставленных опасностью задач терпят те люди, которым большие трудности доставляет малоценность их органов. Если бы верно было, что Simplex sigillum veri, то такое решение проблемы следовало бы приветствовать. Однако, наоборот, критика прошлого десятилетия окончательно доказала полную несостоятельность этого объяснения, которое, к тому же, игнорирует полностью богатство вскрытых психоанализом фактов.

Вторую попытку предпринял в 1923 г. Отто Ранк в своей книге «Das Trauma der Geburt». Было бы несправедливо приравнять его работу к попытке Адлера в каком бы то ни было другом пункте, кроме указанного здесь (тождества темы). Он остается на почве психоанализа, мысли которого он дальше развивает и его труд необходимо признать как законное старание разрешить аналитические проблемы. В данном отношении между индивидом и опасностью Ранк обращает внимание не на слабость органа индивида, а на

изменчивую интенсивность опасности. Процесс рождения представляет собой первую ситуацию опасности. Происходящий при нем экономический отток раздражения становится прообразом реакции тревоги. Выше мы проследили линию развития, связывающую эту первую ситуацию опасности и первое развитие тревоги со всеми последующими, и при этом убедились, что все они имеют нечто общее, так как все означают в известном смысле разлуку с матерью – сперва в биологическом отношении, затем – в смысле прямой утери объекта, а впоследствии – непосредственной. Открытие этой важной связи составляет неоспоримую заслугу конструкции Ранка. Однако, травма рождения проявляется у отдельных индивидов с различной интенсивностью, а вместе с ее силой изменяется и сила реакции тревоги. По мнению Ранка, от этой первоначальной величины развития тревоги зависит, удастся ли индивиду научиться овладевать ею, т. е. станет ли он невротиком или здоровым.

Нашу задачу составляет не детальная критика положений Ранка, а только исследование того, насколько они пригодны для разрешения нашей проблемы. Формула Ранка, что невротиком становится тот, кому вследствие силы травмы рождения никогда не удается вполне эту травму «отреагировать», с теоретической точки зрения вызывает очень большие сомнения. Нельзя понять, что понимается под «отреагированием» травмы. Если понимать это дословно, то приходишь к недопустимому выводу, что невротик тем больше будет приближаться к выздоровлению, чем чаще и сильнее он станет репродуцировать аффект тревоги. Из-за этого противоречия действительности, я отказался в свое время от теории отреагирования, играющей такую большую роль в катарсисе. Подчеркивание изменчивой силы травмы рождения не оставляет места для вполне правильного понимания этиологической роли наследственной конституции. Такая травма представляет собой органический момент и по отношению к конституции является случайностью, зависящей от многих влияний, заслуживающих названия случайных, например, от своевременного оказания помощи при рождении. Учение Ранка вообще не принимает во внимание конституциональные и филогенетические факторы. Если же попытаться оставить место для значения конституции, вводя хотя бы ту модификацию, что большое значение имеет то обстоятельство, как сильно индивид реагирует на изменчивую интенсивность травмы рождения, то вся теория лишается своего значения, а вновь введенный фактор начинает играть только вторичную роль. Решающий момент в развитии невроза заключается в таком случае все же в какой-то другой, опять-таки неизвестной, области.

Тот факт, что процесс рождения переживается человеком наравне с другими млекопитающими, между тем как предрасположение к неврозу составляет его преимущество перед животными, вряд ли подтверждает учение Ранка. Но главным возражением остается то, что вся теория висит в воздухе, вместо того, чтобы основываться на точных наблюдениях. У нас нет удовлетворительных исследований вопроса, совпадают ли тяжелые и длительные роды с очевидным развитием невроза у ребенка, или о том, проявляют ли таким образом рожденные дети более долго и сильно феномены ранней детской боязливости. Если принять во внимание, что преждевременные и легкие для матери роды для ребенка, может быть, имеют значение тяжелых травм, то все же остается требование, чтобы роды, сопровождающиеся асфиксией, позволяли с уверенностью видеть указанные тяжелые последствия. Преимущество этиологии состоит, по-видимому, в том, что ею выдвигается момент, который может быть проверен на материале путем непосредственного опыта. До тех пор пока такая проверка действительно не предпринята, нет возможности дать ей верную оценку.

С другой стороны, я не могу присоединиться к мнению, что учение Ранка противоречит распространенному до сих пор в психоанализе этиологическому значению сексуального влечения. Это значение касается только отношения индивида к ситуации опасности и оставляет открытым вопрос о том, что тот, кто не смог справиться с первоначальными опасностями, окажется несостоятельным и перед возникающими позже ситуациями сексуальной опасности и благодаря этому заболеет неврозом.

Я не думаю поэтому, что попытка Ранка дала нам ответ на вопрос о причинах невроза,

и полагаю, что нет еще возможности решить в какой мере она может содействовать решению этого вопроса. Если исследование вопроса о влиянии тяжелых родов на предрасположения к неврозам даст отрицательные результаты, то значение попытки Ранка окажется ничтожным. Можно очень опасаться, что потребность найти несомненную и единую «последнюю причину» нервозности останется всегда неудовлетворенной. Идеальное положение, о котором, вероятно, и теперь мечтает медик, состояло бы в нахождении такой бациллы, которую можно изолировать в чистой культуре и прививка которой вызывала бы у каждого индивида то же заболевание. Или несколько менее фантастично: нахождение химических веществ, прием которых вызывает и прекращает определенные неврозы. Однако, подобное решение проблемы представляется маловероятным.

Психоанализ приводит к менее простым и менее удовлетворительным результатам. Я могу здесь только повторить давно известное, не прибавив ничего нового. Если эго удалось защититься от опасного влечения, например, благодаря процессу вытеснения, то хотя этим эго и затормозило это влечение и нанесло вред этой части ид, эго должно было одновременно дать последней и известную долю независимости и отказаться от части своего собственного господства над ней. Это вытекает из природы вытеснения, являющегося, по существу, попыткой к бегству. Вытесненное становится теперь «вольным как птица», оно исключено из большой организации эго и подчиняется только законам, господствующим в области бессознательного. А когда ситуация опасности меняется, так что у эго нет более мотива для отражения нового аналогичного вытесненному влечения, то последствия этого ограничения эго становятся очевидны. Новое течение влечения совершается под влиянием автоматизма – я предпочитаю сказать: навязчивого воспроизведения, – оно идет тем же путем, что и прежде вытесненное, как будто бы преодоления ситуации опасности не было. Фиксирующим моментом вытеснения является, таким образом, навязчивое воспроизведение в бессознательном – ид, – которое при нормальных условиях устраняется только благодаря свободной подвижной функции эго. Хотя эго иной раз может удаться разрушить преграды вытеснения им самим воздвигнутые, восстановить свое влияние на влечение и направить новое течение влечения в смысле изменившейся ситуации опасности. Но остается фактом, что часто ему это не удается, что эго не может устранить свои же собственные вытеснения. Для исхода этой борьбы могут иметь решающее значение количественные соотношения. В некоторых случаях у нас создалось впечатление, что решающее влияние носит тут насильственный характер, что регрессивное притяжение вытесненного душевного движения и сила вытеснения так велики, что новое переживание может подчиниться только навязчивому воспроизведению. В других случаях мы распознаем участие другой действующей силы: притяжение вытесненного прообраза усиливается благодаря отталкиванию со стороны реальных трудностей, противящихся другому течению нового влечения.

То, что таков именно путь фиксации вытеснения и сохранения влияния неактуальной уже ситуации опасности, доказывает сам по себе скромный, но теоретически чрезвычайно ценный факт аналитической терапии. Если мы в анализе оказываем эго помощь, дав ему возможность устранить его вытеснения, эго снова приобретает свою власть над вытесненным в ид и может дать влечению такое направление, как будто бы старой ситуации опасности не было. Достигаемое нами, таким образом, вполне совпадает с обычными возможностями нашей врачебной деятельности. Обыкновенно наша терапия должна довольствоваться тем, чтобы скорее, увереннее и с меньшими усилиями добиться того хорошего исхода, который при благоприятных обстоятельствах, наступил бы сам.

Приведенные соображения показывают, что количественные соотношения, которых нельзя непосредственно указать, но о которых можно судить путем обратного заключения, имеют решающее влияние на то, сохраняются ли старые ситуации опасности, остаются ли вытеснения эго и имеют ли продолжение детские неврозы. Среди факторов, являющихся причинами неврозов, создающих условия, при которых борются психические силы, для нас важны три: биологический, филогенетический и чисто психологический. Биологический

фактор составляет так долго затянувшаяся беспомощность и зависимость маленького человеческого детеныша. Внутриутробное существование человека кажется относительно сокращенным в сравнении с большинством животных. Человеческий детеныш появляется на свет менее зрелым. Благодаря этому усиливается влияние реального внешнего мира, рано развивается дифференциация между эго и ид, повышается значение опасности внешнего мира и ценность объекта, который один только в состоянии защитить от этих опасностей и заменить внутриутробную жизнь. Этот биологический момент восстанавливает, таким образом, первую ситуацию опасности и создает потребность быть любимым, с которой человек больше не расстается.

О существовании второго, филогенетического, фактора мы делаем заключение на основании чрезвычайно замечательного факта в развитии либидо. Мы находим, что сексуальная жизнь человека не развивается, подобно большинству родственных ему животных, постоянно и беспрерывно до наступления зрелости. Развитие либидо у человека происходит так, что после первого раннего расцвета в период до пятилетнего возраста наступает длительный перерыв в развитии, после чего, с наступлением зрелости, развитие возобновляется из инфантильных зародышей. Мы полагаем, что в судьбах человеческого рода произошло что-то важное, что оставило как исторический след этот перерыв сексуального развития. Патогенное значение этого момента проявляется в том, что большинство требований влечений этой детской сексуальности воспринимаются эго, как опасности и отвергаются им. Благодаря этому более поздние сексуальные душевные движения, которые возникают при наступлении зрелости и должны были бы быть приемлемы для эго, подвергаются опасности подчиниться притяжению инфантильных прообразов и последовать за ними в процессе вытеснения. Здесь мы сталкиваемся с самой прямой этиологией невроза. Замечательно, что ранний контакт с требованиями сексуальности оказывает на эго такое же влияние, как преждевременное соприкосновение с внешним миром.

Третий, психологический, фактор нужно искать в несовершенстве нашего душевного аппарата. Он находится в связи с дифференциацией этого аппарата на эго и ид и, в конечном счете, следовательно, объясняется влиянием и внешнего мира. Принимая во внимание опасности реальности, эго вынуждено защищаться от известных влечений ид, рассматривая их как опасности. Эго не может, однако, с таким же успехом защищаться против внутренних опасностей, как против части чужой ему реальности. Будучи тесно связано с ид, эго может только отражать опасность, исходящую от влечения, ограничивая свою собственную организацию и мирясь с симптомообразованием как с заменой части влечения. Если напор отвергнутого влечения возобновляется, то для эго возникают все опасности, известные нам как невротические страдания.

Дальше, полагаю я, наше понимание сущности и причин неврозов пока не пошло.

XI

В вышеизложенном были затронуты различные темы, которые должны были быть оставлены. Теперь постараемся снова собрать их для того, чтобы и им уделить внимание, которое они заслуживают.

А. Изменения высказанных прежде взглядов

а) Сопротивление и противодействие

Важную часть теории вытеснения составляет положение, что вытеснение не представляет собой процесс, совершающийся один только раз, а требует длительного постоянного усилия. Если бы это усилие отпало, то вытесненное влечение, беспрерывно получающее подпитку из своих источников, в следующий раз пошло бы тем же путем, от которого оно было оттеснено. Вытеснение не имело бы никакого успеха или же должно было бы повторяться без конца. Таким образом, беспрерывная природа влечений требует от эго, чтобы оно обеспечило свои реакции отражения посредством длительного напряжения. Это-

то действие в защиту вытеснения мы чувствуем при терапевтическом вмешательстве как сопротивление. Сопротивление предполагает то, что я назвал противодействием. Такое противодействие явно ощутимо при неврозе навязчивости. Оно проявляется здесь как изменение в эго, как реактивное образование в эго, посредством удаления той установки, которая противоположна вытесненному влечению (сострадания, совестливости, любви к чистоте). Эти реактивные образования при неврозе навязчивости представляют собой преувеличения нормальных черт характера, развившихся в течение латентного периода. Гораздо труднее открыть противодействие при истерии, где оно также необходимо с теоретической точки зрения. И здесь совершенно очевидна некоторая доля изменения в эго посредством реактивных образований, а при некоторых условиях это изменение настолько бросается в глаза, что привлекает к себе внимание как главный симптом состояния. Таким путем, например, разрешается амбивалентный конфликт при истерии, ненависть к любимому лицу подавляется чрезмерной нежностью и боязнью за него. Необходимо, однако, подчеркнуть, что, в отличие от невроза навязчивости, такие реактивные образования при истерии не относятся к общей природе черт характера, а ограничиваются только специальными отношениями к данному лицу. Истеричная женщина, например, обращается со страстной нежностью с ненавистными ей в сущности детьми, но от этого не становится любвеобильнее, чем другие женщины, и даже не более нежной к другим детям. Реактивное образование при истерии крепко держится одного определенного объекта и не становится общим предрасположением эго. Для невроза же навязчивости характерно именно это обобщение, ослабление связи с объектом, облегчение сдвига в выборе объекта.

Другой вид противодействия, кажется, больше соответствует своеобразным особенностям истерии. Вытесненное влечение может быть разбужено (снова усилено) с двух сторон: во-первых, изнутри, вследствие усиления влечения из внутренних источников его возбуждения; во-вторых, извне – посредством восприятия объекта, желанного для данного влечения. Истерическое противодействие направляется преимущественно вовне против опасного восприятия. Оно принимает форму особой бдительности, избегая посредством ограничения эго таких ситуаций, в которых могло бы иметь место такое восприятие. Или же этой бдительностью удается отвлечь внимание от этого восприятия, если таковое все-таки возникает. Французские авторы дали недавно этому явлению истерии особое название «скотомизация». Еще более странной, чем при истерии, эта техника противодействия проявляется при фобиях, когда внимание концентрируется на том, чтобы как можно больше удалиться от возможности опасного восприятия. Противоположное направление противодействия при истерии и фобиях – с одной стороны, и неврозе навязчивости – с другой, кажется значительным, хотя оно и не абсолютно. Оно наводит на мысль, что между вытеснением и внешним противодействием, как и между регрессией и внутренним противодействием (изменением эго посредством реактивного образования) имеется тесная связь. Отражение опасного восприятия составляет, впрочем, общую задачу неврозов. Той же цели должны служить различные заповеди и запреты невроза навязчивости.

Мы уже выяснили, что сопротивление, которое нам необходимо преодолеть в анализе, исходит от эго, крепко держащегося своего противодействия. Эго с трудом удается обратить свое внимание на восприятие и представление, избегать которых стало для него законом, или признать свои душевные движения, составляющие полную противоположность тому, что ему о себе известно. Наша борьба с сопротивлением в анализе основана на таком его понимании. Мы делаем сопротивление сознательным там, где оно, как это часто бывает, бессознательно, вследствие своей связи с вытесненным. Мы противопоставляем ему логические доводы, а когда оно становится сознательным или после этого обещаем выгоды и награды эго, если оно откажется от сопротивления. В сопротивлении эго не приходится сомневаться или каким-либо образом оправдывать его. Но зато возникает вопрос, объясняется ли только этим то трудное положение, с которым мы встречаемся в анализе. Опыт показывает, что эго все еще сталкивается с трудностями при устранении вытеснений и после того, как оно приняло решение отказаться от сопротивлений, и мы назвали эту фазу

напряженного усилия, следующую за таким похвальным решением, – фазой «проработки». Весьма легко открыть динамический момент, делающий такую проработку необходимой и понятной. Он может состоять только в том, что после устранения сопротивления эго приходится преодолевать еще силу навязчивого воспроизведения, являющегося результатом притяжения вытесненных влечений к бессознательным прообразам. И ничего нельзя возразить против желания назвать этот момент сопротивлением бессознательного. Пусть нам эти исправления не будут неприятны. Они желательны, если способствуют нашему пониманию, и в них нет ничего постыдного, если они не опровергают прежде сказанного, а только обогащают его, еще, может быть, ограничивают какое-нибудь обобщение или расширяют слишком узкий взгляд.

Трудно предположить, что благодаря этой поправке мы получили полный обзор всех видов сопротивления, с которым встречаемся в анализе. При дальнейшем углублении мы, напротив, замечаем, что приходится бороться с пятью видами сопротивления, исходящими с трех сторон, а именно: из эго, из ид и из суперэго. При этом эго оказывается источником трех различных в своей динамике форм сопротивления. Первое из этих трех сопротивлений эго представляет собой описанное выше сопротивление вытеснения, о котором мы меньше всего можем сказать что-нибудь новое. От него необходимо отличать сопротивление переноса, по природе своей точно такое же, как и предыдущее. Однако в анализе оно приводит к другим более ясным явлениям, т. к. в этом случае удается установить связь с аналитической ситуацией или с личностью аналитика, и таким путем снова ярко оживить вытеснение, которое должно было всплыть только в воспоминании. Сопротивлением эго, хотя совершенно другим по своей природе, является также сопротивление из выгоды, исходящее от болезни и основывающееся на том, что эго вбирает в себя симптом. Оно соответствует противодействию отказу от удовлетворения или облегчению состояния. Четвертый вид сопротивления – сопротивление ид – мы только что сделали ответственным за необходимость проработки. Пятое сопротивление – сопротивление суперэго – стало нам известно последним. Это самое непонятное, но не всегда самое слабое сопротивление, исходящее, по-видимому, из сознания своей вины (чувства вины или потребности в наказании). Ид противится всякому успеху, в том числе и выздоровлению при помощи анализа.

б) Тревога, возникающая вследствие превращения либидо

Защищаемый в этой работе взгляд на тревогу значительно отличается от того взгляда, который мне казался верным до сих пор. Раньше я рассматривал тревогу как общую реакцию эго при условии возникновения неудовольствия. Я старался оправдать ее возникновение всегда с экономической точки зрения и, основываясь на исследовании актуальных неврозов, предполагал, что либидо (сексуальное возбуждение) отклоненное и неиспользованное эго, получает выход в форме тревоги. Нельзя не заметить, что эти различные определения не совсем подходят одно к другому, по крайней мере, не следуют одно из другого. Кроме того, весьма похоже, что существует особенно тесная связь между тревогой и либидо, которая опять-таки не гармонирует с общим характером тревоги, как реакция неудовольствия.

Возражение против этого взгляда исходило из тенденции сделать эго единственным местом развития тревоги, т. е. было следствием сделанной в «Эго и Ид» попытки расчленения психического аппарата. Прежнее понимание совершенно оправдывало взгляд на либидо вытесненных влечений как на источник тревоги. С точки зрения нового понимания, эго скорей ответственно за эту тревогу. Следовательно, тревога эго, или тревога влечения ид. Т. к. эго работает с десексуализированной энергией, то в этом нововведении ослаблена также интимная связь тревоги и либидо. Надеюсь, что мне удалось по крайней мере выяснить противоречия, резко нарисовать очертания неуверенности.

Напоминания Ранка, что аффект тревоги, как и я сам сначала полагал, является следствием процесса рождения и воспроизведением пережитой тогда ситуации, вынудило подвергнуть новому пересмотру проблему тревоги. С его личным взглядом на рождение – как на травму, на состояние тревоги – как на реакцию на эту травму, на всякий вновь

возникающий аффект тревоги – как на попытку все полнее «отреагировать» эту травму, – я продвинуться вперед не мог. Выяснилась необходимость перейти от реакции тревоги к скрывающейся за ней ситуации опасности. С введением этого момента открылись новые точки зрения. Рождение стало прообразом всех позднейших ситуаций опасности, которые открылись за новыми условиями измененной формы существования и прогрессирующего психического развития. Но собственное значение рождения было ограничено, однако, также этим отношением тревоги к опасности. Испытанная при рождении тревога стала теперь прообразом аффективного состояния, которое вынуждено разделить участь всех аффектов. Оно репродуцируется автоматически в ситуациях, аналогичных его первоначальной ситуации, в виде нецелесообразной формы реакции, хотя в первой ситуации опасности оно было целесообразно. Или же эго получило власть над этим аффектом и само его репродуцировало, пользуясь им для предупреждения опасности, а также как средством вызвать вмешательство механизма «удовольствие – неудовольствие». Биологическое значение аффекта тревоги получило правильную оценку благодаря тому, что тревога была признана общей реакцией на ситуацию опасности. Роль эго как места развития тревоги была подтверждена, т. к. за эго признана была функция репродуцировать по мере надобности аффект тревоги. Таким образом указаны были двоякого рода формы возникновения тревоги в дальнейшей жизни: одна непроизвольная, автоматическая, всякий раз оправдываемая с экономической точки зрения, а именно, когда возникает ситуация опасности, аналогичная опасности при рождении; другая форма, репродуцируемая эго, когда такая опасность только угрожала, и имеющая целью своей стать призывом к избежанию этой опасности. В этом, втором случае возникновение тревоги в эго было подобно прививке болезни, чтобы избежать неослабленного приступа благодаря перенесенному ослабленному болезненному припадку. Эго как бы представляет себе живо ситуацию опасности, проявляя очевидную тенденцию ограничить это мучительное переживание только намеком, сигналом. Уже в деталях было описано, как при этом развиваются одна за другой различные ситуации опасности, оставаясь генетически связанными одна с другой. Может быть, нам удастся продвинуться еще дальше в понимании тревоги, если мы приступим к исследованию проблемы взаимоотношений между невротической и реальной тревогой.

Предполагаемое прежде прямое превращение либидо в тревогу значительно утеряло для нас свой интерес. Если мы все же примем его во внимание, то нам придется различать несколько случаев. В отношении тревоги, вызываемой эго в качестве сигнала, такое превращение не приходится принимать во внимание. Точно так же во всех тех ситуациях опасности, которые побуждают эго совершить вытеснение. Либидинозная энергия вытесненных влечений – как это ясней всего видно при конверсионной истерии – получает другое применение, а не испытывает превращения в тревогу и оттока в этой форме наружу. Однако, при дальнейшем исследовании ситуация опасности мы встретимся с таким случаем развития тревоги, который, вероятно, придется понимать иначе.

в) Вытеснение и отражение

В связи с обсуждением проблемы тревоги я снова выдвинул понятие или, скромнее выражаясь, термин, которым я в начале моих исследований тридцать лет тому назад воспользовался в виде исключения и позже больше не употреблял. Я имею в виду процесс отражения1. Впоследствии я заменил его вытеснением, но отношение между этими двумя терминами осталось неопределенным. Я полагаю, что будет, несомненно, полезно вернуться к старому понятию отражения, если условимся, что оно должно служить обозначением всех тех технических приемов, которыми пользуется эго при всех своих возможных конфликтах, ведущих к неврозу. Между тем название «вытеснение» останется для одного определенного метода отражения, который стал нам впервые лучше известен, чем другие, вследствие направления наших исследований.

И терминологическое новшество должно быть оправдано, если оно служит выражением нового подхода или расширением нашего понимания. Введение снова понятия отражения и ограничение понятия вытеснения обусловлено тем фактом, который уже давно

известен, но значение которого возросло благодаря некоторым новым открытиям. Наши первые знания о вытеснении и симптомообразовании мы приобрели при исследовании истерии. Мы видели, что содержание восприятия возбуждающих переживаний, содержание представлений патогенных мыслей забывается и исключается возможность репродукции их в памяти. Поэтому мы видели в удалении из сознания главный признак истерического вытеснения. Позже мы изучили невроз навязчивости и нашли, что при этом заболевании патогенные события не забываются. Они сохраняются в сознании, но пока еще непонятным образом «изолируются», так что приблизительно получается тот же результат, что и благодаря истерической амнезии. Однако различие (между этими двумя процессами) достаточно велико, чтобы оправдать наше мнение, что процесс, при помощи которого устраняется требование влечения при неврозе навязчивости, не может быть таким же, как и при истерии. Дальнейшие исследования нам показали, что при неврозе навязчивости под влиянием противодействия эго происходит регрессия влечений к прежней фазе либидо. Эта регрессия, хотя и не делая излишним вытеснение, очевидно, действует в таком же смысле, как и вытеснение. Далее мы убедились, что противодействие, которое приходится допустить и при истерии, играет при неврозе навязчивости, особенно большую роль в качестве реактивного изменения эго как защиты. Мы обратили внимание на способ «изолирования», технику которого мы еще не можем указать и который приобретает специальное симптоматическое выражение, и на процедуру, заслуживающую названия магической и сводящуюся к тому, чтобы «сделать совершившееся несовершившимся». Отрицающая тенденция последней процедуры не подлежит никакому сомнению, хотя с процессом «вытеснения» никакого сходства у нее нет. Эти факты послужили достаточным основанием, чтобы снова воспользоваться старым понятием отражения, которое может охватить все эти процессы, имеющие одинаковую тенденцию – защиту эго от требования влечений – и включать в это понятие вытеснение как один специальный случай. Значение такой номенклатуры повысится, если принять во внимание возможность того, что углубление наших исследований откроет тесную связь между особыми формами отражения и определенными заболеваниями, например, между вытеснением и истерией. Наше ожидание направляется дальше на возможность другой значительной зависимости. Весьма возможно, что наш душевный аппарат до наступления строгого разделения на эго и ид, до образования суперэго пользуется другими методами отражения, чем после достижения этих ступеней организации.

Дополнение к учению о тревоге

Аффект тревоги обладает некоторыми чертами, которые необходимо исследовать, чтобы продвинуться в изучении проблемы. Тревога имеет очевидное отношение к ожиданию. Можно испытывать тревогу перед чем-нибудь. Ей присущ характер неопределенности и беспредметности. Когда тревога находит свой объект, то это слово заменяется в нашей речи словомбоязнь. Кроме отношения к опасности, тревога имеет еще отношение к неврозу, и на выяснение этого последнего отношения уже много времени направлены наши усилия. Возникает вопрос, почему не все реакции тревоги невротичны? Почему мы многие из них признаем нормальными? Наконец, различие между реальной тревогой и невротической тревогой требует основательного исследования.

Обратимся к этой последней задаче. Успех нашего исследования состоял в том, что от реальной тревоги мы перешли к ситуации опасности. Допустим такое же изменение в проблеме реальной тревоги, и разрешение ее окажется легким. Реальная опасность – это такая, которая нам известна, реальная тревога – это тревога перед такой известной нам опасностью. Невротическая тревога – это тревога перед опасностью, которая нам неизвестна. Невротическую опасность необходимо поэтому искать. Анализ нам показал, что она представляет собой опасность, исходящую от влечения. Доводя до сведения эго эту неизвестную ему опасность, мы уничтожаем различие между реальной тревогой и

невротической тревогой и можем относиться к последнему, как к первому.

В положении реальной опасности мы проявляем две реакции: аффективную вспышку тревоги и защитное действие. Весьма вероятно, что при опасности, исходящей от влечения, происходит то же самое. Нам известен случай целесообразного совместного действия обеих реакций, когда одна реакция дает сигнал для вступления в действие другой реакции. Однако мы знаем также и нецелесообразный случай – случай парализующей тревоги, когда одна реакция распространяется за счет другой.

Встречаются случаи, когда признаки реальной тревоги и невротической проявляются в смешанном виде. Опасность известна и реальна, но тревога перед ней чрезмерно велика, больше, чем должна была бы быть, по нашему мнению. В этом «больше» проявляется невротический элемент. Но в этих случаях нет ничего принципиально нового. Анализ показывает, что с известной реальной опасностью связана неизвестная опасность, исходящая от влечения.

Мы сможем узнать о тревоге больше, если не удовлетворимся сведением ее к опасности. Что составляет ядро, значение ситуации опасности? Очевидно, оценка собственной силы в сравнении с величиной опасности, признание нашей беспомощности перед ней: материальной беспомощности – в случае реальной опасности, психической беспомощности – в случае опасности, исходящей от влечения. Наше суждение руководствуется при этом действительным опытом. Ошибается ли оно в своей оценке – для результата это безразлично. Назовем такую пережитую ситуацию беспомощноститравматической. У нас имеется в таком случае достаточно оснований отличать травматическую ситуацию от ситуации опасности.

Важный прогресс в нашем самосохранении составляет положение, когда мы не ждем наступления такой травматической ситуации беспомощности, а предвидим ее, предвосхищаем ее. Ситуация такого ожидания, называется ситуацией опасности, и при ее наступлении дается сигнал тревоги. Последний означает: я жду, что создастся ситуация беспомощности или ситуация данного момента напоминает мне испытанное прежде травматическое переживание. Я предупреждаю поэтому эту травму, хочу вести себя так, как будто бы она уже наступила, пока еще не поздно уклониться от нее. Тревога является поэтому, с одной стороны, ожиданием травмы, а с другой стороны – смягченным воспроизведением ее. Оба признака, замеченные нами в тревоге, имеют различное происхождение. Тревога как ожидание принадлежит к ситуации опасности, ее неопределенность и беспредметность – к травматической ситуации беспомощности, антиципированной ситуации опасности.

После развития ряда: тревога, опасность, беспомощность (травма) – мы пришли к следующему выводу: ситуация опасности представляет собой узнанную, вспоминаемую, ожидаемую ситуацию беспомощности. Тревога представляет собой первоначальную реакцию на беспомощность при травме, реакцию, репродуцируемую затем при ситуациях опасности как сигнал о помощи. Эго, пережившее пассивно травму, воспроизводит активно ослабленную репродукцию ее в надежде, что сможет самостоятельно руководить ее течением. Нам известно, что дитя ведет себя таким же образом в отношении всех мучительных для него впечатлений, воспроизводя их в игре. Переходя таким образом от пассивности к активности, ребенок старается психически одолеть свои жизненные впечатления. Если таков смысл «отреагирования травмы», то против этого ничего нельзя возразить. Однако решающим моментом является первый сдвиг (Verschiebung) реакции тревоги от ее происхождения и ситуации беспомощности на ожидание этой ситуации, т. е. на ситуацию опасности. Затем следуют дальнейшие сдвиги от опасности на условия опасности, на утерю объекта и на упомянутые уже видоизменения последней.

«Избалованность» маленького ребенка влечет за собой то нежелательное последствие, что опасность утери объекта – объекта как защиты против всех ситуации беспомощности – превышает все другие опасности. Она благоприятствует, таким образом, сохранению

состояния детства, которому свойственна моторная и психическая беспомощность.

До сих пор у нас не было повода смотреть на реальную тревогу иначе, чем на невротическую. Нам известно различие между ними: реальная опасность угрожает от внешнего объекта, невротическая же – от требования влечения. Поскольку это требование влечения представляет собой нечто реальное, можно признать, что и невротическая тревога имеет реальное основание. Мы поняли, что кажущееся, особенно интимное взаимоотношение между тревогой и неврозом объясняется тем фактом, что эго защищается при помощи реакции тревоги от опасности, исходящей от влечения так же, как от внешней реальной опасности. Но это направление деятельности отражения вследствие несовершенства душевного аппарата приводит к неврозу. Мы пришли также к убеждению, что требование влечения часто становится (внутренней) опасностью только потому, что удовлетворение его привело бы к внешней опасности, следовательно, потому, что эта внутренняя опасность представляет собой внешнюю.

С другой стороны, и внешняя (реальная) опасность должна превратиться во внутреннее переживание для того, чтобы приобрести значение для эго, которое должно опознать по отношению к ранее пережитой ситуации беспомощности*. Инстинктивное знание угрожающих извне опасностей, по-видимому, не врожденное у человека или же врожденное в очень незначительной степени. Маленькие дети беспрестанно проделывают вещи, которые угрожают их жизни, и именно поэтому не могут обойтись без защищающего их объекта. В отношении травматической ситуации, против которой оказываешься беспомощным, совпадает внешняя и внутренняя опасность, реальная опасность и требование влечения. Эго может в одном случае пережить боль, которая не прекращается, в другом случае – нарастание потребности, которая не может найти удовлетворения; в обоих случаях экономическая ситуация будет одна и та же, и моторная беспомощность находит себе выражение в психической беспомощности.

Загадочные фобии раннего детства заслуживают еще раз упоминания в этом месте. Некоторые из них – тревога одиночества, перед темнотой, посторонними людьми – мы могли понять как реакцию на опасность утери объекта. Относительно других – маленьких животных, грозы и т. п. – может быть, правильно объяснение, что они представляют собой заглохшие остатки врожденной приспособленности к реальной опасности, так ясно выраженной у других животных. Для человека целесообразна только та доля архаического наследства, которая относится к потере объекта. Когда такие детские фобии фиксируются, усиливаются и сохраняются до позднего возраста, анализ показывает, что содержание их связалось с требованием влечений и стало выражением также и внутренних опасностей.

Тревога, боль и печаль

О психологии процессов чувств известно так мало, что нижеследующие робкие замечания могут притязать только на самое снисходительное отношение. Проблема встает перед нами в следующем пункте. Мы вынуждены были сказать, что тревога является реакцией на опасность потери объекта. Однако нам уже известна такая реакция на потерю объекта, а именно – печаль. Когда же в таком случае наступает одна реакция, а когда другая? В отношении печали, которую мы уже прежде подвергли исследованию1, одна черта осталась совершенно непонятной – сопровождающая ее особенная душевная боль. Что разлука с объектом причиняет боль – это нам кажется, тем не менее, само собой понятным. Проблема усложняется таким образом еще больше: когда разлука с объектом сопровождается тревогой, когда вызывает печаль, а когда, может быть, причиняет только душевную боль?

Скажем сразу, у нас нет никакой надежды дать ответы на эти вопросы. Мы должны будем довольствовать тем, что найдем некоторые различия и некоторые отдаленные указания.

Исходным пунктом для нас будет опять-таки та же ситуация, которую, как нам

кажется, мы понимаем – ситуация младенца, находящего, вместо матери, постороннее лицо. Он проявляет в таком случае тревогу, которую мы объяснили опасностью потери объекта. Однако его реакция сложней и заслуживает более детального обсуждения. В тревоге младенца хотя и не приходится сомневаться, однако выражение лица его и реакция плача заставляют думать, что кроме тревоги он испытывает еще и душевную боль. Похоже на то, что у него сливается то, что впоследствии разъединяется. Он еще не умеет различать временного отсутствия и длительной потери. Если он на один только миг не замечает матери, то ведет себя так, как будто бы уже никогда больше не сможет увидеть ее. Ему необходимо на неоднократном опыте убедиться, чтобы узнать, что за таким исчезновением матери обыкновенно следует снова ее появление. Мать способствует созреванию в нем этого важного познания, играя с ним в известную игру, при которой закрывает от него свое лицо, а затем, к радости его, снова открывает. Он может в таком случае, так сказать, испытать тоску, не сопровождающуюся отчаянием.

Отсутствие матери представляет собой, вследствие непонимания ребенка, не ситуацию опасности для него, а только травматическую, или правильней, она становится травматической, когда он испытывает в этот момент потребность, которую мать должна удовлетворить. Но эта ситуация превращается в ситуацию опасности, если эта потребность не актуальна. Первое условие тревоги, которое эго само вводит, представляет собой, таким образом, отсутствие восприятия, равноценное утере самого объекта. О потере любви еще речи нет. Позже опыт учит, что объект может остаться, но рассердиться на ребенка и в таком случае утеря любви со стороны объекта становится новой, гораздо более постоянной опасностью и условием развития тревоги.

Травматическая ситуация отсутствия матери отличается в одном важном пункте от травматической ситуации рождения. Тогда не было объекта, который мог бы исчезнуть. Тревога остается единственной реакцией, какая имела место. С тех пор неоднократно повторяющиеся ситуации удовлетворения создали объект в лице матери, который в случае появления потребности вызывает интенсивный приток чувства, заслуживающего названия «тоски». Реакцию душевной боли приходится отнести за счет этого нового обстоятельства. Боль является, таким образом, реакцией на потерю объекта, а тревога – реакцией на опасность, заключающуюся в этой потере, а в дальнейшем развитии – реакцией на опасность потери объекта.

Об этой боли нам также очень мало известно. Единственное несомненное указание дает факт, что боль – сперва и обыкновенно – возникает тогда, когда действующее на периферию раздражение нарушает предохранительные меры защиты от раздражений и действует, как длительное раздражение влечения, против которого беспомощными оказываются действенные мускульные реакции, удаляющие раздраженное место тела от раздражителя. Если боль исходит не от кожи, а от внутреннего органа, то при этом ничего не меняется. Вместо внешней периферии тут местом действия является часть внутренней периферии. Ребенку, очевидно, представляется случай испытать подобные переживания боли, независимые от его переживаний потребностей. Однако это условие возникновения боли имеет как будто мало сходства с потерей объекта. Совершенно отсутствует также у ребенка в ситуации тоски существенный для боли момент периферического раздражения. И тем не менее не может быть лишено смысла то обстоятельство, что наш язык создал понятие внутренней душевной боли и уподобил ощущение от потери объекта телесной боли.

При физической боли возникает высокая нарциссическая оценка больного места на теле, все возрастающая и действующая, так сказать, опустошающе на эго. Известно, что при болях во внутренних органах у нас возникают пространственные и другие представления о таких частях тела, которые обыкновенно отсутствуют в нашем сознательном представлении. Также замечателен факт, что интенсивные физические боли не возникают при психическом отвлечении внимания на другие интересы (здесь нельзя сказать: остаются бессознательными). Этот факт находит объяснение в концентрации психической энергии на психическом «представительстве» (представление о) больного места. В этом пункте, по-

видимому, заключается аналогия, позволившая перенести ощущение боли на психическую область. Интенсивная, все возрастающая вследствие своей неудовлетворенности тоска по отсутствующему (утерянному) объекту создает те же экономические условие, что и боль в пораненном месте тела и создает возможность не замечать периферическую обусловленность физической боли! Переход от телесной боли к душевной соответствует превращению нарциссической концентрации энергии в концентрацию на объекте. Представление об объекте, очень яркое под влиянием потребности, играет роль места тела, на котором сконцентрировалось сильное раздражение. Длительность и отсутствие задержек в процессе концентрации энергии создают такое же состояние психической беспомощности. Если возникающее в таком случае неприятное ощущение носит специфический и не поддающийся более точному описанию характер боли, вместо того, чтобы проявиться в форме реакции тревоги, то проще всего сделать за это ответственным момент, обычно при объяснении мало принимавшийся во внимание. Я имею в виду высокий уровень условий концентрации и связывания энергии, при котором происходят эти процессы, приводящие к неприятным ощущениям.

Нам известна еще другая, чувственная реакция на утерю объекта – печаль. Ее объяснение не представляет больше трудности. Печаль возникает под влиянием требования реальности – категорического требования разлуки с объектом, уже не существующим. Она должна выполнить работу отказа от объекта во всех тех ситуациях, в которых он был предметом высокой концентрации психической энергии. Болезненный характер этой разлуки только что объяснен: причина этому – сильная неутолимая тоска по объекту при воспроизведении ситуации, в которой должна быть разрушена привязанность к объекту.

1925

Вместо послесловия. Человек перед страхом смерти и пустоты Из книги Ж. Батая «Внутренний опыт»

Мир дан человеку как загадка, которую следует разгадать. Полностью мы обнажаемся лишь тогда, когда без малейшего лукавства идем навстречу неизвестности. Но, в конце концов, неизвестное требует безраздельного господства.

Философия никогда не бывает казнением, но без казнения не бывает ясных ответов: никогда ответ не предшествует вопросу, и что значит вопрос, если в нем нет тоски, нет казнения. Ответ приходит в миг безумия: без казнения как услышать его?

Самое существенное – край возможного, когда сам Бог отчаивается, не может больше знать и убивает.

Бесконечный спуск в ночь существования. Бесконечное казнение неведением, болото тоски. Скользить над бездной в совершенной темноте, испытывая весь ее ужас. Содрогаться, отчаиваться, не отступать перед стужей одиночества, вечной тишиной человека (нелепость всякой фразы, иллюзорность всех на свете фраз, ответ приходит только от бессмысленной тишины ночи). Использовать слово «Бог», чтобы достигнуть самого дна, самой бездны одиночества, отказываясь знать, слышать его голос. Не ведать о Нем. «Бог» – последнее слово, которое хочет сказать, что дальше слов нет; отметить его красноречие (оно неизбежно) и рассмеяться над ним, дойдя до блаженства неведения (смеху уже не до смеха, слезам – не до слез). Дальше раскалывается голова: человек не есть созерцание (лишь убегая, он обретает умиротворение), человек – это казнение, война, тоска, безумие.

Голос добрых апостолов: у них на все есть ответ, они указывают пределы, незаметно подсказывают, по какому пути следует идти, – словно распорядители на похоронах.

Чувство сообщничества: в отчаянии, безумии, любви, казнении. Нечеловеческая, взъерошенная радость сообщения, ничего кроме отчаяния, безумия, любви, да еще: смех, смятение, тошнота, утрата себя в самой смерти.

Край возможного. – Вот он, наконец. А вдруг уже поздно?.. Да и как, оставаясь в неведении, дойти до него (по правде говоря, ничего не меняется)? – по какому обходному

пути? Один смеется (заливаясь), другой путается в собственной лжи и бьет жену, а то еще пьют мертвую или пытают до смерти.

Абсурдно читать то, что должно разрывать сердце до смерти, а предварительно зажечь лампу, разобрать кровать, чего-нибудь выпить, завести часы. Пустячное дело – хотеть быть человеком, которого несет течением, который никогда не загоняет себя в угол, не припирает себя к стенке; так становятся пособником инертности. Странно, однако, то, что, покидая себя, упускаешь из виду взятую на себя ответственность: нет ничего более удручающего, это неискупимый грех – увидеть возможность и оставить ее ради чечевичной похлебки хоть какой-нибудь жизни. Возможность безмолвствует, не угрожает, не проклинает, но тот, кто из страха смерти позволяет ей умереть, будет всего лишь обманщиком – вроде облака, которое обманывает долгое ожидание солнца.

Не могу вообразить себе человека, который смеялся бы над той высшей возможностью, что сама всему смеется в лицо, – смеялся бы, поворачиваясь без лишних слов спиной ко всему, что мешает отдаться очарованию жизни, смеялся бы, но не покидал при этом себя, пусть хотя бы однажды. Но если однажды изнеможение овладеет им, если в изнеможении откажется он идти до конца (по пути изнеможения, когда сама возможность этого потребует, даст ему знать, что ждет этого от него), тогда он совсем покидает себя, и за это в ответе его невиновность: в нем начинается неуловимая игра греховности, раскаяния, симуляции раскаяния, затем полного и заурядного забвения.

* * *

Если взглянуть на историю людей, на историю каждого человека – взглянуть на них как на историю бегства: сначала от жизни, это грех, затем от греха, это долгая ночь, наполненная идиотским смехом, в самой глубине которой тоска.

В общем, каждый заслужил право на отсутствие, на достоверность, каждая улица – словно лицо, отмеченное этой победой…

По определению, край возможного является той точкой, в которой человек – несмотря на внеразумную позицию, занимаемую им в бытии, – отрешившись от обмана и страха, не может уже пойти дальше. Бесполезно говорить о том, сколь тщетна чистая игра сознания без тоски (хотя философия замыкает себя в этом тупике). Тоска – тоже средство познания, как и сознание, край возможного, – такая же жизнь, как и знание. Как и тоска, сообщение – это жизнь и знание, это значит жить и познавать. Край возможного предполагает смех, экстаз, трепетное приближение смерти, предполагает заблуждение, тошноту, непрестанное брожение возможного и невозможного и, в конечном итоге, разбитое, однако желанное состояние казни, его медленное и постепенное поглощение отчаянием. Посему ничто из того, что человек может знать, не может быть отвергнуто без риска полного провала, греха (белее того, поскольку на кону самое главное, я думаю также о худшей из напастей, об отступничестве: для того, кто почувствовал однажды, что он зван, нет ни объяснений, ни прощения, ему не остается ничего другого, как оставаться на своем месте). Всякий, кто не движется к краю, – слуга или недруг человека. В той мере, в какой он не содействует каким-нибудь рабским трудом всеобщему существованию, его отступничество усиливает презренную судьбу человека.

Познание вульгарное или познание, обретенное в смехе, тоске либо в другом подобном опыте, подчинены – что вытекает из правил, которым они следуют, – краю возможного. Каждый вид познания значим в своих пределах, причем следует знать, что может значить этот вид познания, если край тут, рядом, следует знать, что ему добавляет опыт крайности. Прежде всего, следует знать, что на краю возможного все обрушивается: рушится само здание разума, в миг немыслимого мужества рассеивается вся его величественность; из этих руин поднимаются шаткие останки, им не успокоить чувства смятения. Бесстыдно и тщетно кого-то обвинять: так было нужно, ничто не может устоять перед необходимостью двигаться дальше. Иной, если потребуется, заплатит безумием.

Современный человек, человек уничтоженный (но ничего не получивший взамен), наслаждается спасением на земле. Киркегор – крайность христианства. Достоевский (в «Записках из подполья») – стыда. В Достоевском крайность явилась результатом разложения, но это разложение – словно зимний паводок: ничто не могло его удержать. Нет ничего более страдальческого, болезненного, бледная немочь религиозности. В «подполье» крайность отнесена за счет нищеты. Обман, как и у Гегеля, но Достоевский выходит из положения иначе. Христианство, может быть, не запачкано казнением, болотом стыда. Говорят: «…да это вызвано только тем…», но нет, ибо дело в том (за исключением двусмысленных случаев), чтобы именно унизить, обесценить. Пока я далек от того, чтобы стоном стонать: не то зло, что крайность достигается через стыд, но то, что ее ограничивают стыдом! Отбросить крайность (в глубине себя восхитившись ею) в сторону демонического, отбросить любой ценой – значит изменить ей.

В бесконечном ужасе войны люди – толпами – подступают к страшному краю. Но человек далек от того, чтобы хотеть ужаса (и крайности): пытаться избежать неизбежного – вот что выпало на его долю. Его глаза, хотя и жаждут света, упорно избегают солнца, а кротость взгляда только изобличает сумерки, быстро навеваемые сном: если всмотреться в человеческую массу, в ее непроницаемые глубины, то становится видно, как она погружается в сон, как она все дальше и дальше уходит в себя, замыкается в оцепенении. Однако рок слепого движения отбрасывает ее к крайности, наступает день, когда она к ней устремляется.

Ужас войны превосходит ужас внутреннего опыта. В скорби поля брани есть нечто более тягостное, чем «темная ночь» человека. Но на поле сражения навстречу ужасу увлекает более сильное движение: действие, проект, связанный с действием, позволяет преодолеть ужас. Это преодоление придает действию пленительное величие, но тем самым ужас отрицается.

*** * ***

Теперь тот, кто станет сожалеть о толпах людей, теряющих жизнь (по мере того, как над ними властвуют проекты), мог бы обрести простоту Евангелия: красота слез, тоска сделали бы его слова прозрачными. Я говорю об этом как можно проще (хотя злая ирония переполняет меня) – не могу идти впереди других. Впрочем, весть моя отнюдь не благая. Да это и не «весть», а в известном смысле тайна.

Стало быть, если не смеешься или не… то говорить, думать – значит увиливать от существования: не умирать, но быть мертвым. Это значит быть в потухшем и покойном мире, где мы обычно влачим свое существование; тут все приостановлено, жизнь откладывается на потом, все откладывается и откладывается… Самый изощренный вариант бегства представлен в одном декартовом утверждении. (Девиз Декарта: «Larvatus prodeo»; иду вперед под маской: мною владеет тоска, и я мыслю, мысль приостанавливает во мне тоску, я есмь бытие, наделенное властью приостанавливать в себе само бытие. После Декарта: мир «прогресса», другими словами, проекта, – наш мир. Правда, война нарушает его спокойствие; мир прогресса влачит свои дни, но в смятении и тоске.)

По словам Иоанна Креста, мы должны подражать крушению Бога (Христа), Его агонии; христианство, ежели испить его чашу до дна, ведет к отсутствию спасения, к отчаянию Бога. Оно угасает, поскольку достигает своих целей, испустив дух. Агония Бога в личности человека неотвратима, это бездна, в которую его толкало смятение. Агонии Бога мало дела до объяснения греха. Она оправдывает не только небо (мрачное свечение сердца), но и ад (детскость, цветы, Афродита, смех).

Вопреки тому, как дело обстоит с виду, забота о невзгодах – это мертвая часть христианства. Это тоска, которую можно свести к проекту: до бесконечности жизненная формула, день ото дня прибывает тупоумия, вместе с тем усиливается состояние смерти. Поскольку в общей человеческой массе существование и тоска теряют друг друга в проекте,

жизнь откладывается на потом. Разумеется, к этому примешивается некая двусмысленность: в христианстве жизнь осуждается, а люди проекта одобряют ее; христиане ограничили ее экстазом и грехом (это была позитивная позиция), прогресс отрицает экстаз, отрицает грех, смешивает жизнь и проект, одобряет проект (работу): в мире прогресса жизнь не что иное, как узаконенная детскость, надо лишь признать проект серьезным делом существования (тоска, которую питают невзгоды, необходима авторитету, но дух занят проектом).

Несколько строк из прочитанной недавно брошюры: «Очень часто я думал о том дне, когда будет ознаменовано рождение человека, глаза которого будут действительно смотреть внутрь. Его жизнь была бы чем-то вроде нескончаемого подполья, освещенного блеском мехов, и ему нужно было бы лишь вслушиваться в себя, чтобы полностью погрузиться в то, что он имеет общего с остальным миром и что остается для нас чудовищно недоступным. Мне бы хотелось, чтобы всякий, кто подумает о том, что когда-нибудь, благодаря всеобщему договору людей и мира, рождение такого человека станет возможным, мог бы – подобно мне – залиться слезами радости». За этим следует несколько страниц, в которых выражается в основном не внутреннее, а внешнее устремление. Возможность рождения подобного человека оставляет – увы! – мои глаза сухими, меня бросает в жар, слез больше нет.

Что может значить этот «Золотой век», эта тщетная забота о «наилучших условиях», это болезненное стремление к единодушному человеку? По правде говоря, воля к исчерпывающему опыту всегда начинается с эйфории. Невозможно понять, на что идешь, какую цену придется заплатить – однако потом платят не зная пресыщения; никто не мог знать ни меры собственного краха, ни меры стыда за то, что крах был не окончательным. Тем не менее, если я вижу, что люди не могут вынести жизненной муки, что они задыхаются, бегут что есть сил от тоски, прибегают к проекту, то моя тоска от тоски этих непосед только умножается.

*** * ***

Когда я замыкаюсь в тоске, когда я опускаюсь на самое ее дно, моя радость оправдывает человеческое тщеславие, необозримую пустыню тщеславия, ее темный горизонт, за которым прячутся страдание и ночь, – моя мертвенная и божественная радость.

Что я пишу – призыв! Наибезумнейший, предназначенный для тех, кто глух. Я обращаюсь к ближним с молитвой (по крайней мере, к некоторым из них), но тщетен крик человека в пустыне! Вы таковы, что, случись вам узнать, каковы вы на самом деле, вы не смогли бы больше быть такими, как есть. Ибо (здесь я падаю на землю) имейте жалость! Я увидел, каковы вы на самом деле.

Гнусное существо, зверь (хоть криком кричи от холода) поместило возможное на землю. Возникает очаровательная (лестная) идея: существо преследует идею, ловит. Но если это возможное действительно оказывается, хотя бы на земле?

Существо забывает о нем. Решительно, оно о нем забывает! Так и есть: уходит…

Да будет бесконечно благословенна смерть, без которой «личность» принадлежала бы этому миру-и-так-далее. Нищета людей, что оспаривают у смерти возможности мира-и-так-далее. Радость умирающих, что уходят, как волна за волной. Непоколебимая радость умирающего, пустыни, падения в бездну невозможного, безответный вскрик, тишина смертельной случайности.

Христианину легко драматизировать жизнь: он живет перед ликом Христа, для него это нечто большее, чем он сам. Христос – всецелость бытия, однако он, совсем как «любовник», имеет личность, совсем как «любовник», желанен: и вдруг казнь, агония, смерть. Кто верует в Христа, идет на казнь. В Христа, которого самого ведут на казнь: не на какую-нибудь казнь, на смертную муку, на божественную агонию. Кто верует в Христа, не просто имеет возможность дойти до казни, но лишен возможности ее избежать: это казнь, в которой казнят что-то большее, чем он, в которой казнят самого Бога, который является человеком в не меньшей степени, чем сам человек, который не меньше, чем человек, может казнить себя.

Недостаточно признать что-то, иначе это будет игра одного ума, нужно, чтобы признание нашло себе место в сердце (полуслепые внутренние движения…). Это уже не философия, это жертвоприношение (сообщение). Странное совпадение между наивной философией жертвоприношения (в Древней Индии) и философией казнящегося незнания: жертвоприношение, движение души, перенесенное в познание (произошла перемена в направлении этого движения: прежде оно шло от сердца к разуму, теперь наоборот).

Самое странное – то, что незнание имеет свои предписания. Словно бы извне нам было сказано: «Ну вот, и ты здесь». В пути незнания полным-полно бессмыслия. Я мог бы сказать: «Свершилось!» Но нет. Ибо, даже только предположив такое, я обнаруживаю перед собой те же границы горизонта, что исчезли мигом раньше. Чем больше я углубляюсь в знание – пусть даже по пути незнания – тем тяжелее, тоскливее становится незнание конечное. В самом деле, я отдаю себя незнанию, это сообщение, и коль скоро сообщаюсь я с превращенным незнанием в бездну миром тьмы, то осмеливаюсь говорить «Бог»; так и возникает новое знание (мистическое), но я не могу уже остановиться (не могу – но надо же перевести дух); «Бог, если бы он только знал». И дальше, все время дальше. Бог вместо овна, подвернувшегося Аврааму. Это уже не жертвоприношение. Оно будет дальше – во всей наготе, без овна, без Исаака. Жертвоприношение – это безумие, отречение от всякого знания, падение в пустоту, и ничто не открывается ни в падении, ни в пустоте, ибо откровение пустоты есть не что иное, как средство пасть еще ниже, в бездну отсутствия.

* * *

Коль скоро обращенное на мое «я» сознание уклоняется от мира, коль скоро, трепеща, я оставляю всякую надежду на логическое с ним соглашение и обрекаю себя на недостоверность – для начала на мою собственную, а затем и на недостоверность всего и вся (сыграть пьяного – шатаясь, он мало-помалу принимает свою свечу за себя, задувает ее и, закричав от страха, принимает себя за ночь) – в тоске, в слезах я могу уловить мое «я» (могу даже, продлевая до необозримости свое смятение, не находить себя нигде, кроме как в желании другого – женщины – единственной, незаменимой, умирающей, во всем мне подобной), но лишь с приближением смерти я в точности буду знать, о чем речь.

Лишь умирая, от смерти не убежишь, я увижу разрыв, который составляет мою природу и через который я и выходил за пределы «того, что существует». Пока живешь, можно довольствоваться топтанием на месте, соглашательством. Как бы то ни было, я знаю, кто я такой – индивид определенного рода, в общем и целом я пребываю в согласии с всеобщей реальностью; принимаю участие в том, что существует по необходимости, в том, что никак не может ускользнуть из-под ног. Мое я-которое-умирает отметает это соглашение: оно-то и замечает, что вокруг него пустота, что само оно – вызов этой пустоте; мое я-которое-живет перебивается предчувствием смятения, которым (много позже) все завершится.

Бывает, правда, и так: мое я-которое-умирает, не достигнув «моральной суверенности», даже на костлявых дланях смерти поддерживает со всем и вся какое-то гибельное соглашение (в нем сплетаются нелепость и ослепленность). Это тоже вызов, спору нет, но какой-то вялый, он прячется сам от себя, до самого конца скрывает от себя, что он – вызов. Мое я-которое-умирает нуждается в обольстительности, мощи, суверенности: нужно быть богом, чтобы умереть.

В известном смысле смерть неизбежна, но в смысле более глубоком – недоступна. Животное знать ничего не знает о смерти, хотя смерть отбрасывает человека к животному. Человек идеальный, воплощение разума, остается чуждым смерти: ее природе присуща животность бога, грязная (зловонная) и священная.

В смерти соединяются, неистовствуют отвращение и пылкая обольстительность; речь не о пошлом уничтожении, но о той самой точке, в которой сталкиваются последняя ненасытность и предельное омерзение. В страсти, что правит тьмой страшных игрищ или

грез, отчаянно говорит не только желание быть моим «я», но и желание более не быть.

В ореоле смерти, и только в нем, мое «я» находит основу своей власти; в нем пробивается на свет чистота безнадежной насущности; в нем сбывается надежда моего я-которое-умирает (надежда умопомрачительная, горячечно-пламенная, заставляющая отступать границы грезы).

И в то же самое время удаляется, но не как пустая кажимость, а из-за своей зависимости от отброшенного в забвение мира (в основе которого взаимозависимость частей), плотски неощутимое присутствие Бога…

В темной до невозможности пустоте, в этом хаосе, в котором различимо уже и отсутствие хаоса (все тут – пустыня, стужа, сомкнувшая глаза ночь, но в то же время – какое-то тягостное, доводящее до исступления сияние), жизнь разверзается перед смертью, мое «я» вырастает до чистого предписания: «умри как собака» раздается во враждебных краях бытия; императиву этому нет применения в оставленном моим «я» мире.

Но в самой дальней своей возможности чистота предписания «умри-как-собака» отвечает настоятельной страсти – нет, не раба к господину: жизнь, посвящая себя смерти, подобна страсти любовников, в ней сказывается гневливая ревность, но никак не «авторитет».

Ну и чтобы покончить с этим, падение в смерть – грязная штука; в одиночестве по-иному тягостном, нежели одиночество обнажающихся любовников, как раз приближение гниения связывает мое я-которое-умирает – с наготой отсутствия.

* * *

В предыдущем ничего не было сказано о страдании, обычно сопровождающем смерть. А ведь страдание глубоко сопряжено со смертью, и ужас его проглядывает в каждой строке. Страдание, воображаю себе, сродни тому, что всегда играет в крушении всего и вся. Боль мало значит, ее трудно отличить от удовольствия, наступающего перед тошнотой, внутренним холодом, в котором я и гибну. Боль – это, возможно, лишь некое несовместимое со спокойным единством моего «я» ощущение; какое-то воздействие, внутреннее или внешнее, ставит под сомнение шаткую согласованность сложившегося существования, вызывает мое разложение, и как раз перед ужасом этого угрожающего мне воздействия я и трепещу. Не то чтобы боль обязательно грозила смертью – она срывает с существования покровы возможных действий, дольше которых мое «я» никак не могло бы прожить, она воссоздает смерть, обходясь без настоящих угроз.

В противовес тому: сколь мало значит смерть, со своей стороны я прав. В страданиях, правда, разум обнаруживает свою слабость, случаются и такие, с которыми он вовсе не может совладать; достигаемая болью степень силы являет всю легковесность разума; тем более – очевидная, противоразумная, бьющая через край ярость моего «я».

В некотором смысле смерть – самозванка. Мое «я», умирающее, как я говорил, отвратительной смертью, внимает разуму не более, чем какая-нибудь собака, по доброй воле замыкается в ужасе. Стоит ему оторваться хотя бы на миг от лежащей в его основе иллюзии, оно с распростертыми объятиями примет смерть, словно сон – ребенка (так бывает со стариками, молодецкие иллюзии которых мало-помалу угасли, или с юношами, живущими коллективной жизнью, – в них осуществляется разрушительная для иллюзий грубая работа разума).

В тоскливом характере смерти сказывается потребность человека в тоске. Без этой потребности смерть казалась бы ему легким делом. Умирая нехорошо, человек отдаляется от природы, порождает иллюзорный, человеческий, обработанный искусством мир; мы живем в трагическом мире, в искусственной атмосфере, завершенной формой которой выступает «трагедия». Нет трагедии для животного, которое не попадает в ловушку «я».

Экстаз рождается в этом трагическом, искусственном мире. Ясно, что любой объект экстаза порожден искусством. Все «мистическое познание» основывается на вере в

присущую экстазу силу откровения; его следовало бы рассматривать, напротив, как в чем-то подобный прозрениям искусства вымысел.

Но раз уж я утверждаю, что в «мистическом познании» существование является творением человека, то это значит, что оно есть детище моего «я» и сущностной его иллюзорности; тем не менее экстатическое видение имеет какой-то необходимый объект.

Страсть моего «я», жгучая в нем любовь ищет себе какой-нибудь объект. Мое «я» достигает свободы лишь вне себя. Мне может быть известно, что я сотворил объект своей страсти, что сам по себе он не существует – и тем не менее он есть. Когда иллюзия развенчана, он, спору нет, меняется: это не Бог – ведь я его сотворил, но на том же основании – не ничто.

Объект этот, хаос света и тьмы, – катастрофа. Для меня он объект, но моя мысль меняет его по своему образу и подобию, хотя он же является ее отражением. Моя мысль, его отражая, обрекает себя на уничтожение, на низвержение канувшего в пустоту крика. Нечто необъятное, непомерное ломится со всех сторон с катастрофическим шумом; оно являет себя из какой-то нереальной бесконечной пустоты и в ней же с ослепительным треском исчезает. В грохоте столкнувшихся поездов, предвещая смерть, разлетается вдребезги зеркало – вот выражение неумолимого, всемогущего и сей же миг канувшего в ничто нашествия.

В общепринятых условиях время сводится на нет, замыкается в постоянстве сложившихся форм и предусмотренных изменений. Все вписанные в какой-то порядок движения останавливают время, замыкают его в систему мер и соответствий. Нет революции более глубокой, чем «катастрофа», – это время, когда рвется времен «связующая нить»; знамение его – истлевший скелет, развенчивающий иллюзорность его существования.

Итак, будучи объектом экстаза, время отвечает экстатическому пылу моего я-которое-умирает; равно как и время, мое я-которое-умирает сводится к чистому изменению, ни то ни другое не имеют реального существования.

Но ежели первоначальное вопрошание хранит свою силу, ежели в беспорядочности моего я-которое-умирает так и стоит этот вопросик: «Что же существует?»

Время не означает ничего, кроме убегания всего, что казалось истинным. Субстанциональное существование мира имеет для моего «я» исключительно скорбный смысл: в его глазах настоятельность субстанционального существования сравнима с приготовлениями к смертной казни.

В конечном итоге: субстанциональное существование, как бы то ни было, не может замкнуть в себе смерти, которую оно мне несет, оно само по себе отражается в моей смерти, которая его в себе замыкает.

Если я утверждаю иллюзорность существования моего я-которое-умирает или времени, я вовсе не полагаю, что иллюзия должна быть подчинена суждениям субстанционального мира; напротив, я вкладываю его субстанциональность в иллюзию, которая замыкает его в себе.

Именно на основании недостоверности человек – под своим «именем» – коим я есмь – чье явление в мир было как нельзя более недостоверным – замыкает в себе совокупность мира. Смерть, освобождая меня от мира, который меня убивает, действительно замыкает этот реальный мир в нереальности моего я-которое-умирает.

*** * ***

Жизнь потеряется в смерти, реки – в морях, знаемое – в незнаемом. Познание есть доступ к незнаемому. Бессмыслие есть завершение всякого возможного смысла.

Изнуряющая глупость проглядывает, когда, несмотря на то, что средств больше нет, настаивают на каком-то знании – вместо того, чтобы признать свое неведение, признать незнаемое, но еще печальнее немощь тех, кто, не имея средств, сознается в том, что он не знает, и однако же глупо затворяет себя в том, что знает. Во всяком случае, то обстоятельство, что человек не уживается с беспрестанной мыслью о незнаемом, заставляет

еще сильнее сомневаться в разуме, равно как искать в вещах то, что обязывает любить или заражает неудержимым смехом, – словом, долю незнаемого. Но также и со светом: глаза лишь отражают его.

«Вскоре ночь стала казаться ему мрачнее, ужаснее любой другой ночи, словно бы на самом деле она выскочила из зияющей раны не осмысляющей более себя мысли – мысли, которая по иронии судьбы стала объектом не мысли, а чего-то другого. Это была сама ночь. Ее наводняли творившие ее темь образы, и тело, преобразившись в демонический дух, стремилось представить их себе. Оно ничего не видело, но без тени удрученности обращало отсутствие видений крайней напряженностью своего взгляда. Глаз, непригодный для видения, принимал невероятные размеры, расширялся и расширялся, простираясь над горизонтом, впускал ночь в свое средоточие, превращая ее в зрачок. В этой пустоте мешались взгляд и объект взгляда. Мало того что этот ничего не видящий глаз воспринимал причину своего видения. Он ясно видел тот объект, что не давал ему видеть. Его собственный взгляд входил в него в виде образа в тот трагический момент, когда ясно было видно, что этот взгляд есть смерть всякого образа» (Морис Бланшо. «Фома Темный»).

Здесь есть кое-что невнятное: в опыте объект предстает драматичным наваждением самоутраты субъекта. Это рожденный субъектом образ. Прежде всего субъект хочет идти навстречу себе подобному. Ввергнув себя во внутренний опыт, он ищет объект, который был бы подобен ему по углубленности во внутренний мир. Более того, субъект, опыт которого изначально и сам по себе драматичен (самоутрата), испытывает потребность обнаружить этот драматический характер. Положение искомого духом объекта должно найти объективное драматическое выражение. Пребывая в блаженстве внутренних движений, можно наметить некую точку, которая-де изнутри вбирает в себя всю разорванность мира, непрестанное скольжение всех и вся в ничто. Время, если угодно.

Но это так кажется. Для моего «я», если свести его к какой-то простейшей форме, эта точка есть не что иное, как личность. В каждое мгновение опыта она может замахать руками, закричать, воспылать.

Объективная проекция самого себя – в виде точки – не может, однако, достичь такого совершенства, чтобы характер подобия – который ее отличает – остался чистым ото лжи. Точка она и есть точка, она не может быть всецелостью, как не может быть и самостью (когда Христос становится точкой, человек в нем перестает быть самостью, хотя продолжает отличать себя от всецелости: это некое я, которое бежит и туда и сюда).

Если даже точку эту стереть, она останется в целости и сохранности – в том смысле, что от нее идет оптическая форма опыта. Дух есть око, коль скоро он намечает себе точку (как в опыте, так и в действии).

В блаженстве внутренних движений существование обретает равновесие. В беспокойном, порою тщетном искании объекта равновесие теряется. Объект определяется произвольной самопроекцией. Но мое «я» все равно намечает перед собой эту точку – сокровенное свое подобие – поскольку может от себя отрешиться только в любви. Но стоит моему «я» выйти из себя, как оно получает доступ к нелюбви.

Влекомое тоской и неуравновешенностью, существование без каких-либо ухищрений достигает этой «точки», которая, собственно, его и высвобождает. Наперед известно, что для моего «я» эта точка образует некую возможность, опыт не может без нее обойтись. В проецировании точки внутренние движения играют роль лупы, концентрирующей свет в небольшой очажок, который того и гляди воспламенится. В такой только концентрации – по ту сторону всех границ – существованию дано постичь – посредством какого-то внутреннего сияния – «что же оно такое есть», движение болезненного сообщения, в которое оно выливается и которое течет как изнутри наружу, так и снаружи вовнутрь. Речь идет о той же произвольной самопроекции, однако здесь-то и обнаруживается сокровенная объективность существования, которое, переставая быть замкнувшейся в себе частицей, оборачивается волною теряющей себя жизни.

В этом случае парящий поток внутренних движений предстает и лупой, и светом. Но в

самом потоке нет чего-то кричащего, тогда как достигнув намеченной «точки», существование уже криком кричит. Если бы я знал побольше о буддистах, то рискнул бы заметить, что они не преступают порога, что буддийское существование слышать ничего не хочет о крике, ставит преграду излиянию внутренних движений.

Без драматизации этой точки не достичь. Последователи св. Игнатия только и делают, что драматизируют существование (конечно же, не только они). Достаточно представить себе место, персонажей драмы и саму драму: казнь, на которую ведут Христа. Ученик св. Игнатия устраивает самому себе театральное представление. Он находится в дышащей покоем комнате; от него требуют, чтобы он пробудил в себе страсть Голгофы. Ему говорится, что он должен разжечь в себе эти страсти, невзирая на умиротворенность комнаты. Ему надлежит выйти из себя, намеренно драматизировать жизнь, которая, как известно наперед, имеет все шансы обернуться наполовину тревожной, наполовину оцепенелой пустотою. Еще до начала собственно внутренней жизни, еще до того, как рассуждение в нем прервется, ему надлежит наметить вовне точку, о которой я говорил, – точку, что была бы подобна ему самому, но в большей степени тому, чем он хочет быть, – в лице агонизирующего Иисуса. Прежде чем располагать внутренними движениями, прежде чем освободиться от власти рассуждения, христианство прельщается проецированием точки. Только после того, как точка будет намечена, пытаются достичь внерассудительного опыта.

*** * ***

Во всяком случае точку-объект можно представить только через драму. Я прибегал к потрясающей силы образам. Подолгу глядел, к примеру, на одну фотографию – либо вызывал в мыслях воспоминание о ней. На фотографии запечатлена китайская казнь. Некогда у меня была целая серия фотографий этого китайца, у которого ноги отрублены по колени, руки – по локти. Под конец казни жертва корчится в последних судорогах, с рассеченной грудью. Со вставшими дыбом волосами, омерзительная, дикая, вся исполосованная кровью, прекрасная, словно оса.

Я написал «прекрасная»… Что-то не так, что-то от меня ускользает, бежит, страх прячет меня от меня самого, словно бы я, захотев посмотреть прямо на солнце, поспешно отвел глаза, скользнул, словом, с одного на другое.

Помимо того я прибегал к драматизации более строгого стиля. В отличие от христианина я исходил не только из рассуждения, но также из более расплывчатого состояния сообщения, из блаженства внутренних движений. Я мог исходить из этих движений, которые струились у меня в мыслях то ручейками, то речушками, собирая их в некоей точке, где обычный бег воды, исполнившись всеми силами, обращал себя низвержением водопада, сиянием света или сверканием молнии. Это извержение начиналось как раз в то мгновенье, когда я мог вызвать в своих мыслях поток струящегося из меня существования. Ну а то, что существование явило себя во всем блеске, достигло драматичности, вызвано было не чем иным, как отвращением, пробужденным во мне истомой струения, которым я мог играть в свое удовольствие.

В истоме и блаженстве сообщение отличается расплывчатостью: сообщение течет не в оба конца, но от некоей самости к пустой, неопределенной протяженности, где все, в конце концов, и утопает. Мудрено ли, что в таких условиях существование жаждет более смятенного сообщения? Идет ли речь о той любви, что сердцу не дает перевести духа, о бесстыдной похоти или же о любви божественной – нигде я не видел ничего, кроме устремленного к другому вожделения: эротизм неистовствует повсюду с такой силой, пьянит сердца с такой безудержностью – короче говоря, в нас его такая бездна – что само небесное избавление не могло не перенять его форм и пылкости. Кто из нас не грезил о том, чтобы взломать врата мистического царства, кто не воображал себя тем «умирающим, которому смерть как не умирается», который прожигал свою жизнь, разрушал себя в любви? На Востоке, где человеческое воображение не воспламеняется от имен Терезы, Элоизы,

Изольды, как-то возможно не желать ничего, кроме пустой бесконечности, тогда как у нас нет другого средства, кроме любви, изведать предельное изнеможение. Такой только ценою, думается мне, я достигаю края возможного, в противном же случае этому пути, на котором я сжигаю все и вся – исчерпывая до дна человеческую силу, будет чего-то не хватать.

Ведь я любил его, этого юного, восхитительного китайца, над которым от души потрудился палач, – любил его такой любовью, в которой не было даже тени садизма: он мне сообщал свое страдание или, скорее, переизбыток своего страдания, которого мне так недоставало – не для того, чтобы им насладиться, но чтобы разрушить в себе все, что разрушению противится.

Перед лицом избытка жестокости – людей ли, судьбы ли – как не взбунтоваться, как не закричать (твердости нам не хватает): «Так не должно быть!», как не залиться слезами, проклиная то, что так подло играет людьми? Куда труднее себе сказать: эти плачи и проклятья рождены во мне жаждой мирного сна, гневным неприятием всего, что не дает мне покоя. Но всякого рода переизбыток – не что иное, как прорвавшийся вдруг знак суверенности мира. К таким знакам и прибегал автор «Упражнений», пытаясь посеять «беспокойство» среди своих учеников. Что ни ему, ни его ученикам не мешало осыпать мир проклятиями; я же могу лишь любить его безнадежной, всеобъемлющей – вплоть до последнего отребья – любовью.

* * *

Вспоминаю один случай, о котором писали в газетах лет пятнадцать тому назад (привожу по памяти, от себя не добавив ни слова). Дело было в каком-то французском городке или деревушке; в конце недели бедняк приносит домой заработанные деньги; увидев забавные бумажки, его маленький сын хочет поиграть и как-то бросает их в огонь; отец, слишком поздно все заметивший, в ярости хватается за топор и, совершенно потеряв голову, отрубает сыну обе руки. В соседней комнате мать купала младшую дочь. Выйдя на шум, она упала замертво, малышка тем временем захлебнулась водой. Отец, совершенно обезумев, убежал из дома и стал бродить по окрестностям.

Как бы то ни было, нечто сходное должно бы слышаться в строчках, написанных мною три года назад: «Я намечаю перед собой точку и воображаю себе, будто она является геометрическим местом всего возможного существования, всякого единства и всякой отделенности, всякой тоски и всякого неутоленного желания, всякой смерти.

Я сливаюсь с этой точкой, меня испепеляет глубокая любовь ко всему, что в ней есть, доводя до того, что я отказываюсь жить ради чего-то другого, нежели эта точка, которая, будучи разом и жизнью и смертью, отливает хрусталем водопада.

В то же время необходимо сорвать покровы со всего, что там есть, обнажить самую что ни на есть чистую сокровенность, чисто внутреннее низвержение в пустоту: точка вбирает в себя все, что в низвержении этом идет от ничто, то есть все «минувшее», привнося в мимолетное и ослепительное свое явление всю открытость любви».

Благодаря почему-то унявшейся тоске я написал тогда и эти строки: «Когда в моих мыслях является преображенное предсмертным экстазом человеческое лицо, то свет смертной неизбежности падает даже на затянутое тучами небо, и его серовато-тусклый блеск становится тогда более пронзительным, чем солнечное сияние. В этой картине открывается, что природа смерти неотличима от природы света: последний светит как раз в той мере, в какой себя не бережет, теряясь в своем очаге; смерть и есть та потеря, благодаря которой сияние жизни пронзает и преображает самое тусклое существование, ибо только свободный порыв смерти и выливается во мне в могущество жизни и времени. И чем же, как не зеркалом смерти, быть мне тогда – точно как и вселенная будет зеркалом света».

Следующие строки из эссе «Дружба» описывают экстаз перед «точкой»: «Я был вынужден отложить перо. По обыкновению сел перед открытым окном; но, не успев сесть, почувствовал, что меня захватывает какое-то экстатическое движение. Меня уже не глодали,

как накануне, сомнения в том, что подобное сияние было не менее желанным, чем эротическое сладострастие. Я ничего не видел: этого, как ни старайся, не увидишь, не ощутишь и не постигнешь. Это гложет и гнетет невозможностью умереть. Ежели тоска окутывает в моих мыслях все, что я любил, то связанные с моей любовью мимолетные реальности следовало бы представить чем-то вроде облаков, за которыми скрывается то, что есть. Нет ничего обманчивее образов восхищения. То, что есть, мерится мерилом ужаса, ужас и толкает то, что есть, к обнаружению. Без этого страшного толчка ничего бы не было на сей раз, вспомнив вдруг то, что есть, я не смог сдержать рыданий. Когда я встал, голова моя была опустошена – силою любви, силою восхищения…»

*** * ***

Мягкие и ослепительные зарницы нетерпения и несогласия вспыхивают в горькой горечи ночи.

В конце одного из приведенных отрывков я приписал: «Напрасно любовь гоняется за тем, что вот-вот перестанет быть.

В любви неутолимость играет роль проводника, который ведет все к завершающему прыжку, и могильщика, который ставит крест на любой иллюзии».

Оспаривание, о котором я рассказываю, относится не только к работе разума. Зачастую его как раз и недостает. Ведь «оспаривание» также является главной пружиной неутолимой любви. Надменность широко известной мысли св. Августина сквозит не в первом утверждении: «наше сердце не знает покоя», но во втором: «пока в Тебе не найдет умиротворения». Ибо в глубине мужского сердца скрыто столько беспокойства, что ни Бог, ни женщина не властны принести ему умиротворение. Лишь на какое-то время могут его умиротворить женщина и Бог: если бы усталость не брала свое, тревога возвращалась бы все время. Не подлежит сомнению, что в необъятной необозримости своих расплывчатых владений Бог может откладывать на какое-то долгое время очередное умиротворение возобновившейся тревоги. Но умиротворение умрет раньше тревоги.

Я писал: «Незнание сообщает экстаз». Бессмысленное и обманчивое утверждение. Оно основано на опыте – если его пережить… Иначе все повисает в воздухе.

Легко сказать, что об экстазе говорить трудно. Есть, разумеется, в экстазе что-то бесповоротно «несказанное», но ведь это меньше всего отличает его от смеха, физической любви – или мира вещей – о коих я могу составить и сообщить более или менее точное представление; трудность в другом: поскольку с экстазом сталкиваются гораздо реже, чем со смехом или вещами, мне трудно его передать, сделать доступным то, что я испытал.

Незнание сообщает экстаз – но только в том случае, если возможность (движение) экстаза уже принадлежала тому, кто срывает с себя одежды знания. (Подобное ограничение вполне допустимо, поскольку с самого начала я стремился к краю возможного и, следовательно, нет такой человеческой возможности, к которой я не хотел бы при этих условиях прибегнуть.) Предшествующее экстазу незнания движение выливается в экстаз перед объектом (последний может быть или простой точкой – как при отрешенности от догматических верований – или каким-то потрясающим образом). Если экстаз перед объектом уже наличествует (как некая возможность), если я упраздняю затем объект – что так или иначе происходит благодаря «оспариваниям», если, наконец, меня охватывает тоска и я погружаюсь в ужас, в ночь незнания, то сам экстаз, стало быть, уже на подходе, подступив же ко мне, он увлекает меня в невообразимую бездну. Если бы мне не довелось испытать экстаза перед объектом, я не достиг бы экстаза в ночи. Экстаз перед объектом был для меня инициацией – проникновением в самую даль возможного; в ночи я не мог найти ничего, кроме более глубокого экстаза. Стало быть, ночь, незнание – это пути экстаза, на которых я найду свою погибель.

Выше уже говорилось о том, что точка обращает дух оком. Стало быть, у опыта зрительный остов, ибо в нем можно отличить субъекта, который воспринимает, от объекта,

который воспринимается, равно как зеркало отличается от отражающегося в нем зрелища. В этом случае зрительный (физический) аппарат играет важнейшую роль. Именно зритель, именно его глаза ищут эту точку или, по крайней мере, в глазах сосредоточивается зрительное существование. С наступлением ночи все остается по-прежнему. Желание все видеть неистовствует в ночном мраке – невзирая на то, что ночь все от него скрывает.

Но ведь желание, которое упорствует в этом развеянном по ночному мраку существовании, устремлено к объекту экстаза. Это желанное зрелище, этот объект, в ожидании которого страсть того и гляди выскочит со своей орбиты, и составляет то, от чего «мне смерть как не умирается». Объект пропадает из виду, тогда как ночь налицо; меня охватывает и гложет тоска, не обманет ли эта ночь, что пришла на место объекта, моих ожиданий? Ответ тут как тут, из груди вырывается не крик, но внезапная догадка: с НЕЙ, а не с объектом, были связаны мои ожидания! Если бы я его не искал, то никогда бы ЕЕ не нашел. Я должен был стать кривым зеркалом объекта созерцания, чтобы НОЧЬ утолила мою жажду. Если бы я не потянулся к ней всей душой, как к объекту любви тянутся сами собой глаза, если бы не с ней были связаны ожидания моей страсти, то ОНА была бы всего лишь отсутствием света. Тогда как на ночь и разгораются у меня глаза, ЕЕ находит мой взгляд, выскакивая из глазниц, в ней он утопает – а обожаемый до смерти объект не только не заставляет о нем сожалеть, я чуть ли не забываю, чуть ли не отметаю прочь, чуть ли не унижаю этот объект, без которого, правда, мой взгляд не смог бы «выскочить из орбит», открывая для себя ночь.

Созерцая ночь, я ничего не вижу, ничего не люблю. Пребывая в недвижности, оцепенении, ОНА меня поглощает. Могу вообразить себе какую-нибудь страшную, возвышенную картину – обнаженная извержением вулкана земля, залитые огнем небесные хляби, да мало ли что можно придумать, чтобы вызвать «восхищение» духа; сколь восхитительной и потрясающей ни была бы ночь, она превосходит какие бы то ни было возможности, хотя в ней нет ничего, даже по завершении мрака в НЕЙ нет ничего ощутимого. В НЕЙ все сходит на нет, но когда мой взгляд «выскакивает из орбит», я пронзаю собой пустую глубину, а пустая глубина пронзает меня. В НЕЙ сообщаюсь я с «неизвестностью», которой противостоит самость моего «я»; обретаю неизвестную мне самость; самость и неизвестность переливаются друг в друга, переплетаются в единой, едва ли отличимой от пустоты разорванности – не властной себя от нее отделить хоть чем-то, что я мог бы постичь, – и тем не менее много больше, чем мир, сверкающий тьмою цветов, от нее отличимой.

* * *

Что не бросается в глаза, когда говоришь: что рассуждение, даже ставя под вопрос собственную ценность, предполагает не только того, кто рассуждает, но и того, кто рассуждение слушает… Я не нахожу в моем «я» ничего, что не было бы собственностью мне подобного. Мало того что я не могу уклониться от этого движения моей мысли, которое бежит вне меня, – оно ни на миг не оставляет меня в покое. Итак, когда я говорю, все во мне даруется другим.

Мне это известно, мне этого не забыть, но меня разрывает на части эта выпавшая мне необходимость себя отдавать. Я могу вообразить себя точкой, волной, затерявшейся в других волнах, могу смеяться над собою и над этой комедией «оригинальности», которую продолжаю ломать, но в то же время не могу не признать: я одинок, исполнен горечи.

И наконец: одиночество света, пустыни… Мираж проницаемых существований, где всякое сияние было бы отблеском какого-то другого, словно бы источаемые ядом, пеной кровь и смерть предвещали бы более долгий экстаз.

Но вместо того, чтобы постичь, наконец, это самонеистовствование, бытие замыкает в себе несущий его к жизни поток; страшась всякой бьющей через край дерзновенности, убаюкивает себя надеждой избежать разрушения, остаться во владении вещами. Но все дело

в том, что вещи владеют существованием, хотя тому мнится, что оно владеет ими.

О пустыня говорящих «вещей»! Мерзость существования: страх перед бытием превращает человека в лавочника. Рабство, неизбывное вырождение: раб освобождается от господина посредством труда (основной ход рассуждения в «Феноменологии духа» Гегеля), но и продукт труда становится его господином.

Умирает возможность праздника, свободное сообщение существования, Золотой век (возможность одинакового опьянения, смятения, сладострастия).

Спад изобилует: растерянными марионетками, они нахальны, норовят друг друга подтолкнуть, друг друга ненавидят, друг от друга уклоняются. Им мнится, что они любят, но они утопают в ханжеском лицемерии, откуда тоска по бурям и шквалам.

Благодаря своей убогости жизнь, оспаривая и оспаривая все на свете, обречена на неуклонно растущую взыскательность – все дальше и дальше от Золотого века (от отсутствия каких-либо отводов). Но стоит заметить безобразие, разжигающую любовь красоту…

Взыскательная красота богатства, но когда само богатство получает отвод, дерзновенный человек перерастает саморазрушение – ценой безрассудной потери всякого покоя. Только удача, словно молнии струя, – просвет среди груды развалин – не ломает скупой комедии.

И наконец: одиночество – на грани рыданий, удушенных ненавистью к себе. Желание сообщения, которое растет по мере того, как получают отвод все ничтожные, легковесные типы сообщения.

В условиях безумия существование доведено до крайности, до забвения, презрения, загнанности. И тем не менее в этих условиях безумия оно вырывается из лап уединенности, отдает себя невозможным сатурналиям, рвет себя на части, словно рвущий душу безумный смех.

И самое трудное: отказываясь ради крайности от «среднего» человека, мы отказываемся от человека павшего, от человека, отдалившегося от Золотого века, отказываемся от лжи и скупости. Мы отказываемся в то же время от всего, что не есть «пустыня», где и маячит эта крайность, где и бушуют сатурналии одиночек!.. Бытие там – то ли точка, то ли волна, тем не менее, единственная точка, единственная волна: ничто не отличает там одиночку от «другого», но все дело в том, что другого там нет.

А если бы он был?

Была бы пустыня в чем-то менее пустынной? Оргия – менее «опустошающей»?..

* * *

«Бесчестнее всего люди относятся к своему Богу: он не смеет грешить» (Ницше. «По ту сторону добра и зла», 65, bis).

Я отдаю себя во власть Бога, дабы он отверг себя, исторг себя из себя, отдал в лапы отсутствия, смерти свое существо. Когда я есмь Бог, я отрицаю Его, доходя до самой глубины отрицания. Если я только я, он мне неведом. Если ясное знание не оставляет меня, я могу, пребывая в неведении, дать Ему имя: я Его не знаю. Если я пытаюсь Его узнать, мной сразу же овладевает незнание, я сразу становлюсь Богом, непостижимым, неведомым неведением.

«Существует большая лестница религиозной жестокости со многими ступенями; но три из них самые важные. Некогда жертвовали своему Богу людьми, быть может, именно такими, которых больше всего любили, – сюда относится принесение в жертву первенцев, имевшее место во всех религиях древних времен, а также жертва императора Тиберия в гроте Митры на острове Капри – этот ужаснейший из всех римских анахронизмов.

Затем, в моральную эпоху человечества, жертвовали Богу сильнейшими из своих инстинктов, своей «природой»; эта праздничная радость сверкает в жестоком взоре аскета, вдохновенного «противника естественного». Наконец – чем осталось еще жертвовать? Не

должно ли было, в конце концов, пожертвовать всем утешительным, священным, целительным, всеми надеждами, всей верой в скрытую гармонию, в будущие блаженства и справедливость? Не должно ли было, в конце концов, пожертвовать самим Богом и, из жестокости к себе, боготворить камень, глупость, тяжесть, судьбу, Ничто? Пожертвовать Богом за Ничто – эта парадоксальная мистерия последней жестокости сохранилась для подрастающего в настоящее время поколения: мы все уже знаем кое-что об этом» (Ницше. «По ту сторону добра и зла», 55).

Полагаю, что жертвуют теми благами, которыми можно злоупотребить (в основе всякого потребления лежит злоупотребление).

Человек скуп, вынужден быть скупым, но осуждает скупость, которая есть не что иное, как свалившаяся на него необходимость, – и ставит выше всего дар, дарение себя или благ, которыми он обладает; единственно дар и приносит человеку славу. Обращая растения и животных своей пищей, человек, тем не менее, признает за ними священный характер, который и делает их столь на него похожими, что просто невозможно уничтожить или потребить их, не испытав при этом страха. Перед лицом любого поглощаемого (к своей пользе) элемента человек чувствовал необходимость загладить совершенное злоупотребление. Некоторым людям выпало на себе узнать жертвенное бремя животных и растений. Эти люди поддерживали с растениями и животными священные отношения, сами их не ели, одаривали ими других людей. Если им случалось что-то такое съесть, то бережливость, с какой они это делали, говорила сама за себя: они заведомо знали о беззаконном, тяжком, трагическом характере потребления. Не в том ли существо трагедии, что человек может жить не иначе, как разрушая, убивая, поглощая?

И не только растения и животных, но и других людей.

Ничто не может сдержать дело человеческое. И пресыщение возможно (если и не для каждого – многие сходят с этого пути по соображениям собственной выгоды – то для всех) только тогда, когда становишься всем.

На этом пути был сделан всего один шаг, но этот шаг привел к тому, что один человек стал порабощать других, превратил своего ближнего в вещь, которой можно владеть, которую можно поглощать, как животных или растения. Но то обстоятельство, что человек стал вещью человека, имело одно важное следствие: господин, или суверен, вещью которого был раб, удалялся из-под сени человеческой сопричастности, нарушал сообщение между людьми. Отступление суверена от общего правила привело к уединению человека, к его разорванности на куски, лишь время от времени можно было собрать человека воедино, а потом и вовсе было нельзя.

Владение пленниками, которых можно было есть, или безоружными рабами, с которыми позволялось делать все, что хочешь, поставило человека – как существо присваиваемое – в разряд объектов, которыми можно было время от времени жертвовать (точно так, как растениями и животными, уже без нарушения закона). Впрочем, случалось, что люди страдали от отсутствия сообщения, которому препятствовало уединенное существование вождя. Чтобы обеспечить возвращение к общности всего народа, убить надлежало не раба, но царя. Должно быть, людям казалось, что нет человека более достойного смерти, чем царь. Но возможность жертвоприношения сходила на нет, если царь был воином (он слишком силен). Их стали заменять карнавальными вождями (это были переодетые пленники, их баловали перед смертью).

Сатурналии, в ходе которых уничтожали этих лжецарей, на время возвращали людей в Золотой век. Все получалось наоборот: господин прислуживал рабу, а некто, воплощавший власть царя, которая и разделяла, находил там смерть, обеспечивал сплавление всех и вся в единой пляске (в единой тоске, за которой следовал вихрь единого наслаждения).

В жертвоприношении, что правда, то правда, мало чистой поэзии: человека предают смерти, раб так и остается рабом. Гнет рабства только усиливается человекоубийством. Здравый смысл быстро взял свое, жертвоприношение не только не умаляет, но усиливает ужас; нужны были какие-то новые решения, их и принесло с собой христианство. На кресте

жертвоприношение было заклеймлено раз и навсегда как самое черное на свете преступление – возобновить его можно было только через образ. Кроме того, христианство наметило реальное уничтожение рабства: Бог (добровольное рабство) был поставлен на место господина (вынужденное рабство).

Но, в конце концов, невозможно вообразить какого-то реального возмещения злоупотреблений, которые по существу своему неизбежны (они неизбежны с самого начала, поскольку трудно вообразить себе развитие человека без рабства, они неизбежны и впоследствии, однако постепенно стали утрачивать характер неизбежности, их стали предотвращать, но это было не столько какое-то волевое решение, сколько старение этого обыкновения). Смысл жертвоприношения состоит в том, чтобы сделать терпимой – наполненной жизнью – ту жизнь, которую неизбежная скупость все время соотносит со смертью.

* * *

Раз уж я честно и наивно говорю об этой неизвестности, которая окружает меня повсюду, куда бы я ни ступил, что ничего с ней не поделаешь, что о ночи ее я знать ничего не знаю и ничего не могу узнать, то как не вообразить себе, предположив только, будто ее занимают или злят порождаемые ею чувства, что никто более меня не достоин взыскуемой ею заботы. Мне это приходит в голову не потому, что меня так и подмывает сказать: «я сделал все, теперь могу отдохнуть», просто большая взыскательность вряд ли кому-то по силам. Но мне и в голову не придет, что я занимаю собой неизвестность (я же сказал: «предположив только»; а если и так, то налицо чистый абсурд, но, в конце концов, я ничего не знаю), по моему разумению, даже мысль об этом была бы нечестивой. Равно как в присутствии неизвестности нечестиво жить моралью (приманивать неизвестность украдкой, как грешник). Мораль – это узда, в которой держит себя вовлеченный в известный порядок человек (это то, что он знает, последствия действий), неизвестность разрывает узду, обрекает на пагубу.

Честно говоря, чтобы как следует разрушить знание, я вознес его выше, чем кто-либо другой; так и во взыскательности, утвержденной во мне ужасом морали, говорит не что иное, как гипертрофия морали. (Да и как же иначе, если отказываешься от спасения? Не корысть ли все время говорит в морали?) Разве дошел бы я до такой жизни, если бы не изведал всех поворотов самого жалкого из дедаловых творений? (В повседневности лишь мелкие людишки обходят порядочность, чистосердечие, словом, доподлинные моральные законы.)

План морали – это план проекта. Противоположностью проекта выступает жертвоприношение. Оно подпадает под власть проекта, но только с виду (или по мере вырождения). Ритуал – это обожествление потаенной необходимости (все время пребывающей в темноте). В проекте важен результат, тогда как вся ценность жертвоприношения сосредоточена в самом действе. В жертвоприношении ничего не откладывается на потом, в самый миг свершения жертвоприношение властно все поставить под вопрос, дать в£ему назначение, дать всему присутствие. В смерти кроется крестная сила жертвоприношения, тем не менее, чуть только начинается действие, и все уже под вопросом, все наличествует…

«Слышали ли вы о том безумном человеке, который в светлый день зажег фонарь, выбежал на рынок и все время кричал: «Я ищу Бога! Я ищу Бога!»– Поскольку там собрались как раз многие из тех, кто не верил в Бога, вокруг него раздался хохот. Он что, пропал? – сказал один. Он заблудился, как ребенок, – сказал другой. Или спрятался? Боится ли он нас? Пустился ли он в плавание? эмигрировал? – так кричали и смеялись они вперемешку. Тогда безумец вбежал в толпу и пронзил их своим взглядом. «Где Бог? – воскликнул он. – Я хочу сказать вам это! Мы его убили – вы и я! Мы все его убийцы! Но как мы сделали это? Как удалось нам выпить море? Кто дал нам губку, чтобы стереть краску со всего горизонта? Что сделали мы, оторвав эту землю от ее солнца? Куда теперь движется

она? Куда движемся мы? Прочь от всех солнц? Не падаем ли мы непрерывно? Назад, в сторону, во всех направлениях? Есть ли еще верх и низ? Не блуждаем ли мы словно в бесконечном Ничто? Не дышит ли на нас пустое пространство? Не стало ли холоднее? Не наступает ли все сильнее и больше ночь? Не приходится ли средь бела дня зажигать фонарь? Разве мы не слышим еще шума могильщиков, погребающих Бога? Разве не доносится до нас запах божественного тления? – и Боги истлевают! Бог умер! Бог не воскреснет! И мы его убили! Как утешимся мы, убийцы из убийц! Самое святое и могущественное Существо, какое только было в мире, истекло кровью под нашими ножами – кто смоет с нас эту кровь? Какой водой можем мы очиститься? Какие искупительные празднества, какие священные игры нужно будет придумать? Разве величие этого дела не слишком велико для нас? Не должны ли мы сами обратиться в богов, чтобы оказаться достойными его? Никогда не было совершено дела более великого, и кто родится после нас, будет, благодаря этому деянию, принадлежать к истории высшей, чем вся прежняя история!» (Ницше. «Веселая наука», III, 125).

Это жертвоприношение, плоды которого мы теперь пожинаем, отличается от других: сам устроитель не избегает удара, гибнет, исчезает вместе с жертвой. Еще раз: атеист удовлетворен обезбоженным, завершенным миром, устроителя же такого жертвоприношения охватывает тоска перед лицом незавершенного, незавершимого, навсегда непостижимого мира, который разрушает его, рвет в клочья (и сам мир разрушается, рвет себя в клочья).

Меня останавливает другое: этот мир, что себя разрушает, рвет в клочья… делает это без всякого шума, в движении, которое ускользает от человека говорящего. Отличие между этим миром и оратором кроется в отсутствии воли. Мир безумен в своей глубине, безумен, так сказать, без всякого умысла. Безумец же фиглярствует. Случается, что кто-то из нас уступает безумию, чувствует, что становится всем. Крестьянин, наткнувшийся на кучку взрыхленной земли, выдающей присутствие крота, думает не об этом слепыше, но о том, как его уничтожить; точно так же друзья несчастного, столкнувшись со знаками, выдающими «манию величия», задаются вопросом о том, какому врачу доверить больного. Я отдаю предпочтение «слепышу», в драме он играет заглавную роль: устроителя жертвоприношения. Именно безумие, мания величия заставляет человека взять Бога за горло. И что сам Бог проделывает с простотой отсутствия (лишь безумец понимает, что настал час рыданий), безумец совершает с криками бессилия. И крики эти, это сорвавшееся с цепи безумие, – что это, как не кровь жертвоприношения, кровавого действа, в котором, как в древних трагедиях, под занавес вся сцена устилается трупами?

*** * ***

Усилие нужно, когда тебе изменяют силы. Именно в такое мгновение все рассеивается – вплоть до правдоподобия мира. В конце концов, надо было все увидеть безжизненными глазами, стать Богом, иначе нам никогда не изведать, что значит гибнуть, что значит ничего не знать. Ницше долго продержался на вершине. Когда пришло время уступить, когда он понял, что все приготовления к жертвоприношению завершились, ему не оставалось ничего другого, как радостно сказать: Я есмь Дионис и т. д.

К чему примешивается любопытство: было ли ницшевское понимание «жертвоприношения» неглубоким? ханжеским? каким-то еще?

Все случилось в божественном смятении! Единственно «невинность», слепая воля спасают нас от «проектов», заблуждений, к коим ведет скаредный глаз различения.

Находясь под впечатлением известного видения вечного возвращения, Ницше, уступая силе чувств, и смеялся, и трепетал. Он слишком много плакал: это были слезы ликования. Идя через лес, вдоль озера Сильваплана, он остановился «у могучего, пирамидально нагроможденного блока камней, недалеко от Сурлея». Воображаю себе, что я тоже бреду к этому озеру, и у меня наворачиваются слезы. Не то чтобы я нашел в идее вечного возвращения какую-то малость, которая могла бы взволновать и меня. Самым очевидным

образом в этом открытии, которое должно бы выбить у нас почву из-под ног, – в глазах Ницше единственно перевоплотившийся человек смог бы преодолеть ужас открытия – является то, что оно вовсе не затрагивает воли. Объектом его видения, заставившим его и смеяться, и трепетать, было не возвращение (даже не время), но то, что обнажило возвращение, – невозможная глубина всего на свете. И глубина эта, как бы до нее ни добираться, остается все время той же самой, поскольку она и есть ночь – узрев ее, нельзя не сгинуть (извести себя до белого каления, потерять в экстазе, в пылу).

Остаюсь безразличным, стараясь воспринять разумное содержание ницшевского видения и через него понять, как оно его терзало, вместо того чтобы заметить об этом понятии времени, которое ставило под сомнение всю жизнь, вплоть до последней крохи ее смысла, что оно-то и лишило его всякой устойчивости и заставило жить так, чтобы видеть то, что видят при гибели (как он увидел это впервые в тот день, когда понял, что Бог был мертв, что он сам Его убил). При желании я мог бы вписать время в гипотезу круговращения, но это ничего не изменит: всякая гипотеза о времени выматывает душу, имеет смысл только как средство доступа к неизвестности. И уж совсем неудивительно, что по ходу экстаза, как и в науке, возникает иллюзия знания и обладания (облачаю, насколько возможно, неизвестность известностью).

Смех сквозь слезы. Умерщвление Бога – это жертвоприношение, которое, заставляя трепетать, вызывает у меня смех, ибо в этом действе я гибну точно так же, как жертва (тогда как жертвоприношение Человека несло спасение). В самом деле, вместе с Богом, вместе со мной гибнет нечистая совесть устроителей жертвоприношения, от жертвы уклонявшихся (смятение пугливой, но настырной души, уверившейся, дело ясное, в вечном спасении, кричащей, что она-де недостойна).

С виду все так, что жертвоприношение, в котором в жертву приносится разум, совершается лишь в воображении и не влечет за собой каких-то кровавых последствий или чего-то в этом роде. Но если что-то и остается жить, то лишь по недосмотру – словно забытый цветок на сжатом поле.

Если хочешь, можешь пойти дальше. И тогда-то в самом конце пути начинают маячить неизвестность и невозможность. Но ты чувствуешь себя таким одиноким, что одиночество будет тебе второй смертью.

Если идти до конца, надо извести себя, выдюжить одиночество, перетерпеть, нужно отказаться от признания, быть выше этого, быть так, словно тебя нет, словно у тебя нет ума, воли, надежды, словно ты не здесь, а где-то там. Мысль же (из-за того, что кроется в ее глубине) следует похоронить заживо. Я выпускаю ее в свет, заранее зная, что она не будет признана, ибо должна быть такой. Надо, чтобы кончилось ее брожение, чтобы она затаилась и старела в каком-нибудь уголке, не помышляя о какой-то там чести. Я и она вместе со мной должны сгинуть в бессмыслии. Мысль – это руина руин, ее разрушения не передашь толпе, оно взывает к тем, кто посильнее.

Крайнее движение мысли должно предстать во всей наготе: посторонним действию. Действие имеет свои законы, свои требования, коим отвечает мысль практическая. Доходя до самой дали в искании далеких возможностей, независимая мысль не может не оградить себя от поля действия. Если действие – это «злоупотребление», то мысль бесполезная – это жертвоприношение, «злоупотребление» должно иметь свое место, свои права. Если включить жертвоприношение в цикл целесообразной деятельности, то оно тоже может иметь смысл: оно не только не отрицает злоупотребления, оно делает его возможным (скаредное потребление выращенных богатств становится возможным лишь по завершении расточительных праздников первого урожая). Но равно как независимая мысль отказывается судить о поле действия, так и практическая мысль, в свою очередь, не может выставить свои правила в деле продолжения жизни на дальних краях возможности.

Последствия одиночества. «Всякий глубокий ум нуждается в маске, – более того, вокруг всякого глубокого ума постепенно вырастает маска, благодаря всегда фальшивому, именно плоскому толкованию его слова, каждого шага, каждого подаваемого им признака

жизни» (Ницше. «По ту сторону добра и зла», 40).

Замечание о тонической стороне одиночества. – «…и само страдание они считают за нечто таксе, что должно быть устранено. Мы же, люди противоположных взглядов, внимательно и добросовестно относимся к вопросу – где и как до сих пор растение «человек» наиболее мощно взрастало в вышину – полагаем, что это случалось всегда при обратных условиях, что для того опасность его положения сперва должна была разрастись до чудовищных размеров, сила его изобретательности и притворства (его «ум») должна была развиться под долгим гнетом и принуждением до тонкости и неустрашимости, его воля к жизни должна была возвыситься до степени безусловной воли к власти; мы полагаем, что суровость, насилия, рабство; опасность на улице и в сердце, скрытность, стоицизм, хитрость искусителя и чертовщина всякого рода, что все злое, ужасное, тираническое, хищное и змеиное в человеке так же способствуют возвышению вида «человек», как и его противоположность» (Ницше. «По ту сторону добра и зла», 44).

Есть ли более приглушенное, более беззвучное, более подземное одиночество? В темной безвестности прерывается дыхание. Жертвоприношение – это последняя капля в море всех на свете агоний.

Если я смог изведать тишину другого, я есмь, именно я, Дионис, я есмь распятый. Но разве можно так забыть свое одиночество…

* * *

Последнее озарение: я слеп, кромешная тьма – так и остаюсь в слепоте. И там и здесь только то, что я вижу: тапки, кровать…

В облачном безмолвии сердца и грусти пасмурного дня, в этом необъятном просторе забвения, предстающем моей усталости ложем болезни, а скоро и смерти, мою руку, что в бессилии свесилась вместе с простынью с кровати, трогает проскользнувший сюда солнечный луч, тихо умоляя меня поднять ее и поднести к глазам. И все мои жизни, как толпа в предвкушении чудного мгновения всеобщего праздника, словно бы очнулись во мне, вышли из оцепенения, вырвались, безумствуя, из долгого тумана, в котором пребывали, уверив себя в собственной смерти. В моей руке цветок, я подношу его к губам:

На вышине небес
Меня славят, я слышу их голоса, ангелы.
Под солнцем я есмь ползучий червь,
Маленький и черный катящийся камень
Меня настигает,
Раздавив каблуком Смерти.
В небе
Беснуется, слепит Солнце.
Я кричу: «Он не посмеет» – он смеет.
Кто есмь я?
Не мое «я» – нет-нет!
Но пустыня необозримой ночи,
В которой я есмь,
Которая есть
Необозримость ночи, одурь,
Мимолетное безвозвратное ничто,
Скончавшееся,
Так и не узнав
Ответа.
Истекающая грезами
Солнечная

Губка —
Углубись в меня,
Дабы я более не знал
Ничего, кроме этих слез.
Звезда…
Я есмь она.
О смерть,
Громовая звезда!
Безумный набат моей смерти —
Поэзия,
Не такая уже мужественная,
Но нежность.
Ухо услады —
Раздается вопль паствы
От одной дали к другой.
Гаснет факел…

На теплой ладони я умираю, ты умираешь, где это он, где это я – не до смеха. Я умираю мертвее смерти в чернильной ночи, стрелой вонзившейся в него.

Примечания

1 Перевод с фр. Н. Епифанцевой.

2 Перевод с фр. Н. Петровой.

3 Чаттерджи Браман – индийский философ, представитель мистического направления. В начале XX в. совершил поездку по Европе с циклом лекций о сокровенной философии Индии, оказавших большое влияние на европейских философов-мистиков. – Примеч. ред.

4 Перевод с фр. Н. Епифанцевой.

5 По материалам сайта «Anomal Wiki».

6 Перевод с фр. Н. Епифанцевой.

7 Мальдонадо Лопес Габриэль – испанский поэт и писатель XVI века. – *Примеч. ред.*

8 Дель Рио Мартин (1551–1614) – испанский и южнонидерландский адвокат, историк и теолог, крупнейший специалист по демонологии. Иезуит, один из самых грозных инквизиторов своего времени. – *Примеч. ред* .

9 Бодэн Жан (1530–1596) – французский писатель, философ и теолог. Признанный специалист по демонологии. – *Примеч. ред* .

10 Суарес (Suarez) Франсиско (1548–1617) – испанский философ, представитель поздней (так называемой второй) схоластики; иезуит. Крупнейший представитель католической теологии. – *Примеч. ред.*

11 По материалам сайта «Anomal Wiki».

12 Перевод с англ. М. Рыклина.

13 Лоло – устаревшее название народа ицзу. – *Примеч. перев* .

14 Сиам – прежнее название Таиланда. – *Примеч. перев.*

15 Перевод с фр. А. Александрова.

16 Перевод с фр. Н. Епифанцевой.

17 Хорни Карен (1885–1952) – американский психолог. Тема ее исследований стрессы и неврозы, в т. ч. на сексуальной почве. – Примеч. ред.

18 Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс (около 160 – после 220) – классик христианской патристики. Перу Тертуллиана принадлежит множество трудов по апологетике и догматике, а также по вопросам моральной теологии и экклесиологии. – Примеч. ред.

19 Перевод с англ. Г. Гучкова.

20 Перевод с фр. Н. Епифанцевой.

21 Мишле Жюль (1798–1874) – французский историк и публицист. – *Примеч. ред* .

22 Перевод с англ. Г. Гучкова.

23 Перевод с англ. М. Рыклина.

24 Пепельной средой называют во многих западноевропейских странах среду на первой неделе Великого поста. Название – от церковного обычая посыпать голову пеплом в знак раскаяния в совершенных во время Масленицы грехах. – Примеч. перев.

25 Посидоний (II–I вв. до н. э.) – греческий ученый и философ стоической школы. Автор книги «Об океанах», от которой сохранились только фрагменты. – *Примеч. перев.*

26 Страбон (64 или 63 г. до н. э. – 23 или 24 г. н. э.) – древнегреческий географ и историк. – *Примеч. перев* .

27 По материалам сайта «Anomal Wiki».

28 Перевод с фр. Н. Епифанцевой.

29 Ферре Оже (1512–1588) – французский врач и писатель. Автор многих политических и философских трактатов. – Примеч. ред.

30 Дюмулен (дю Мулен) Пьер (1568–1658) – французский протестантский священник и полемист, известный своим красноречием и пылом, в течение 20 лет был проповедником в Шарантоне. – *Примеч. ред.*

31 Из книги архиепископа Аверкия (Таушева) «Руководство к изучению Нового Завета».

32 Перевод с фр. И. Иткина.

33 Маршан Гюйо – французский поэт и один из первых книгопечатников. – *Примеч. ред.*

34 Святой Павел, первосвященник отшельников: помни о смерти (лат.).

35 «К смерти иду я» (лат.).

36 Опять типичное поведение. Другой брат, старше всего на 2 года, при аналогичных обстоятельствах выкрикивал со слезами: «Слишком мала, слишком мала».

37 Другой мальчик, постарше, при появлении на свет братца говорит: «Пусть его аист назад заберет». Сравним это с тем, что я говорил в «Толковании сновидений» о являющейся в сновидениях смерти дорогих родных.

38 К подобному же умозаключению в тех же выражениях пришли другие два мальчика, когда с любопытством в первый раз разглядывали живот своей маленькой сестрички. Можно было бы прийти в ужас по поводу этой ранней испорченности детского интеллекта. Почему эти юные исследователи не констатируют того, что видят, а именно: никакого Wiwimacher'a нет? Для нашего маленького Ганса это понятно. Мы знаем, как при помощи тщательной индукции он установил для себя общее положение, что живое отличается от неживого наличностью Wiwimacher'a; мать поддержала его в этом убеждении, давая ему утвердительные ответы относительно лиц, уклонившихся от его наблюдения. И теперь он совершенно неспособен отказаться от своего приобретения после наблюдения над маленькой сестрой. Он приходит к заключению, что Wiwimacher имеется и здесь и он слишком мал, но он будет расти, пока не станет столь же большим, как у лошади.

39 На немецком (нелитературном) языке хвост и пенис носят одно название. – *Примеч. перев.*

40 Про подобную же попытку совращения рассказывала мне одна страдающая неврозом мать, которая не хотела верить в возможность детской мастурбации. Ей пришлось сшить ее маленькой девочке 31/2 года панталоны; когда она примеряла их, то, чтобы узнать, не будут ли они ее беспокоить при ходьбе, она провела рукой о внутренней поверхности бедер. Тут девочка вдруг сразу прижала ногами руку попросила: «Мама, оставь там руку – это так хорошо».

41 Птичка – пенис. Нежность по отношению к половым органам детей, выражающаяся в словах и поступках ее стороны нежных родственников, а иногда и самих родителей, представляет собой самое обычнее явление, отмечаемое психоанализами.

42 Что означает его страх, но еще ничего – о Wiwimacher'e женщин.

43 Предместье Вены, где живут его дедушка и бабушка.

44 У отца нет основания сомневаться, что Ганс рассказывает здесь действительное происшествие. Впрочем, при ощущениях зуда в головке члена, которые заставляют прикасаться к нему, дети говорят обыкновенно: «Меня кусает».

45 Грета – одна из девочек в Гмундене. о которой Ганс теперь как раз фантазирует; он разговаривает и играет с ней.

46 Это неверно. Ср. его восклицание перед клеткой льва; здесь, вероятно, начинающееся забывание вследствие вытеснения.

47 Я не могу настолько прерывать изложение, чтобы указать, как много типичного в этом бессознательном ходе мыслей, который я приписываю маленькому Гансу. Кастрационный комплекс – это самый глубокий бессознательный корень антисемитизма, потому что еще в детской мальчик часто слышит, что у евреев отрезают что-то, – он думает, кусочек пениса, и это дает ему право относиться с презрением к евреям. И сознание превосходства над женщиной имеет тот же бессознательный корень. Вайнингер, этот талантливый и сексуально больной молодой философ, который после своей удивительной книги «Пол и характер» покончил жизнь самоубийством, в одной обратившей на себя внимание многих главе осыпал евреев и женщин с одинаковой злобой одинаковыми ругательствами. Вайнингер, как невротик, находился всецело под влиянием инфантильных комплексов; отношение к кастрационному комплексу – это общее для женщины и еврея.

48 Ганс на своем языке определенно заявляет, что это была фантазия.

49 Отец, чувствуя свою беспомощность, пробует применить классический прием психоавализа. Это не много ему помогает, но полученные данные могут все-таки иметь глубокий смысл в свете дальнейших открытий.

50 Ганс подтверждает теперь толкование в той части, что оба жирафа соответствуют отцу и матери, но он не соглашается с сексуальной символикой, по которой жираф должен соответствовать пенису. Возможно, что эта символика верна, но от Ганса, по-видимому, пока большего нельзя и требовать.

51 Эту реакцию мальчик повторил позже более отчетливым и полным образом. Он сначала ударил отца по руке, а затем начал эту же руку нежно целовать.

52 Ганс прав, как бы невероятно ни звучала эта комбинация. Как окажется впоследствии, связь заключалась в том, что лошадь (отец) укусит его за его желание, чтобы она (отец) опрокинулась.

53 У моей жены имеются уже несколько недель панталоны «реформ» для велосипедной езды.

54 Он играл также в лошадки с колокольчиками.

55 См. дальше – отец вполне справедливо полагает, что Фриц тогда упал.

56 По моему мнению, Ганс не хочет утверждать, что он тогда заполучил глупость, а только в связи с теми событиями. Обыкновенно так и бывает, как в теории, что тот же предмет, который раньше вызывал высокое наслаждение, сегодня делается объектом фобии. И я могу дополнить за ребенка, который этого не умеет сказать, что словечко «из-за» (wegen) открыло путь распространению фобии с лошади на воз. (Ганс на своем детском языке называет воз Wagen вм. Wagen.) Не нужно забывать, насколько конкретнее, чем взрослые, относятся к словам дети и сколь значительны должны быть для них ассоциации по сходству слов.

57 Здесь, собственно, ничего другого нельзя было извлечь, кроме словесной ассоциации, ускользнувшей от отца. Хороший образчик условий, при которых психоаналитические попытки оканчиваются неудачей.

58 Он хочет быть уверенным, что его собственный Wiwimacher будет расти.

59 Наш Ганс не может справиться с темой, которую он не знает как изложить. И нам трудно понять его. Быть может, он думает, что панталоны вызывают в нем отвращение только после их покупки; на теле матери они больше не вызывают у него ассоциации с Lumpf'ом или с wiwi; тогда уже они интересуют его в другом направлении.

60 Ганса купает мать.

61 Чтобы взять ее в починку.

62 Сецессион – название ряда объединений немецких и австрийских художников конца XIX – начала XX в. – *Примеч. ред.*

63 Для нас ясно, почему тема «Анна» идет непосредственно за темой «Lumpf’»: Анна – сама Lumpf, все новорожденные дети – Lumpf’ы.

64 Тут он начинает фантазировать. Мы узнаем, что для него ящик и ванна обозначают одно и то же – это пространство, в котором находятся дети. Обратим внимание на его повторные уверения.

65 Ящик – конечно, живот матери. Отец хочет указать Гансу, что он это понял.

66 Конечно, ирония, как и последующая просьба не выдать этой тайны матери.

67 Славный маленький Ганс! Я даже у взрослых не желал бы для себя лучшего понимания психоанализа.

68 Непоследовательность Ганса не должна нас останавливать. В предыдущем разговоре из его сферы бессознательного выявилось его недоверие к басне об аисте, связанное с чувством горечи по отношению к делающему из этого тайну отцу. Теперь он спокойнее и отвечает официальными соображениями, при помощи которых он которых он кое-как мог себе разъяснить столь трудную гипотезу об аисте.

69 Ящик для гмунденовского багажа, который стоит в передней.

70 Часто, когда кучера били и понукали лошадей, на него находил большой страх.

71 Опять отрывок из детской сексуальной теории с неожиданным смыслом.

72 Ганс, имеющий основание относиться недоверчиво к показаниям взрослых, теперь соображает, не заслуживает ли хозяин большего доверия, чем отец.

73 Связь здесь следующая: по поводу черного у рта лошади отец долго не хотел ему верить, пока, наконец, истина не выяснилась.

74 Ce que femme veut, dieu le veut. Умный Ганс и здесь додумался до очень серьезной проблемы.

75 Нет необходимости видеть здесь в этой страсти к обладанию детьми женскую черту. Так как он самые счастливые переживания испытывал рядом с матерью как ребенок, он теперь воспроизводит их в активной роли, причем он сам изображает мать.

76 Это столь удивительное противоречие – то же, что и между фантазией и действительностью, «желать» и «иметь». Он знает, что в действительности он ребенок и другие дети мешали бы ему, а в своей фантазии он – мать и хочет иметь детей, чтобы иметь возможность повторить на них пережитые им ласки.

77 Возможно, что Ганс случайно встреченную девочку возвел в идеал, который, впрочем, по цвету глаз и волос уподобил матери.

78 Иначе, как с точки зрения аутоэротизма, Ганс и не может ответить.

79 Это – дети фантазии, онанизма.

80 Saffaladi – сервелатная колбаса. Моя жена иногда рассказывает, что ее тетка говорила всегда Soffilodi. Ганс, быть может, слышал это.

81 Не означает ли это „niederkommen» [разрешиться от бремени, букв. «опадать»], когда женщина родит?

82 Может быть, следует прибавить, что слово «бурав» имеет отношение к слову «родить» (Bohrer – geboren, Geburt). Ребенок не отличает gebohrt от geboren. Я принимаю это предположение, высказанное опытным коллегой, но сомневаюсь, имеем ли мы здесь дело с глубокой общей связью или только с использованием случайного созвучия в немецком языке. И Прометей (Праманта) – создатель людей – этимологически соответствует бураву. Ср.: Abraham. Traum und Mythus.

83 Раннего слабоумия. Одно из названий шизофрении. – *Примеч. ред. перевода.*

84 Обе случайные мысли Ганса: малиновый сок и ружье для убивания, наверное, детерминированы не с одной только стороны. Вероятно, они столько же связаны с ненавистью к отцу, сколько с комплексом запора. Отец, который сам угадал последнюю

связь, думает еще при «малиновом соке» и о «крови»

85 Желание бить и дразнить лошадей.

86 Не книга – человек я во плоти. И мне в себе согласья не найти (Мейер К. Ф. Последние дни Гуттена. Перевод С. Петрова).

87 Ср. его намерения по отношению к тому периоду, когда маленькая девочка сможет говорить (см. выше).

88 С этим находится в соответствии высказанное позже удивление Ганса по поводу шеи его отца.

89 Страх перед отцом, даже в тех анализах, которые врач предпринимает с посторонними, играет весьма значительную роль как сопротивление против репродукции бессознательного патогенного материала. Эти сопротивления отчасти принадлежат к «мотивам», с другой стороны, как в настоящем случае, они составляют частицу бессознательного материала, по содержанию способного служить задержкой для репродукции другой части анализа.

90 Кажущаяся сначала странной мысль гениального рисовальщика Т Т. Хейне, изображающего на страницах «Симплициссимуса», как ребенок мясника попадает в колбасную машину, как родители оплакивают его в виде сосиски, как его отпевают и как он возносится на небо, благодаря эпизоду о Лоди находит свое объяснение в инфантильных фантазиях.

91 Отец наблюдал даже, что одновременно с этим вытеснением у ребенка наступает в известной мере сублимация. Вместе с наступлением боязливости он проявляет повышенный интерес к музыке и развивает унаследованное дарование.

92 Оригинальное название работы З. Фрейда: «Торможение, симптом, тревога». Однако в русском переводе она неоднократно издавалась под названием «Страх». – *Прим. ред.*